НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ

ДЖУЛИАН БАРНС БЕРЕТСЯ ЗА ТЕМУ, КОТОРАЯ НЕ ВСЯКОМУ ПО ЗУБАМ, — И ДОСТИГАЕТ ПОРАЗИТЕЛЬНОГО УСПЕХА.
THE SCOTSMAN

ДЖУЛИАН БАРНС

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР-ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс — один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «История мира в 10 $^{1}/_{2}$ главах», «Любовь и так далее», «Метроленд», и многих других. Возможно, основной его талант — умение легко и естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство — Барнсу подвластно все это и многое другое. В книге «Нечего бояться» он размышляет о страхе смерти и о том, что для многих предопределяет отношение к смерти, — о вере. Как всегда, размышления Барнса охватывают широкий культурный контекст, в котором истории из жизни великих, но ушедших — Монтеня и Флобера, Стендаля и братьев Гонкур, Шостаковича и Россини — перемежаются с автобиографическими наблюдениями.

Впервые на русском.

- Джулиан Барнс
  - ○
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9
  - ○ 10
  - ○ 11
  - ○ 12
  - ○ 13
  - ○ 14
  - ○ 15
  - ○ 16
  - ○ 17
  - ○ 18
  - ○ 19
  - ○ 20

- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56

Джулиан Барнс
Нечего бояться

Посвящается П.

Я не верю в Бога, но мне Его не хватает. Так я говорю, когда мне задают этот вопрос. Я спросил своего брата, преподававшего философию в Оксфорде, Женеве и Сорбонне, что он думает насчет подобного заявления, не раскрывая, что оно принадлежит мне. Тот ответил одним словом: «Жеманство».

Начать надо с бабушки по маме, Нелл Луизы Сколток, урожденной Машен. Она была учительницей в Шропшире, пока не вышла за моего дедушку, Берта Сколтока. Не Бертрама, не Альберта, просто Берта: так его крестили, так звали, так кремировали. Он был директором школы, особо расположенным ко всему механическому: владелец мотоцикла с коляской, затем «ланчестера», позже, уже на пенсии, водитель довольно помпезного спортивного родстера «триумф» со скамьей на троих спереди и двумя сиденьями сзади, когда верх опускался. Ко времени нашего знакомства бабушка с дедушкой переехали на юг страны, чтобы жить рядом со своим единственным ребенком. Бабушка записалась в Женский институт[1]; солила и закручивала консервы, ощипывала и жарила куриц и гусей, которых разводил дедушка. Она была миниатюрной, с виду мягкой и податливой, с распухшими к старости суставами; ей было не снять обручальное кольцо без мыла. Ее гардероб изобиловал домашними кардиганами, дедушка предпочитал более мужественную жгутовую вязку. Они регулярно ходили на педикюр и принадлежали к поколению, в котором по совету стоматологов вырывали все зубы сразу. Тогда придерживались такого ритуала: от зубовных скрежетов и шатаний к полной фарфоризации в один присест, с последующими оползнями и клацаньем во рту, публичными конфузами и пенистым стаканом на тумбочке.

Переход от зубов к вставным челюстям поразил меня с братом и своей серьезностью, и своей непристойностью. Но в жизни моей бабушки случилась и другая огромная перемена, которую при ней никогда не упоминали. Нелл Луиза Машен, дочь рабочего с химзавода, воспитывалась методисткой, в то время как Сколтоки были англиканцами. В какой-то момент в молодости бабушка неожиданно утратила веру и, как лакируют действительность семейные предания, обрела замену: социализм. Я понятия не имею, насколько силен был когда-то ее

религиозный пыл и каковы были политические пристрастия ее родителей; все, что я знаю, это что однажды она выставляла свою кандидатуру на местных выборах как социалист и потерпела поражение. Ко времени нашего знакомства в 1950-е она выросла в коммунистку. Она, должно быть, одной из немногих пенсионеров в пригородном Букингемшире покупала «Дейли уоркер» и — как мы с братом доказывали друг другу — ловчила с семейным бюджетом, чтобы слать пожертвования в газетный «фонд борьбы».

В конце 1950-х случился Советско-Китайский Раскол и коммунисты по всему свету обязаны были выбирать между Москвой и Пекином. Для большинства преданных европейцев выбор был нетруден, как и для газеты «Дейли уоркер», получавшей финансирование вместе с директивами из Москвы. Бабушка, которая никогда не бывала за границей и жила себе в мещанской одноэтажной Англии, по неизвестным причинам решила связать свою судьбу с китайцами. Я приветствовал ее таинственное решение из явной личной выгоды, поскольку вместо «Уоркера» она теперь выписывала «Китай строится» — еретический журнал, приходивший прямиком с далекого континента. Бабушка откладывала для меня марки с коричневатых конвертов. На них обычно воспевались промышленные достижения: мосты, гидроэлектростанции, грузовики, сходящие с конвейеров, — или же разнообразные голуби, летящие символизировать мир.

Мой брат не претендовал на такие подношения, поскольку за несколько лет до этого в нашем доме произошел Филателистский Раскол. Джонатан решил специализироваться на Британской Империи. Я же, дабы подчеркнуть свое отличие, объявил, что буду коллекционировать категорию, которую я назвал, как мне тогда казалось, логично, Весь Остальной Мир. Определялась эта категория только тем, что *не* собирал мой брат. Я не помню, было это решение наступательным, оборонительным или просто прагматичным. Знаю только, что оно иногда приводило к поразительным репликам в школьном филателистском клубе среди коллекционеров, еще недавно ходивших под стол пешком: «Барнси, так а что ты собираешь?» — «Весь Остальной Мир».

Мой дедушка был любителем геля для волос, и салфетка на его паркер-нолловском кресле — с высокой спинкой и боковинами, чтобы прикорнуть, — лежала там не только для красоты. Он поседел раньше бабушки; у него были по-военному подстриженные усы, курительная трубка с металлическим черенком и кисет, который оттягивал ему карман кардигана. Также он носил неуклюжий слуховой аппарат, еще один атрибут мира взрослых — или, скорее, мира на дальнем краю

взрослости, — над которым любили издеваться мы с братом. «Прошу прощенья?» — орали мы друг другу, прикладывая руку к уху и надрываясь со смеху. Мы оба с нетерпением ждали бесценных моментов, когда бабушкин живот урчал настолько громко, что пробуждал дедушку из глухоты с вопросом: «Телефон, да?» После короткого сконфуженного мычания они возвращались к своим газетам. Дедушка в мужском кресле, посвистывая слуховым аппаратом и посасывая пыхтящую трубку, качал головой над «Дейли экспресс», которая описывала ему мир, где истина и справедливость постоянно подвергались Коммунистической Угрозе. А бабушка, в красном углу, в женском кресле цокала языком над «Дейли уоркер», которая описывала ей мир, где истина и справедливость в их усовершенствованных версиях постоянно подвергались угрозе со стороны Капитализма и Империализма.

Дедушка к тому времени уже сократил свою религиозную обрядовость до просмотра «Псалмов» по телевизору. Он столярничал и работал в саду, он сам выращивал табак и высушивал его в своем гараже, где также хранил клубни георгинов и подшивки «Дейли экспресс», стянутые ворсистыми бечевками. Он держал в любимчиках моего брата, учил его точить стамеску и оставил в наследство плотницкий набор. Я не помню, чтоб он чему-нибудь меня учил (или что-то мне завещал), хотя однажды мне позволили наблюдать за тем, как он в сарае убивает курицу. Дед взял птицу под мышку, успокоил поглаживаниями, затем положил ее шею на зеленый металлический аппарат, привинченный к дверному косяку. Опуская рукоять, он стиснул куриное тельце еще крепче, чтобы погасить финальные конвульсии.

Моему брату разрешалось не только смотреть, но и участвовать. Несколько раз ему довелось тянуть рычаг, в то время как дедушка держал курицу. Однако наши воспоминания о бойне в сарае расходятся до несовместимости. По мне, этот аппарат всего лишь крутил птице шею, для него это была маленькая гильотина. «Я четко вижу корзинку под лезвием. Я (менее четко) вижу, как туда падает голова, капает (немного) крови, дедушка ставит безголовую курицу на землю, она еще бегает несколько секунд…» Это моя память подверглась очистке или его заражена фильмами про Французскую революцию? В любом случае дедушка познакомил моего брата со смертью и ее неприглядностью лучше, чем меня. «Ты помнишь, как дедушка забивал гусей перед Рождеством?» (Не помню.) «Он преследовал выбранного им гуся по загону, размахивая ломом. А когда настигал ловким ударом, то, чтоб уже наверняка, он клал птицу

на землю, придавливал гусиную шею ломом и дергал голову».

Мой брат помнит ритуал — я не видел такого ни разу, — который он называл Чтением Дневников. Бабушка и дедушка вели дневники по отдельности и вечерами порой развлекались, зачитывая друг другу то, что внесли туда на той же неделе несколько лет назад. Записи, несомненно, отличались известной банальностью, но часто приводили к разногласиям. Дедушка: «Пятница. Работал в саду. Сажал картошку». Бабушка: «Чушь. Весь день шел дождь. В саду мокро — работать невозможно».

Мой брат также помнит, как однажды, когда был совсем маленький, повыдергивал весь лук в дедушкином саду. Дедушка отлупил его до истошного рева, затем непривычно побелел, признался во всем нашей маме и поклялся никогда больше не поднимать руку на ребенка. Вообще-то мой брат ничего из этого не помнит — ни лука, ни головомойки. Ему эту историю постоянно рассказывала мама. Более того, если бы он ее помнил, ему бы стоило быть осмотрительней. Как философ он считает, что воспоминания лживы «настолько, что по картезианскому принципу гнилого яблока ничему нельзя верить без подтверждения со стороны». Я более доверчив или склонен к самообману, так что продолжу, как будто мои воспоминания верны.

Нашу маму при крещении назвали Кэтлин Мейбл. Она ненавидела Мейбл и жаловалась дедушке, который объяснял, что «когда-то знал одну очень милую девушку по имени Мейбл». Я не имею малейшего представления о росте или упадке ее религиозных верований, хотя мне перешел ее молитвенник, переплетенный вместе с «Гимнами древними и современными» в мягкой коричневой замше, каждый том подписан на удивление зелеными чернилами и с датой «Dec: 25t.h 1932.»[2]. Я восхищаюсь ее пунктуацией: две точки и двоеточие, а точка под «th» расположена ровно посередине между буквами. Теперь такой пунктуации уже не встретишь.

В моем детстве под запретом были три традиционные темы: религия, политика и секс. Когда мы с мамой начали их обсуждать — то есть первые две, третья перманентно отсутствовала в нашей повестке, — политически она оказалась закоренелым консерватором, каким, полагаю, всегда и была. Что касается религии, она мне твердо заявила, что не хочет на своих похоронах «никакой тарабарщины». Когда сотрудник похоронного бюро спросил, не хочу ли я убрать «религиозные символы» со стены крематория, я ответил ему, что она бы этого хотела.

Такое условное наклонение, между прочим, вызывает серьезные подозрения моего брата. В ожидании начала похорон

мы не то что заспорили — это бы нарушило семейную традицию, — но обменялись репликами, из которых было видно, что если по своим стандартам я и рационалист, то по его — довольно хилый. Когда мама сначала обездвижела от удара, она с радостью согласилась передать в пользование внучке К. свой автомобиль, последний из длинной череды «рено» — марки, которой она была франкофильски верна на протяжении почти полувека. Стоя с братом на парковке крематория, я искал глазами знакомый французский силуэт, как вдруг увидел, что моя племянница въезжает за рулем машины своего бойфренда Р. Я заметил — уверен, что мягко: «Думаю, мама бы захотела, чтобы К. приехала на *ее* машине». Мой брат так же мягко и логично опроверг меня. Он подчеркнул, что есть желания покойных, то есть какие-то вещи, которые некогда хотели теперь уже мертвые, и есть гипотетические желания, то есть вещи, которые они захотели бы или могли бы хотеть. «Что захотела бы мама» — комбинация последних двух: гипотетическое желание покойной, то есть вдвойне сомнительное. «Мы можем делать только то, чего хотим *сами»,* — объяснил он; потрафлять маминым гипотетическим желаниям так же иррационально, как если бы он обращал внимание на собственные прошлые желания. Я предложил в ответ, что мы должны пытаться делать то, что она бы хотела: а) поскольку что должны же мы делать *что-то,* и это что-то (если мы не оставили ее тело просто гнить в глубине сада) подразумевает выбор, и б) поскольку что мы надеемся, что, когда мы умрем, другие сделают то, чего в свою очередь хотели бы мы.

Я редко вижусь с братом и потому часто поражаюсь тому, как устроен его мозг, но он говорит совершенно искренне. Пока я вез его в Лондон с похорон, у нас случился еще более странный — для меня — разговор про мою племянницу и ее бойфренда. Они довольно долго встречались, потом временно разошлись, и К. закрутила с другим. Брату и его жене этот новенький сразу же не понравился, и моя невестка, как следует, целых десять минут ему «выговаривала». Как она ему выговаривала, я не стал спрашивать. Вместо этого я спросил: «Но ты же одобряешь Р.?»

«Одобряю я Р. или нет — абсолютно неважно», — ответил брат.

«Конечно же важно. К., возможно, хотела бы, чтобы ты его одобрял».

«Напротив, возможно, она хотела бы, чтобы я его *не* одобрял».

«Но в любом случае нельзя сказать, что для *нее* неважно, одобряешь ты его или нет».

Он задумался на секунду. «Ты прав».

Из этого разговора, пожалуй, видно, что он старший брат.

Моя мама не высказывалась относительно музыки, которую она хочет на свои похороны. Я выбрал первую часть фортепианной сонаты Моцарта ми-бемоль мажор, KV 282 — одной из тех пьес, что долго и величаво сворачиваются и разворачиваются, оставаясь торжественными даже в оживленных фрагментах. Казалось, она длится минут пятнадцать вместо заявленных на обложке семи, и я даже начал подозревать, что заиграла еще одна моцартовская вещь или крематорский CD-проигрыватель перескочил на начало. За год до этого я выступал в передаче «Диски необитаемого острова», где из Моцарта выбрал Реквием. После передачи мама позвонила и поставила мне на вид, что я назвал себя агностиком. Она сказала, что так же называл себя папа — в то время как она была атеисткой. Звучало это так, будто агностицизм был размытой либеральной позицией, в отличие от истинной, как невидимая рука рынка, реальности атеизма. «И что это за разговоры о смерти, кстати?» — продолжила она. Я объяснил, что мне не нравится сама идея. «Ты прямо как твой отец, — ответила она. — Может, дело в возрасте. Доживешь до моих лет, так волноваться уже не будешь. Лучшее в жизни я уже повидала. И вспомни Средние века — тогда продолжительность жизни была действительно низкой. А теперь мы живем семьдесят, восемьдесят, девяносто лет… Люди верят в религию только из-за страха смерти». Это было типичное для моей мамы заявление: четкое, пристрастное, явно нетерпимое к возражениям. Ее семейное главенство и уверенность в вопросах мироздания удобно все проясняли, когда я был ребенком, ограничивали в юности и нестерпимо утомляли в моей взрослой жизни.

После ее кремации я забрал диск Моцарта у «органиста», который, я вдруг подумал, теперь получает полное жалованье за то, что ставит запись с компакт-диска. С отцом прощались за пять лет до этого в другом крематории, где настоящий органист честно отрабатывал свой гонорар Бахом. Отец бы «этого хотел»? Думаю, он был бы не против; он был мягким человеком либеральных взглядов, не слишком интересовавшимся музыкой. В этом вопросе, как и в большинстве случаев, он — не без многочисленных тихо-ироничных ремарок — положился на мнение своей жены. Его гардероб, дом, в котором они жили, их машина — все решения были ее. В пору непримиримой юности я осуждал его как слабака. Позже я считал его конформистом. Еще позже — человеком автономным в своих взглядах, но не желающим разводить споры.

Первый раз, когда я попал в церковь со своей семьей — на

свадьбу родственника, — я был поражен, когда папа рухнул на колени перед скамьей, закрыв ладонью глаза и лоб. *Это-то* откуда, спросил я себя, перед тем как вполсилы сымитировать жестами благочестие, незаметно скрестив пальцы.

Это был один из тех моментов, когда вы удивляетесь родителям — не потому, что узнали о них что-то новое, но поскольку открыли для себя новую территорию собственного невежества. Проявлял ли отец таким образом учтивость? Думал ли он, что, если просто плюхнется на свое место, его примут за атеиста в духе Шелли? Понятия не имею.

Он умер современной смертью: в больнице, без семьи, разделив последние минуты с сиделкой, месяцы, даже годы спустя после того, как медицина научилась продлевать жизнь до состояния, когда условия, на которых ее предлагали, уже особенно не вдохновляли. Мама виделась с ним за несколько дней до этого, но затем слегла с опоясывающим лишаем. В последний ее визит он был очень растерян. Она характерным образом спросила его: «Ты знаешь, кто я? Потому что в последний раз, когда я приходила, ты не понимал, *кто я такая».* Отец так же характерно ответил: «Я думаю, что ты моя жена».

Я отвез маму в больницу, где нам выдали черный пластиковый пакет и кремовую сумку. Она быстро разобралась с обеими, точно зная, что она хотела забрать, а что оставить в больнице. Как плохо, сказала она, что он так и не поносил большие коричневые тапки на липучке, которые она ему купила месяц назад; незаметно от меня она унесла их домой. Она пришла в ужас, когда ей предложили взглянуть на папино тело. Она рассказала мне, что, когда дедушка умер, бабушка была «бесполезна» и маме пришлось заниматься всем. И только в больнице возобладал какой-то атавистический или родственный инстинкт, и бабушка настояла, чтоб ей показали тело мужа. Мама пыталась разубедить ее, но та и слушать ничего не желала. Их отвели в демонстрационную морга и предъявили дедушкин труп. Бабушка повернулась к маме: «Отвратительно выглядит, правда?»

Когда мама умерла, похоронный распорядитель из соседней деревни спросил, хотят ли родные видеть тело. Я сказал «да», мой брат — «нет». На самом деле его ответ — когда я позвонил с этим вопросом — был: «Господи, конечно же нет. Здесь я соглашусь с Платоном». У меня в голове не было текста, на который он ссылался. «А что говорил Платон?» — спросил я. «Что он не верит в мертвые тела». Когда я пришел один в похоронную контору, которая располагалась в дальнем конце помещения местной грузовой компании, директор сказал извиняющимся тоном: «Боюсь, она сейчас в задней комнате». Я посмотрел на него

вопросительно, и он объяснил: «Она на тележке». Я, не раздумывая, ответил: «Ну что вы, она и не настаивала на церемониях», хотя едва ли мог точно угадать, чего бы она хотела или не хотела в подобных обстоятельствах.

Она лежала в маленькой светлой комнате с распятием на стене; когда я вошел, она действительно была на тележке, затылком ко мне, избегая таким образом встречи лицом к лицу. Она казалась ну очень мертвой: закрытые глаза, приоткрытый рот, больше слева, чем справа, как это было в ее духе — она частенько держала сигарету в правом уголке рта, а разговаривала противоположным, пока столбик пепла не приобретал угрожающие размеры. Я попытался представить себе, что же она понимала, насколько это возможно, в момент угасания. Это случилось через несколько недель после того, как ее перевели из больницы в дом престарелых. К тому времени она уже положительно сошла с ума, ее сумасшествие было разных видов: в одном она продолжала считать себя главной, постоянно попрекая сиделок за воображаемые провинности, в другом, признавая полную утрату влияния, она снова была ребенком, все ее мертвые родственники — живыми, а то, что только что сказали ее мама или бабушка, — крайне важным. Перед ее сумасшествием я часто выключался во время ее солипсических монологов; теперь она неожиданно стала болезненно интересной. Я не уставал удивляться, откуда же все это берется и каким образом мозг производит эту поддельную реальность. И у меня уже не было никаких сожалений, что она желала разговаривать только о себе.

Мне сказали, что в момент смерти рядом с ней были две сиделки, которые затем перевернули ее, как только она «отошла». Мне хочется думать — потому что для нее это было характерно, а люди должны умирать так же, как жили, — что ее последняя мысль была адресована себе самой и была чем-то типа «Ну давай уже». Но это сентиментальность — то, что она бы, возможно, хотела (или, скорее, то, что я бы хотел для нее), и, может быть, если она вообще что-то думала, то представляла себя снова маленькой девочкой, которую переворачивают в горячечной постели пара давно умерших родственников.

В похоронном бюро я несколько раз дотронулся до ее щеки, затем поцеловал в волосы. Она была такой холодной, потому что выехала из морозильника или потому что все покойники естественным образом холодные? И нет, она не выглядела отвратительно. С макияжем не переборщили, и ей было бы приятно знать, что волосы элегантно уложены. («Разумеется, я никогда их не красила, — однажды хвасталась она невестке. — Это мой природный цвет».) Желание увидеть ее мертвой

происходило, признаюсь, скорее из писательского любопытства, нежели из сыновних чувств; но пора было и попрощаться, несмотря на все мое долгое раздражение, с ней связанное. «Молодец, мама», — сказал я тихо. Она действительно разобралась с «умиранием» лучше, чем отец. Он перенес серию ударов, его уход растянулся на несколько лет; она проделала путь от первого криза до смерти эффективнее и быстрее. Когда я забирал пакет с ее одеждой из социального дома (что раньше всегда вызывало у меня вопрос, как же должен выглядеть дом «асоциальный»), он оказался тяжелее, чем я ожидал. Сначала я обнаружил там непочатую бутылку шерри, а затем, в квадратной картонке, нетронутый торт, купленный деревенскими друзьями, которые приходили к ней на ее последний, восемьдесят второй день рождения.

Отец умер в таком же возрасте. Я всегда представлял себе, что его смерть будет тяжелее для меня, потому что я любил его сильнее, в то время как к матери мог в лучшем случае испытывать симпатию с изрядной долей раздражения. Оказалось все наоборот: то, что я ожидал как более легкую смерть, оказалось сложнее и опаснее. Его смерть была просто его смертью, ее смерть была смертью их обоих. И последовавшая уборка в доме превратилась в эксгумацию семьи, которой мы когда-то были, — не то чтобы мы и вправду были семьей после первых тринадцати-четырнадцати лет моей жизни. Теперь, впервые в жизни, я изучил содержимое маминой сумочки. Кроме обычных вещей там хранились вырезка из газеты «Гардиан» со списком величайших английских крикетистов после Второй мировой (хотя она никогда не читала «Гардиан») и фотография пса Макса из нашего детства, золотистого ретривера. На обороте незнакомой рукой было выведено «Maxim, le chien»[3] — наверное, снимок был сделан или, по крайней мере, подписан в начале 1950-х П., одним из французских *assistants* моего отца.

П. был родом с Корсики, беззаботный парень с привычкой, которая казалась моим родителям типично галльской, просаживать месячную получку за день. Он приехал к нам на несколько дней, пока не найдет жилье, и в результате остался на целый год. Мой брат, зайдя однажды утром в ванную, обнаружил перед зеркалом для бритья незнакомого мужчину. «Если уйдешь, — сообщило ему лицо в мыльной пене, — я расскажу тебе историю про мистера Бизи-Визи». Мой брат ушел, и П., как выяснилось, знал массу приключений, выпавших на долю мистера Бизи-Визи, ни одно из которых я не помню. Также в нем была артистическая жилка: он сооружал железнодорожные станции из коробок от хлопьев, а однажды преподнес моим родителям —

возможно, вместо арендной платы — два написанных им пейзажика. Все детство они висели у нас на стене и поражали меня невообразимым мастерством, но тогда все отдаленно похожее вызывало такой же эффект.

Что до Макса, то он либо сбежал, либо — поскольку мы не могли себе представить, что он желал добровольно покинуть нас, — его похитили, вскоре после этой фотографии, однако, куда бы он ни отправился, он и сам, наверное, уже лет сорок, как умер. Папа был бы «за», но мама так и не завела собаку.

Учитывая историю моей семьи, где истощенная вера соседствовала с бодрым неверием, я мог бы, из подросткового непослушания, удариться в благочестие. Но ни агностицизм отца, ни атеизм матери не были явно выражены и тем более не ставились мне в пример, так что, возможно, они не оправдывали бунта. Полагаю, я мог бы, представься такая возможность, стать иудеем. В школе, где я учился, из 900 мальчиков где-то 150 были евреями. В целом они казались более развитыми в общении и сведущими в вопросах моды: обувь у них была получше — один мой ровесник даже щеголял в полусапожках с резинками по бокам, — и они кое-что знали про девушек. Еще у них были дополнительные праздники — очевидное преимущество. К тому же это обязательно шокировало бы моих родителей, склонных к легкому антисемитизму, свойственному их возрасту и классу. (Когда в конце какой-нибудь телевизионной постановки в титрах появлялась фамилия вроде Аарансон, один из них мог заметить с кривой усмешкой: «Еще один валлиец».) Но это не означало, что они вели себя как-то иначе с моими еврейскими друзьями, одного из которых, как казалось, по заслугам, звали Алекс Бриллиант[4]. Сын табачного киоскера, он уже в шестнадцать читал Витгенштейна и писал стихи, пульсировавшие двойными, тройными, четверными — как коронарные шунтирования — смыслами. Он лучше меня успевал по английскому и получил стипендию в Кембридже, после чего я потерял его из виду. Многие годы я периодически воображал себе его непременный успех в гуманитарной области. Уже после пятидесяти я узнал, что биография, которую я ему придумывал, была пустой фантазией. Алекс наложил на себя руки из-за женщины — наглотавшись таблеток, когда ему было под тридцать, половину моей жизни назад.

Так что во мне не было веры, чтобы ее потерять, я лишь сопротивлялся, на самом деле менее героическим образом, чем мне тогда казалось, мягкому режиму богопочитания, установленному в английском образовании: уроки Писания,

утренние молитвы и гимны, ежегодная благодарственная служба в соборе Святого Павла. Вот и все, кроме роли Второго Пастуха в вертепе, которую мне доверили в начальной школе. Меня не крестили и не отправили в воскресную школу. Я в жизни ни разу не присутствовал на обычной церковной службе. Я хожу на крещения, венчания, панихиды. Я постоянно захожу в церковь, но из архитектурных соображений и в более широком смысле — чтобы понять, какой когда-то была английская жизнь.

Литургический опыт моего брата незначительно больше моего. Будучи скаутом-«волчонком», он сходил на несколько обычных церковных служб. «Я припоминаю, что был поражен, я чувствовал себя антропологом среди антропофагов». Когда я спросил его, как он потерял веру, брат ответил: «Я никогда ее не терял, потому что у меня ее не было. Но я понял, что все это чепуха, седьмого февраля пятьдесят второго года в девять утра. Мистер Эббетс, директор Дервенуотерской начальной школы, объявил нам, что король умер, что он вознесся на небо, к вечной славе и счастью с Господом, и вследствие этого мы все будем носить черные повязки в течение месяца. Я подумал, что здесь что-то нечисто и Как Же Я Был Прав. С моих глаз не слетела никакая пелена, не было никакого чувства утраты, ничто не оборвалось и так далее. Я надеюсь, — добавляет он, — что так оно и было. Воспоминание у меня очень ясное и устойчивое, но ты же знаешь, что такое память».

Когда умер Георг VI, моему брату только исполнилось девять (мне было шесть, я ходил в ту же школу, но я ничего не помню ни про речь мистера Эббетса, ни про черные повязки). Мое прощание с остатками, с возможностью религии случилось в более позднем возрасте. Подростком, скрючившись над какой-нибудь книжкой или журналом в ванной комнате, я все время говорил себе, что Бог никак не может существовать, поскольку сама идея, что он может следить за тем, как я мастурбирую, была абсурдной; еще более абсурдной казалась возможность, что все мои покойные предки выстроились рядком и тоже следят за мной. У меня имелись и другие, более рациональные аргументы, но окончательно расправилось с Ним именно это убедительное ощущение — небескорыстным образом, разумеется. От мысли, что бабушка и дедушка наблюдают за тем, что я собираюсь предпринять, у меня и вправду могли опуститься руки.

Вспоминая это теперь, я задаюсь вопросом, почему же я не предполагал другие сценарии. Почему я считал, что Бог, если он *действительно* следил за мной, обязательно осуждал то, как я проливаю семя свое? Почему мне не приходило в голову, что если небеса не обрушились от вида того, как я истово изнуряю себя,

то, вероятно, оттого, что небеса не считали это грехом? Равно как мне не хватало воображения представить себе, что мои покойные предки также с улыбкой смотрели на то, что я творю: жми, сынок, получай удовольствие, пока можешь, ничего такого уже не будет, когда ты станешь бестелесным духом, так что давай еще разок за нас. А дедушка, возможно, вынимал изо рта свою небесную трубку и заговорщически шептал: «Когда-то я знал одну очень милую девушку по имени Мейбл».

В начальной школе у нас проверяли голоса. По одному мы выходили перед классом и пытались пропеть несложный мотив под аккомпанемент учителя. Затем нас определяли в одну из двух групп: Высокие Голоса или Низкие Голоса (музыкальный аналог Всего Остального Мира). Эти ярлыки были добрыми эвфемизмами, поскольку до ломки голоса оставалось еще много лет; и я помню снисходительную реакцию родителей, когда я сообщил им, как будто это было достижение, в какую группу определили меня. Мой брат тоже был Низким Голосом; хотя его ждало гораздо большее унижение. В следующей школе у нас опять проверяли голоса, после чего нас разделил — напоминает мне брат — на группы A, B и C «омерзительный тип по фамилии Уолш или Уэлш». Отчего мой брат так враждебно настроен полвека спустя? «Он создал группу D специально для меня. У меня ушло несколько лет, чтобы перестать ненавидеть музыку».

В этой школе музыку нам давали каждое утро в связке с громыхающим органом и бессмысленными гимнами. «Далёко холм зеленый есть / За городской стеной, / Господь наш добрый там распят / За нас за всех с тобой». Мотив был не хуже остальных, но кому бы пришло в голову строить городскую стену вокруг зеленого холма? Позже, когда я понял, что «за» означало «снаружи», я переключил свое недоумения на «зеленый». Холм *зеленый*? В Палестине? Теперь, когда мы уже носили длинные штаны, мы не особенно усердствовали в географии (те, кто поумней, на нее не ходили), но даже я знал, что в Палестине только песок да камни. Я не чувствовал себя антропологом среди антропофагов — я тогда относил себя к скептикам, — но я точно ощущал дистанцию между знакомыми словами и значениями, которые им придавали.

Раз в год, на дне вручения наград лорд-мэром, мы пели «Иерусалим», переделанный в школьную песню. Особо шумные мальчики — шайка неисправимых Низких Голосов — в определенный момент всякий раз переходили на нигде не помеченное и неодобряемое фортиссимо: «Где стрелы страсти *(короткая пауза)* ДЛЯ МЕНЯ-А-А». Знал ли я, что слова написал

Блейк? Сомневаюсь. Так же как никто не пытался привлекать нас к религии красотой ее языка (вероятно, это считалось самоочевидным). У нас был пожилой преподаватель латыни, любивший отклоняться от текста в то, что выдавалось за плоды задумчивости, но являлось, как я сейчас понимаю, домашними заготовками. Он казался чопорным клириком, но мог вдруг пробормотать, как будто это только что пришло ему в голову, что-нибудь вроде: «Она была всего лишь дочерью араба, но вы бы видели, какой крохотный сектор Газа» — шутка слишком рискованная, чтобы пересказывать ее моим родителям-учителям. В другой раз он исторгал язвительность по поводу абсурдного названия книги «Библия как литература». Мы вежливо посмеивались вместе с ним, но с противоположных позиций: Библия (скучная), разумеется, *не может* читаться как литература (интересная), QED[5].

Среди нас, номинальных христиан, было несколько по-настоящему благочестивых мальчиков, но всем они казались немного странными и были такой же редкостью — и странностью, — как наш учитель, носивший обручальное кольцо и легко красневший (он был так же благочестив). В юности у меня однажды, а может, дважды случился трансцендентальный опыт: ощущение, как будто я под потолком и оттуда разглядываю свою духооставленную плоть. Я рассказал об этом школьному товарищу, обладателю сапожек с резиновыми вставками, — но не родным; и хотя я находил в происшедшем основания для некоторой гордости (что-то со мной происходит!), я не вынес из этого опыта ничего значительного, ни тем более религиозного.

Скорее всего, именно Алекс Бриллиант сообщил нам новость от Ницше, что Бог официально умер, а значит, мы можем дрочить еще пуще. Ты сам создаешь свою жизнь, не так ли, — в этом же вся суть экзистенциализма. А наш неравнодушный молодой учитель английского, судя по всему, был антирелигиозен. По крайней мере, он цитировал нам строки Блейка, звучавшие полной противоположностью «Иерусалиму»: «Ибо Не Породивший Сына Отец / Рыгнул и раскашлялся под конец»[6]. Бог рыгал! Бог кашлял! Вот доказательство, что Его нет! (Опять же мне так и не пришло в голову, что эти человеческие черты подтверждают Его существование и даже вызывают сочувствие к Всевышнему.) Вдобавок он привел нам Элиотово безрадостное резюме человеческой жизни: рождение, соитие и смерть. Позже, на половине своего естественного срока, наш учитель английского, так же как Алекс Бриллиант, покончил с собой. Смешав снотворное с виски, они с женой совершили двойное самоубийство.

Я поступил в Оксфорд. Меня попросили зайти к капеллану колледжа, который объяснил, что как стипендиат я имею право читать Библию с амвона. Только что освободившись от навязанного религиозного лицемерия, я ответил: «Боюсь, что я счастливый атеист». Не произошло ровным счетом ничего — гром не раздался с небес, у меня не отобрали мантию стипендиата, никто и бровью не повел; я допил шерри и ушел. Дня через два капитан университетской команды постучался ко мне в комнату и спросил, не хочу ли я попробовать себя в гребле. Я ответил — после противостояния с капелланом уже, вероятно, смелее: «Боюсь, что я эстет». Теперь мне неловко за тот ответ (и жаль, что я не занимался греблей), но опять-таки ничего не случилось. Крепкие парни не вломились ко мне крушить голубой фарфор, которого у меня и не было, или макать мою начитанную голову в унитаз. Я был готов заявить свою позицию, но стеснялся защищать ее в споре. Будь я более разговорчивым — или бестактным, — я бы мог объяснить и клирику, и гребцу, что атеизм и эстетизм идут рука об руку, так же как в их случае — мышечная сила и христианство. (Хотя спорт мог бы предложить хорошую аналогию: разве Камю не говорил, что подходящая реакция на бессмысленность жизни — придумать правила игры, как в футболе?) Я бы мог продолжить — в воображаемой контраргументации — строчками Готье: «Les Dieux eux-mêmes meurent. / Mais les vers souverains / Demeurent / Plus forts que les airains» («Даже боги умирают, но Поэзия крепче бронзы и переживет все»). Я бы мог объяснить, как религиозное восхищение давно уже уступило место восхищению эстетическому, и, вполне возможно, в завершение соскабрезничал бы, что святая Тереза в известной экстатической скульптуре, по всем признакам, не зрит Бога, а получает какие-то гораздо более телесные наслаждения. Когда я заявил, что я счастливый атеист, прилагательное следовало относить только к существительному, и не более того. Я был счастлив не верить в Бога; я был рад, что в плане учебы пока хорошо успеваю, но этим, пожалуй, все и ограничивалось. Меня снедали тревоги, которые я пытался скрывать. Будучи интеллектуально способным (хотя я подозревал, что всего лишь навострился сдавать экзамены), я оставался социально, эмоционально и сексуально незрелым. И если я был рад освободиться от Не Породившего Сына Отца, последствия не приводили меня в восторг. Нет Бога, нет небес, нет загробной жизни: теперь смерть, пусть и отдаленная, смотрелась уже совсем в другой перспективе.

Студентом университета я провел год во Франции, где

преподавал в католической школе в Бретани. Священники, среди которых я жил, поразили меня совершенно мирским разнообразием человеческих типов. Один держал пчел, другой был друидом; один играл на скачках, другой был антисемитом; молодой беседовал с учениками о мастурбации, старый пристрастился к телефильмам, даром что потом высокомерно отмахивался от них: «Ни уму, ни сердцу». Были священники умные и искушенные, были глупые и доверчивые; одни были явно набожны, другие в своем скептицизме доходили до богохульства. Я помню, как все были потрясены, когда за столом в трапезной ехидный отец Маре начал подшучивать над другом друидов отцом Кальваром, выспрашивая, у кого из них в родной деревне Святой Дух, сходивший на Троицу, был лучшего качества. Здесь я впервые увидел труп — отца Русселя, молодого священника, преподавателя закона Божьего. Его тело поместили в вестибюле, прямо у главного входа в школу: мальчикам и персоналу следовало подходить к нему попрощаться. Я только лишь бросил взгляд через стекло двойных дверей, убеждая себя, что поступаю так из чувства такта; хотя, по всей вероятности, причиной был страх.

Священники обращались со мной благожелательно, порой дразня, порой не понимая. «Ага, — говорили они, останавливая меня в коридоре, взяв за локоток и смущенно улыбаясь, — *la perfide Albion*»[7]. Среди них был некий отец Юбер де Гоэсбриан, добрый малый, хоть и не семи пядей во лбу, который свое роскошное имя бретонского аристократа не иначе как выиграл в лотерею, настолько мало оно ему соответствовало. Слегка за пятьдесят, полный и неповоротливый, он был лыс и глух. Для него не находилось пущей радости, чем задирать за трапезой тишайшего секретаря школы месье Ломера: засунуть ему украдкой в карман столовые приборы, пустить сигаретный дым в лицо, пощекотать шею или неожиданно пихнуть горчичницу прямо под нос. Секретарь школы реагировал на эти утомительные каждодневные провокации с поистине христианским смирением. Поначалу отец Гоэсбриан норовил, проходя мимо, всякий раз и меня ткнуть в бок или дернуть за волосы, пока я радостно не послал его куда подальше, и он это делать прекратил. На войне его ранили в левую ягодицу («Юбер отступал!» — «Нет, мы попали в окружение»), поэтому он ездил со скидкой и выписывал журнал для *Anciens Combattans*[8]. Относительно его остальные священники снисходительно качали головой. «Pauvre Hubert»[9], — чаще всего раздавалось в трапезной, скомканной ремаркой в сторону или криком прямо ему в лицо.

Отец Гоэсбриан только что отметил четверть века

священнослужения и в вопросах веры был по-солдатски прямолинеен. Он поразился, когда, случайно услышав наш разговор с отцом Маре, обнаружил, что я не крещен. *Pauvre Hubert* тут же озаботился моей судьбой и ввел меня в курс суровых теологических последствий: без крещения мне никак не обрести Царствие Небесное. Возможно, мое положение изгоя позволяло ему иногда признаваться мне, насколько жизнь священнослужителя полна лишений и разочарований. Однажды он с опаской доверился: «Неужели ты думаешь, что я бы прошел через все это, если бы в конце не было рая?»

Тогда я был равно восхищен подобной практичностью и потрясен, как жизнь бывает истрачена в пустых надеждах. Но у расчетов отца Гоэсбриана имелась славная предыстория, и я мог бы узнать в них рабочую версию знаменитого пари Паскаля, которое звучит довольно просто. Если вы верите и оказывается, что Бог есть, вы выиграли. Если вы верите, а оказывается, что Бога нет, вы проиграли, но и вполовину не так сокрушительно, как если бы вы решили не верить, а после смерти выяснилось бы, что Бог все-таки есть. Это, вероятно, не столько строгая аргументация, сколько своекорыстная стратегия выбора сторон, достойная французского дипкорпуса; хотя первое пари, относительно существования Бога, зависит от второго тут же заключаемого пари, относительно природы Господа. Что, если Бог не таков, как Его себе представляют? Что, если Он, например, осуждает азартных игроков, в особенности тех, чья подразумеваемая любовь к Нему — производная философии наперсточника? И кому решать, кто выиграл пари? Уж точно не нам: Бог вполне может предпочесть честного скептика льстивому аферисту.

Пари Паскаля находит отклик уже несколько веков, и всегда появляются желающие его принять. Вот экстремальная, боевая версия. В июне 2006-го в киевском зоопарке некий гражданин слез по веревке в островной вольер с тиграми и львами. Пока длился спуск, он кричал в сторону изумленной толпы зевак. Один из очевидцев приводит его слова: «Кто в Бога верит, того львы не тронут», а затем — откровенно с подначкой: «Господь спасет меня, если Он есть». *Провокатор-метафизик* достиг земли, разулся и направился к животным, после чего раздраженная львица сбила его с ног и перекусила сонную артерию. Доказывает ли это, что: а) гражданин был сумасшедшим, б) Бога нет, в) Бог есть, но не явил себя, поскольку не ведется на такие дешевые уловки, г) Бог есть и только что продемонстрировал, какое у Него чувство юмора, д) все вышеперечисленное неверно.

А вот пари, специально сформулированное так, как будто оно

не пари и вовсе: «Да веруй себе! Хуже-то от этого не будет». Эта слабая, как вчерашний чай, вариация, усталый шепот измученного метафизической мигренью, встречается в записках Витгенштейна. Будь вы Вседержителем, на вас бы вряд ли произвела впечатление такая вялая поддержка. Хотя иногда, наверное, «хуже от этого не будет», кроме того, что это ложь, кому-то может показаться хуже некуда.

Пример: лет за двадцать до того, как была сделана эта запись, Витгенштейн подвизался учителем в глухих деревнях Нижней Австрии. Местные почитали его за аскета и эксцентрика, хотя отмечали в нем привязанность к ученикам, а также его готовность, несмотря на собственные религиозные сомнения, начинать и заканчивать каждый учебный день молитвой «Отче наш». Учительствуя в Траттенбахе, Витгенштейн возил своих учеников на экскурсию в Вену. До ближайшей станции, Глоггница, было двенадцать миль, так что экскурсия началась с обучающей пешей прогулки по лесу, где детям было велено опознавать растения и камни, которые они проходили на уроках. Два дня в Вене ушли на то же, но теперь уже с образцами архитектуры и техники. Затем они отправились назад. Когда поезд прибыл в Глоггниц, уже сгущалась ночь. Надо было проделать двенадцать миль по лесу пешком. Витгенштейн, понимая, что многие дети напуганы, подходил к каждому из них по очереди и тихонько увещевал: «Страшно? Тогда не думай ни о чем, кроме Бога». Вокруг был темный лес в прямом смысле слова. Да веруй себе! Хуже-то не будет. И хуже действительно не было. Несуществующий Бог, по крайней мере, хранит вас от несуществующих эльфов и леших, в отличие от существующих волков и медведей (а также львиц).

Исследователь Витгенштейна полагает, что философ не был «религиозен», но что в нем обреталась «в некоем смысле *возможность* веры», хотя его концепция имела меньшее отношение к вере в Создателя, нежели к представлениям о грехе и жажде справедливого воздаяния. Он считал, что «жизнь может научить вере в Бога» — одна из его последних записей. Он также воображал, как ему задают вопрос, будет ли он жить после смерти, а он говорит, что не может на него ответить; не по причинам, на которые могли бы сослаться мы с вами, а поскольку «у меня нет четкого представления о том, что я говорю, произнося “Я буду всегда”». Полагаю, мало у кого из нас оно есть, кроме фанатичных самоубийц, ожидающих за свою жертву весьма конкретного воздаяния. Хотя что это означает, а не что из этого следует, мы понять в состоянии.

Если я называл себя атеистом в двадцать и агностиком — в пятьдесят и шестьдесят, то не потому, что за прошедшее время приобрел новые знания, а просто лучше стал сознавать свое невежество. Откуда нам знать, что мы знаем достаточно? Мы, неодарвинисты и материалисты XXI века, убежденные, что смысл и механика человеческой жизни обрели ясные очертания только в 1859-м, категорически полагаем себя мудрее тех доверчивых прихожан, что совсем незначительное время назад верили в божественный умысел, мировую гармонию, воскресение и Страшный суд. Пусть мы лучше информированы, но в эволюционном смысле мы не лучше и точно не умнее их. Что же убеждает нас, что наше знание окончательно?

Моя мать сказала бы, и говорила, что дело в «возрасте», — как будто теперь, когда конец близок, мою решительность ослабляют метафизическая предусмотрительность и животный страх. Однако она была бы не права. Осознание неизбежности смерти пришло ко мне рано, лет в тринадцать или четырнадцать. Французский литературный критик Шарль дю Бос, друг и переводчик Эдит Уортон, придумал на этот счет удачный оборот: *le réveil mortel*. Как же лучше перевести? «Звонок будильника смерти» — немного из области гостиничного обслуживания. «Смерте-знание», «пробуждение к смерти» — слишком отдает немецкой философией. «Осознание смерти»? — но это предполагает скорее состояние, нежели точечный удар молнии. В каком-то смысле плохой (первый) перевод Дюбосова выражения подходит лучше всего: это действительно как будто вы в незнакомом гостиничном номере, где ваш предшественник оставил заведенный будильник, и в чудовищную рань вас вдруг выдирают из сна в утреннюю темень панический страх и жестокое осознание, что в этом мире вы всего лишь постоялец.

Мой друг Р. недавно спросил меня, как часто я думаю о смерти и при каких обстоятельствах. Как минимум каждый божий день, ответил я; еще периодически случаются ночные приступы. Мысли о смерти вторгаются в мое сознание, когда внешний мир представляет собой очевидную параллель: как только наступает вечер, когда дни становятся короче или после длительных прогулок по лесу. Возможно, несколько более оригинальным образом мой будильник часто орет в начале спортивных состязаний по телевизору, особенно почему-то во время турнира по регби — Кубка пяти (теперь шести) наций. Я рассказал это все Р., извинившись за, возможно, излишнее самолюбование и самокопание в этом вопросе. Он ответил: «Твои мысли о смерти НОРМАЛЬНЫЕ. Не извращенные, как у Г. <наш общий друг>. У меня оч.-оч. извращенные. Всегда были типа = ДАВАЙ ПРЯМО

СЕЙЧАС. Дуло-в-рот. Дела сильно пошли на поправку, с тех пор как констебли заявились ко мне и изъяли ружье двенадцатого калибра, потому что услышали мое выступление на “Дисках необитаемого острова”. Теперь у меня только пневматическое ружье <его сына>. Не подойдет. Так что ВСТРЕТИМ СТАРОСТЬ ВМЕСТЕ».

Раньше о смерти говорили гораздо охотней, не о смерти и загробной жизни, а о смерти и полном исчезновении. В 1920-е Сибелиус хаживал в хельсинкский ресторан «Камп», где присоединялся к «лимонному столу»: лимон — китайский символ смерти. За этим столом, собиравшим художников, промышленников, врачей и адвокатов, разговоры о смерти не только не возбранялись, но изначально подразумевались. В Париже за несколько десятилетий до этого группа писателей, в которую входили Флобер, Тургенев, Эдмон де Гонкур, Доде и Золя, собиралась в ресторане «Маньи», чтобы обсудить этот вопрос по порядку и в дружеской манере. Все они были атеистами или глубокими агностиками, страшившимися смерти, но не пытавшимися ее избежать. «Людям, подобным нам, — писал Флобер, — нужна религия отчаянья. Должно соответствовать своей судьбе, то есть быть столь же равнодушным. Только приговаривая “Так и есть! Так и есть!” и заглядывая в разверзнувшуюся у ног черную бездну, можно сохранять спокойствие».

Я никогда не хотел ощутить вкус дула во рту. В сравнении с этим мой страх смерти незначительный, рациональный, практичный. Собрать новый «лимонный стол» или ужин, как в «Маньи», будет непросто еще и потому, что некоторые из присутствующих могут начать состязаться. Чем страх смерти как тема для мужского бахвальства хуже машин, денег, женщин или размера члена? «Просыпаетесь по ночам в холодном поту от собственного крика — ха! — это детский сад. Вот когда начнется…» Так что наши интимные переживания могут оказаться не только банальными, но маломощными. МОЙ СТРАХ СМЕРТИ БОЛЬШЕ ТВОЕГО И ВСТАЕТ ЧАЩЕ.

С другой стороны, это был бы один из тех случаев, когда в споре о мужских достоинствах гораздо приятней проиграть. В осознании смерти есть и такое утешение: всегда — практически всегда — найдется кто-нибудь в еще худшем положении, нежели вы. Не только Р., но и наш общий друг Дж. Он многолетний обладатель золотой медали танатофоба, поскольку пробудился этим самым *réveil mortel* в четыре года (в четыре! вот сволочь!). Эта новость так сильно поразила его, что он провел все детство в компании вечного небытия и ужасающей бесконечности. И теперь

страх смерти преследует его гораздо сильнее, чем меня; кроме того, он чаще подвержен депрессиям. Есть девять базовых критериев Серьезного Приступа Депрессии (от Подавленного Состояния На Протяжении Почти Всего Дня через Бессонницу и Ощущение Бесполезности к Повторяющимся Мыслям о Смерти и Повторяющимся Фантазиям о Самоубийстве). Наличие любых пяти на протяжении двух недель — достаточное основание для диагноза «депрессия». Лет десять назад Дж. лег в больницу, умудрившись выбить девять из девяти. Он поведал мне об этом без желания заработать какие-то очки (я давно уже перестал с ним соревноваться), хотя и не без некоторого мрачного удовлетворения.

Каждому танатофобу требуется временное утешение в лице кого-то, кому еще хуже. У меня есть Дж., у него есть Рахманинов, человек, приходивший в ужас и от перспективы смерти, и от возможности загробной жизни; композитор, чаще всех использовавший в своей музыке тему *Dies Irae;* кинозритель, выбегавший из зала со сцены на кладбище в самом начале «Франкенштейна». Рахманинов удивлял своих друзей, только когда он не хотел говорить о смерти. Типичный случай: в 1915-м он посетил поэтессу Мариэтту Шагинян и ее мать. Первым делом он обратился к матери с просьбой погадать ему на картах, чтобы (разумеется) выяснить, сколько ему еще осталось жить. Затем он завел с дочерью разговоры о смерти: в тот день он выбрал для этого рассказ Арцыбашева. На журнальном столике стояли фисташки. Рахманинов съел пригоршню фисташек, поговорил о смерти, придвинулся поближе к блюду, съел еще одну пригоршню, поговорил о смерти. Неожиданно он откинулся на стуле и рассмеялся. «Эти фисташки прогнали мой страх смерти. Интересно куда». Ни поэтесса, ни ее мать не знали ответа; но когда Рахманинов уезжал в Москву, ему дали с собой в путешествие мешок орехов, «дабы избавить его от страха смерти».

Если бы мы с Дж. играли в русских композиторов, я бы ответил ему (или повысил ставки) Шостаковичем, более великим музыкантом, но столь же зацикленным на смерти. «Мы должны больше думать о смерти, — говорил он, — и приучать себя к мысли о ней. Мы не можем позволить страху смерти подобраться к нам неожиданно. Мы должны свыкнуться со страхом, и один из способов — это писать о ней. Не думаю, что сочинения и мысли о смерти характерны только для стариков. Я считаю, что чем раньше человек начинает думать о смерти, тем меньше дурацких ошибок он совершит». Он также говорил: «Страх смерти, может быть, самое сильное чувство. Иногда я думаю, что сильнее переживания просто нет». Эти взгляды не выражались публично.

Шостакович знал, что смерть — кроме примеров жертвенного героизма — не была подобающим сюжетом для советского искусства, что это «было бы равносильно тому, чтобы прилюдно вытирать нос рукавом». Он не мог позволить *Dies Irae* сверкать со своих партитур, ему приходилось музыкально конспирироваться. Но со временем осмотрительный композитор нашел в себе силы провести рукавом по ноздрям, особенно в камерной музыке. В его поздних работах встречаются длинные медленно-медитативные обращения к теме смерти. Виолончелист Квартета имени Бетховена однажды получил от композитора следующий совет относительно первой части Пятнадцатого квартета: «Играйте так, чтобы мухи дохли на лету».

Когда мой друг Р. высказался о смерти в передаче «Диски необитаемого острова», полиция отобрала у него ружье. После моего выступления посыпались разнообразные письма, в которых мне указывали на то, что я могу излечиться от своих страхов, если только загляну внутрь себя, откроюсь вере, пойду в церковь, научусь молиться и так далее. Теологическое блюдо фисташек. Писавшие не то чтобы поучали меня — там встречались авторы и суровые, и сентиментальные, — но они на полном серьезе полагали, что такое решение для меня большая новость. Как будто я дикарь из далеких джунглей (хотя будь я таковым, у меня имелись бы свои обряды и система верований), а не говорю это в тот момент, когда христианство в моей стране близко к вымиранию, не в последнюю очередь из-за того, что в семьях, подобных моей, не верят уже не меньше века.

Примерно на век я и могу проследить историю своей семьи. За отсутствием других претендентов я стал семейным архивариусом. В неглубоком ящичке в нескольких метрах от моего рабочего места лежит весь корпус документов: метрики, брачные свидетельства и свидетельства о смерти; завещания и апостили; характеристики и рекомендательные письма; паспорта, продовольственные карты, удостоверения личности (и *cartes d'indentite*[10]*);* записные книжки, альбомы и газетные вырезки. Вот комические куплеты, которые написал мой отец (их следовало исполнять в смокинге, облокотившись на рояль, под нестройный, как в ночном клубе, аккомпанемент коллеги по школе или армейского товарища), его подписанные меню, театральные программки и наполовину заполненные крикетные карточки. Вот амбарная книга моей матери, ее списки адресатов для поздравлений с Рождеством и таблицы котировок акций и облигаций. Вот телеграммы и аэрограммы, которыми они с отцом обменивались во время войны (но не письма). Вот табели их

сыновей и карты их физического развития, программки выступлений на школьных праздниках, грамоты по плаванию и легкой атлетике — из них видно, что в 1955-м я был первым по прыжкам в длину и третьим в беге, а мой брат с Дионом Шайрером однажды пришли вторыми в гонке на тележках, — а также свидетельства о давно забытых достижениях, подобно моему аттестату о Прилежном Посещении занятий в одном из семестров начальной школы. Вот еще дедушкины медали с Первой мировой — свидетельства его прилежного посещения Франции в 1916–1917 гг., о котором он не желал рассказывать.

Этот неглубокий ящик достаточно велик, чтобы хранить в себе весь семейный фотоархив. Пачки снимков подписаны папиным почерком: «Мы», «Мальчики» и «Старина». Вот папа в учительской мантии и летной форме, в смокинге, бриджах и белоснежной паре для крикета, обычно с сигаретой в руке или трубкой во рту. Вот мама в роскошных перелицованных платьях, строгом купальном костюме-двойке и щегольском наряде для танцев на масонском ужине. Вот французский *assistant*, который, вероятно, сфотографировал *Maxim, le chien*, и другой *assistant*, который помог развеять прах моих родителей на западном побережье Франции. Вот брат и я в юные белокурые годы демонстрируем модели домашнего трикотажа псу, пляжному мячу и маленькой тележке; вот мы завалились на один трехколесный велосипед; вот мы на десятках фото, вырезанных, а затем помещенных в картонные рамки под общим названием «Аттракционы Нестле, Олимпия, 1950».

А вот фотографические материалы дедушки — в альбоме красной кожи с названием «Виды большие и малые», купленном в местечке Колвин-Бэй в августе 1913-го. Коллекция охватывает период с 1912-го по 1917-й, после чего дедушка, похоже, перестал снимать. Вот Берт со своим братом Перси, Берт с невестой Нелл, а затем эти же двое в день свадьбы: 4 августа 1914-го, в день начала Первой мировой. И вдруг посреди пожелтевшей сепии неидентифицируемых родных и близких что-то вымарано: фотография сидящей в шезлонге женщины в белой кофточке, датированная «Сент. 1915». Рядом с датой что-то написанное карандашом — имя? место? — более или менее стерто. Лицо женщины яростно скоблили, пока от него не остался только подбородок и волнистые пшеничные волосы. Интересно, кто это сделал, почему и по отношению к кому.

Подростком я тоже пережил свою фотоэпоху с нехитрой проявкой и печатью на дому: пластмассовые бачки, оранжевый полумрак лаборатории, увеличитель, глянцеватель и контрольки. В своей увлеченности я однажды откликнулся на журнальную

рекламу, обещавшую недорогой, но волшебный продукт, который бы перенес мои скромные черно-белые снимки в пышущий жизнью мир цвета. Не помню, советовался ли я с родителями, перед тем как отправить почтовый перевод, и был ли я расстроен, когда обещанное оказалось набором из кисточки и продолговатых кювет с красками, которые ложились на фотобумагу. Но я приступил к работе и оживил иллюстрированную историю своей семьи, пусть, возможно, и погрешив против исторической точности. Вот папа в ярко-желтых вельветовых брюках и зеленом свитере на фоне монохромного сада; дедушка в штанах такого же зеленого цвета, бабушка в кофточке, чья зелень разведена водой. У всех троих неестественные кроваво-розовые руки и лица.

Мой брат принципиально не доверяет истинности воспоминаний; я не доверяю тому, как мы их раскрашиваем. У нас у всех свои дешевые наборы, заказанные по почте, свои любимые краски. Так, несколькими страницами выше я назвал свою бабушку «миниатюрной и податливой». Мой брат, когда я обратился к нему, достал свою кисточку и в пику мне нарисовал ее «низкорослой и властной». Также в альбоме его памяти больше, чем в моем, снимков редкого выезда на остров Ланди, в котором участвовали три поколения семьи, в начале 1950-х. Для бабушки это почти наверняка был единственный раз, когда она покинула британскую сушу; для дедушки — первый раз после возвращения из Франции в 1917-м. Море в тот день было неспокойным, бабушку отчаянно мутило, и когда судно подошло к Ланди, нам сказали, что высаживаться слишком опасно. Мои воспоминания того дня — выцветшая сепия, для брата все по-прежнему анилиново-ярко. Он может описать, как бабушка провела все путешествие в трюме, как ее вытошнило в несколько пластиковых стаканчиков, а дедушка в надвинутой на брови кепке покорно принимал один за другим наполненные сосуды. Вместо того чтобы выбросить их, он выставил стаканчики на палубе, как будто специально хотел унизить бабушку. Я думаю, это любимое детское воспоминание моего брата.

Миниатюрная или просто низкорослая, податливая или властная? Наши расхождения в прилагательных отражают наши обрывочные воспоминания и полузабытые чувства. Я никак не могу разобрать, отчего мне больше нравилась бабушка, а ей — я. Боялся ли я дедушкиного деспотизма (хотя он никогда не поднимал на меня руку) или в проявлениях мужского характера находил его более неотесанным, чем папу? Тянулся ли я к бабушке, как к источнику женского тепла, которого в нашей семье не хватало? Хотя мы с братом общались с ней на протяжении двадцати лет, мы едва способны вспомнить хоть что-нибудь из

сказанного ею. В обоих случаях, что он может привести, она взбесила нашу мать; так что ее слова скорее отложились у нас в памяти благодаря удивительному эффекту, который они возымели, нежели присущему им смыслу. В первый раз дело было зимним вечером, когда мама грелась у камина. Бабушка поделилась советом: «Не сиди близко, ноги изуродуешь». Другой был почти целое поколение спустя. К., дочери моего брата, тогда двух лет от роду, предложили кусок торта, который она приняла, не выразив признательности. «Скажи спасибки, дорогуша», — предложила ее прабабушка, на что «наша мать вышла из себя от употребления такого вульгаризма».

Говорят такие обрывки больше о бабушке, о нашей матери или о моем брате? Свидетельствуют ли они о бабушкиной властности? У меня, как я понимаю, не существует доказательств ее «податливости»; но их, вероятно, не может быть по определению. И сколько я ни искал у себя в памяти, я не смог найти ни одной прямой цитаты из уст женщины, которую, как считаю, я любил в детстве; только одна косвенная. Годы спустя после того, как бабушка умерла, мама привела мне образец ее благоприобретенной мудрости. «Она любила говорить: “На свете не было бы дурных мужчин, не будь дурных женщин”». То, как бабушка поддерживала концепцию первородного греха, было преподнесено мне с изрядной долей презрения.

Расчищая родительский загородный дом, я наткнулся на связку открыток, отосланных с 1930-х по 1980-е. Все они пришли из-за границы: очевидно, внутрибританские почтовые отправления, вне зависимости от увлекательности их содержания, в какой-то момент были отбракованы. Вот отец пишет своей матери в тридцатые («Горячий привет из холодного Брюсселя»; «Австрия зовет!»); отец из Германии моей матери — в ту пору своей девушке? невесте? — во Францию («Интересно, получила ли ты все письма, которые я писал тебе из Англии. Получила?»); отец — своим оставшимся дома сыновьям («Надеюсь, вы ведете себя как следует и слушаете крикет по радио»), объявляя о приобретении марок для меня и спичечных коробков для брата. Затем идут наши с братом открытки, бурлящие подростковым юмором. Я пишу ему из Франции: «Начало каникул отмечено потрясающим взрывом 5 соборов. Завтра по-быстрому сожгу замки Луары». Он — мне из Шампери, куда папа взял его с собой на школьный выезд: «Добрались благополучно и, кроме сэндвичей с ветчиной, все довольны путешествием».

Я не могу датировать самые ранние открытки, поскольку марки были отпарены — вне сомнений, для моей коллекции, — а

вместе с ними и штемпели. Но я отмечаю, как по-разному мой отец подписывался, обращаясь к своей матери: «Леонард», «Как всегда твой Леонард», вплоть до «С любовью, Леонард» и даже «Люблю, целую, Леонард». В открытках к моей матери он «Пип», «Твой Пип», «Как всегда, Пип», «С огромной любовью, Пип» и «Со всей любовью, Пип», взвинчивая градус с затерянного в прошлом периода ухаживания, которое привело к моему появлению на свет. Я прослеживаю, как отец менял свои имена. Он был крещен Альбертом Леонардом, и в семье его звали Леонард. Когда он стал преподавать, взяло верх имя Альберт, и на протяжении сорока лет в учительских отец был известен как «Альби» или «Малыш Альби» — хотя это могло идти от его инициалов А. Л. Б., — а иногда, в шутку, как «Уолли», в честь защитника «Арсенала» Уолли Барнса. Моя мать недолюбливала оба прозвища (так же как и, вне сомнения, «Уолли») и решила называть его Пип. В честь «Больших надежд»? Но едва ли он был Филипом Пиррипом больше, нежели она — Эстеллой. На войне, когда отец служил в Индии в Королевских ВВС, он снова поменял себе имя. У меня есть две принадлежавшие ему перьевые ручки, расписанные вручную тамошним умельцем. Кроваво-красное солнце заходит над минаретом, а также над именем моего отца: «Рикки Барнс, 1944, Аллахабад». Откуда взялся этот Рикки и куда он потом исчез? На следующий год отец вернулся в Англию и снова стал Пипом. В нем действительно было что-то мальчишеское, но с годами это имя подходило все меньше, по мере того как ему исполнялось шестьдесят, семьдесят, восемьдесят…

Он привез из Индии много разных интересных вещей: медный поднос, портсигар с инкрустациями, нож слоновой кости для писем со слоненком на рукоятке и пару раскладных столиков, которые частенько раскладывались до положения лежа. Был в моем детстве предмет, казавшийся равно желанным и экзотическим: круглый кожаный пуф. У кого еще в Эктоне был индийский кожаный пуф? Я любил скакать на нем; позже, когда мы переехали еще дальше за город и я вышел из возраста таких ребяческих забав, я любил обрушивать на него весь свой подростковый вес с агрессивной нежностью. Воздух выходил через швы, и пуф издавал звук, отдаленно напоминавший пуканье. В конечном итоге он не выдержал такого обращения, и я совершил открытие, которое бы сильно порадовало психоаналитиков. Поскольку Рикки Барнс, разумеется, привез из Аллахабада или Мадраса не целый пышный пуф, но разукрашенную кожаную обшивку, которую он — теперь уже снова Пип — с женой должен был чем-то заполнить.

Они заполнили его собственными письмами времен своего романа и первых лет семейного счастья. Мой подростковый идеализм при столкновении с жизненными реалиями легко сворачивал в цинизм; и это был один из таких случаев. Как же они могли взять свои любовные письма (несомненно, перевязанные ленточками), изорвать их на мельчайшие кусочки, а затем спокойно смотреть, как посторонние взгромождаются на них толстыми задами. Под «ними» я, разумеется, имею в виду мать, поскольку такая практичная утилизация соответствует моим представлениям скорее о ней, нежели об отце, которого я для себя наделяю более сентиментальной природой. Как представить себе это решение, эту сцену? Рвали они письма вместе или этим занималась она, пока он был на работе? Они спорили, были единодушны или один из них втайне негодовал? И даже если предположить, что они были единодушны, как они это провернули? Вот вам очередное навязчивое «что бы вы предпочли». Рвать в клочья свои признания в любви или те, что получили от кого-то?

В присутствии других я теперь опускался на пуф мягко и осторожно; когда я был один — тяжело падал на него так, что его выдох мог исторгнуть клочок голубой почтовой бумаги, исписанной рукой одного из моих молодых родителей. Если бы это был роман, я бы раскрыл какую-нибудь семейную тайну — *но никто не знает, что ребенок не твой,* или *теперь они никогда не найдут этот нож,* или *я всегда хотела, чтобы Г. был девочкой,* — и моя жизнь навсегда бы переменилась. (Вообще-то моя мать действительно хотела, чтобы я родился девочкой, для которой было припасено имя Джозефин, так что это не было бы тайной.) Или — напротив — я мог бы обнаружить там только лучшие слова, какие мои родители сумели найти друг для друга, их нежнейшие выражения искренней любви. И никакой тайны.

На ладан дышавший пуф в какой-то момент был выдворен из дома. Вместо помойки его отправили в дальний конец сада, где от постоянных дождей он насквозь промок, отяжелел и практически выцвел. Проходя мимо, я порой пинал его ногой, вышибая из этой дуры еще несколько голубоватых клочков; чернила давно уже потекли, и вероятность вычитать там хоть какую-нибудь тайну была еще меньше. Я пинал пуф, как это может делать только разочаровавшийся романтик. Так вот чем оно все заканчивается?

Тридцать пять лет спустя последнее, что осталось от жизни родителей, на моих глазах уходило в неизвестность. Мы с братом хотели взять себе по несколько вещей; мои племянницы что-то

выбрали для себя; затем пришел оценщик. Этот приятный, толковый малый, разбирая вещи, разговаривал с ними. Я думаю, такая привычка появилась от желания мягко подготовить клиента к неприятному расставанию, но превратилась в своего рода беседу с неодушевленным предметом, который он держал в руках. Он также понимал, что эти вещи, за которые скоро будут равнодушно торговаться у него в лавке и которые навсегда покидают свой дом, когда-то выбирали из тысяч других, с ними жили, с них стирали пыль, их полировали, чинили, любили. Поэтому он, как мог, находил для них теплые слова: «Вот милая вещица — не ценная, но милая»; или: «Викторианское стекло с узорами теперь встречается все реже — ценности никакой, но встречается реже». Безукоризненно вежливый с потерявшими хозяев вещами, он избегал критики или недовольства, предпочитая им сожаление либо надежду на далекую перспективу. Про бокалы «Мельба» 1920-х (ужасные, на мой вкус): «Десять лет назад они были в моде; сейчас их никто не хочет покупать». Про элементарный ящик для цветов в зеленую и белую шашечку: «До спроса на него придется подождать лет сорок».

Он забрал то, что можно было продать, и удалился, отслюнив несколько пятидесятифунтовых бумажек. После этого нам пришлось несколько раз загружать заднее сиденье машины и отправляться в местный центр утилизации бытовых отходов. Как настоящий сын своей матери, я купил для этого несколько огромных зеленых пакетов. Я донес первый из них до края большого желтого контейнера и понял — кровь от крови своей матери, — что пакеты слишком полезная штука, чтобы их выбрасывать. И таким образом последние останки, напоминавшие о существовании моих родителей, лишились упаковочной конфиденциальности, и то, от чего отказался оценщик, полетело прямо в контейнер, а я сохранил пакеты. (Ведь мама хотела бы этого?) Одним из последних туда полетел дурацкий металлический колокольчик, который папа купил в Шампери, в поездке, из которой мой брат писал мне про разочарование от сэндвичей с ветчиной; падая, он глухо зазвенел. Я оглядел то, что было у меня под ногами, и хотя я не совершил ничего незаконного или даже бестактного, я почувствовал себя немного скупердяем, как будто вместо приличного гроба похоронил своих родителей в картонной коробке.

Это, кстати, не моя «автобиография». И я не нахожусь «в поиске своих родителей». Я знаю, что когда ты чей-то ребенок, это подразумевает и ощущение мучительной близости, и огромные запретные зоны неведения — по крайней мере, если

судить по моей семье. И хотя я не отказался бы от расшифровки содержания того пуфа, не думаю, что мои родители хранили какие-то экзотические тайны. По большей части я пытаюсь — что может показаться совсем необязательным — определить, насколько мертвы мои родители. Отец умер в 1992 году, мать — в 1997-м. Генетически они продолжают жить в двух сыновьях, двух внучках и двух правнучках: в практически непристойной демографической упорядоченности. Их история живет в нашей памяти, которой одни доверяют больше других. Мой брат впервые высказал свои подозрения относительно этой функции мозга, когда я спросил его, что мы обычно ели дома. Подтвердив овсянку, бекон и тому подобное, он продолжил:

> По крайней мере, так дела обстоят в моей памяти.
>
> Но ты, несомненно, помнишь все по-другому, и в качестве путеводителя по прошлому я память и в грош не ставлю. Я познакомился со своим коллегой и приятелем Жаком Бруншвигом в семьдесят седьмом на конференции в Шантильи. Я пропустил свою остановку и сошел с поезда в Кретее, оттуда взял такси (страшно дорогое) и приехал с опозданием на конференцию, где меня встретил Жак. Все это в моей памяти ясно как божий день.
>
> В интервью, опубликованном в его фестшрифте[11], Жак рассказывает про некоторых своих друзей. Он описывает нашу первую встречу в семьдесят седьмом в Шантильи: он встречал меня на вокзале и узнал сразу, как только я сошел с поезда. Все это в его памяти ясно как божий день.

Логичный вывод — ну что с них, философов, возьмешь: когда слишком занят абстрактными теориями, мудрено заметить, на какой ты станции, не говоря уж о том, что вообще происходит в конкретном мире, где проживают остальные. Французский писатель Жюль Ренар однажды предположил, что, «возможно, люди, наделенные очень хорошей памятью, не способны воспринимать общие идеи». Тогда моему брату, вероятно, досталась ненадежная память и общие идеи, а мне — безотказная память и идеи частного характера. Меня еще выручает неглубокий ящичек с семейными документами. Вот, к примеру, результаты моих школьных экзаменов, которые я сдавал в пятнадцать лет. Память никогда бы мне не подсказала, что лучшие отметки я получил по математике, а худшие, к своему стыду, по английскому: 77 из 100 за грамматические задания и 25 из 50 за сочинение. Свои вторые с конца оценки я получил, что

неудивительно, по естествознанию. В той части экзамена, что касалась биологии, требовалось, в частности, нарисовать помидор в разрезе и объяснить процесс оплодотворения с тычинками и пестиками. В домашнем воспитании мы остановились примерно там же: родительское *pudeur*[12] преумножало молчание школьной программы. В результате я вырос без достаточных знаний о том, как функционирует тело; в моем понимании вопросов пола виделись явные перекосы, свойственные лишенному сестер самоучке из школы для мальчиков; и хотя благодаря своей голове я добивался относительных успехов в школьной и университетской учебе, я совершенно не представлял себе, как этот орган работает. Я дожил до взрослых лет в бездумной уверенности, что для жизни понимание человеческой биологии не важнее, чем понимание устройства автомобиля для его вождения. Если что-то пойдет не так, всегда же есть больницы и станции техобслуживания.

Я помню, как удивился, узнав, что клетки тела у меня не на всю жизнь, а будут заменяться через временные интервалы (но ведь и машину можно заново собрать из запасных частей, не так ли?). Я не знал точно, как часто происходят такие замены, но клеточное обновление главным образом давало добро на шутки вроде: «Она была уже не той женщиной, что я любил когда-то». Я, в общем, и не воспринимал это как повод для паники: в конце концов, мои родители и их родители наверняка уже раз или два подвергались подобной напасти и, похоже, вышли целыми-невредимыми; да они без каких-либо изменений остались самими собой. Насколько помню, я считал, что мозг тоже часть тела и к нему должны применяться те же принципы. Я бы запаниковал сильнее, если бы обнаружил, что основная молекулярная структура мозга, вместо того чтобы продуманно обновляться по мере надобности, на самом деле поразительно нестабильна; что *жиры и белки распадаются, практически как только синтезируются*; что молекулы вокруг синапса обновляются каждый час, а некоторые молекулы — каждую минуту. Что на самом деле мозг, который у вас был в прошлом году, поменялся уже несколько раз.

В детстве память — по крайней мере, насколько я помню — работает почти безотказно. Не только потому, что между событием и обращением к нему проходит меньше времени, но благодаря самой природе воспоминаний: молодому мозгу они представляются точными копиями, а не обработанными, раскрашенными версиями произошедшего. Со зрелостью приходят приблизительность, изменчивость и сомнения; и, пересказывая знакомую историю, мы загоняем сомнение в угол

выверенными паузами, выдавая взвешенность рассказа за подтверждение его верности. Но ребенок или подросток, наслаждаясь яркими образами своего прошлого, редко сомневается в их подлинности и точности. В этом возрасте, логичным образом, кажется, что наши воспоминания дожидаются нас в вокзальной камере хранения и при предъявлении жетона будут выданы по первому требованию; или же (если предыдущее сравнение представляется устаревшим, как паровозы и купе для дам), что они подобны вещам, оставленным в придорожных боксах. Мы знаем, что в старости столкнемся с неким парадоксом, когда начнем вспоминать забытые эпизоды ранних лет жизни, которые будут проявляться в памяти более четко, чем то, что случилось с нами позднее. Но это, похоже, только подтверждает, что все хранится у нас где-то там в мозгу, независимо от того, можем ли мы это оттуда достать.

Мой брат не помнит, как больше полувека назад они с Дионом Шрайером пришли вторыми в гонке на тележках, и, следовательно, не может утверждать, кто из них сидел в тележке, а кто ее толкал. Не помнит он и неприемлемые сэндвичи с ветчиной в швейцарской поездке. Вместо этого он помнит события, не упомянутые в открытке: что там он впервые увидел артишок и впервые «получил сексуальное предложение от парня». Он также признается, что с годами перенес все происходившее во Францию: перепутав, вероятно, менее известное Шампери в Швейцарии (откуда колокольчик) с более знакомым Шамбери во Франции (откуда аперитив). Мы говорим о том, что помним, но следует, возможно, больше говорить о том, что мы забыли, хотя эта задача представляется более сложной — или, рассуждая логически, невозможной.

Наверное, мне стоит предупредить вас (в особенности если вы философ, теолог или биолог), что некоторые части этой книги покажутся вам самодеятельностью и поразят своим дилетантизмом. Но мы же все дилетанты, любители в том, что касается наших жизней. Сталкиваясь с чужим профессионализмом, мы надеемся, что кривая нашего относительного понимания идет приблизительно по той же траектории, что и кривая их знания; но мы не можем на это полагаться. Мне также следует предупредить вас, что в этой книге будет полно писателей. Большинство уже покойники, многие — французы. Один из них — Жюль Ренар, сказавший: «Именно перед лицом смерти мы особенно часто обращаемся к книгам». Будут здесь и композиторы. Один из них — Стравинский, сказавший: «Музыка — лучший из известных нам способов переваривать время». Эти творцы — эти почившие творцы — мои

ежедневные собеседники, но также и мои предки. Я на самом деле их наследник (могу предположить, что мой брат подобным же образом относится к Платону и Аристотелю). Возможно, непрямой или незаконный — внебрачное дитя и все такое, — но я тем не менее претендую на родство.

Мой брат забыл про сэндвич с ветчиной, помнит артишоки и сексуальное предложение, подавил в своей памяти Швейцарию. Чувствуете, как вырисовывается теория? Возможно, отталкивающая колючесть артишока оказалась в связке с воспоминанием о сексуальном предложении. В таком случае это сочленение могло впоследствии отвратить его от артишоков (да и от Швейцарии). Только вот мой брат ест артишоки и несколько лет проработал в Женеве. Ага! Тогда, значит, ему понравилось предложение? Праздные любопытные вопросы получили быстрый ответ по мейлу. «Насколько помню, я не нашел предложение ни приятным, ни отвратительным — а только дико странным. После этого всякий раз, проезжая в метро, я делал вид, что занят домашней работой по геометрии». Мой брат в этой истории выглядит более практичным оптимистом, нежели я, когда однажды утром в переполненном вагоне какой-то нахал в костюме засунул свое бедро мне между ног, как будто больше его деть было некуда. Или когда Эдвардс (звали его иначе), мальчик постарше с прыщавым лицом, попытался скорее напасть, чем соблазнить меня в купе Южной Областной по пути домой с матча по регби. Я нашел это неприемлемым и если не отвратительным, то точно тревожным и навсегда запомнил те самые слова, которыми я осадил его пыл. «Умерь свою сексуальность, Эдвардс», — сказал я (хотя это был не Эдвардс). Мои слова сработали, но я помню их не столько благодаря их эффективности, сколько потому, что, несмотря на это, они представлялись мне не совсем точными. То, что он сделал, — быстро провел пальцем по моей ширинке — и отдаленно не напоминало то, что я считал сексуальным (для начала тут нужна женская грудь), и я понимал, что мое возражение предполагало то, чего на самом деле не было.

Студентом Оксфорда я впервые прочел Монтеня. С него начинаются современные размышления о смерти; он связующее звено между образцами античной мудрости и нашими попытками сообразно эпохе, по-взрослому, не пользуясь услугами религии, научиться принимать неизбежность нашего конца. *Philosopher, c'est apprendre à mourir.* «Философствовать — это значит учиться умирать»[13]. Монтень цитирует Цицерона («…философствовать — это… приуготовлять себя к смерти»), который в свою очередь

приводит слова Сократа. В знаменитых просвещенных размышлениях Монтеня о смерти присутствуют стоицизм, высокая книжность, случаи из жизни великих, афоризмы и утешение (таково, по крайней мере, намерение автора); в них есть и ощущение безотлагательности. Как отмечала моя мать, раньше люди и вполовину не жили так долго. Сорок лет — уже очень хорошо, учитывая эпидемии и войны, во времена, когда врач мог скорее свести в гроб, чем вылечить. Умереть от «истощения сил вследствие глубокой старости» — это был во времена Монтеня «род смерти наиболее редкий и наименее обычный из всех». Сегодня мы полагаем это своим правом.

Филип Арьес заметил, что как только смерти стали действительно бояться, о ней перестали говорить. Увеличение длительности жизни только осложнило дело. Поскольку вопрос этот теперь не кажется настолько срочным, поднимать его стало убийственно дурным тоном. То, как усердно мы откладываем мысли о смерти, напоминает мне давнишнюю рекламу страховой компании «Перл», которую мы с братом любили друг другу цитировать. Пенсии, как вставные челюсти или удаление мозолей на ногах, были настолько далеки от нас, что представлялись по большей части чем-то комическим. Это в некотором роде подтверждалось и примитивистскими, в несколько линий рисунками, на которых лицо у мужчины приобретало все большую озабоченность. В двадцать пять оно еще радостно-благодушно: «Мне сообщили, что моя работа не покрывается пенсионным планом». К тридцати пяти появляются небольшие сомнения: «К сожалению, при моей работе пенсию не платят». И так далее — со словом «пенсия», выделенным на не сулящем добра сером прямоугольнике, — вплоть до шестидесяти пяти: «Ума не приложу, что мне делать без пенсии». Да, как сказал бы Монтень, и вправду надо было пораньше начинать думать о смерти.

В его эпоху этот вопрос все время стоял перед глазами — если только не пользоваться уловкой плебеев, которые, согласно Монтеню, притворялись, будто никакого вопроса и нет. Но философы и просто люди с пытливым умом искали в истории и у древних, как можно лучше умереть. Сегодня наши притязания ничтожней. «Смелость, — писал Ларкин в своем великом стихотворении о смерти “Рассветная песня”, — в том, чтоб не пугать других». Нет, тогда было по-другому. Дело было в гораздо большем: показать другим, как умереть достойно, мудро и не изменив себе.

В этом смысле один из ключевых для Монтеня моментов — история Помпония Аттика, состоявшего в переписке с Цицероном.

Когда Аттик слег с тяжелой болезнью, а усилия врачей по продлению его существования всего лишь продлевали боль и страдания, он решил, что лучшим решением будет уморить себя голодом. В то время вовсе не обязательно было обращаться в суд, приводя в качестве аргумента смертельное ухудшение вашего «качества жизни»: Аттик, как свободный гражданин Древнего Рима, попросту поставил друзей и родных в известность относительно своего намерения, после чего отказывался от еды и ждал конца. Чудесным образом голодание оказалось лучшим лекарством от (неназванной) болезни. Все вокруг ликовали и пировали; возможно, даже врачи отказались от оплаты своих услуг. Но Аттик прервал это веселье. Поскольку всем нам суждено умереть, объявил он, и поскольку я уже проделал славный путь в этом направлении, я не желаю идти назад, только чтобы в следующий раз начинать заново. И так, к восхищенному ужасу окружающих, Аттик продолжил воздерживаться от пищи и достойно принял смерть.

Монтень полагал, что раз нам не победить смерть, лучший способ контрнаступления — это ни на секунду не забывать о ней: думать о смерти всякий раз, когда под вами споткнется конь или с крыши упадет черепица. Вкус смерти должен постоянно оставаться у вас во рту, а имя ее отскакивать от зубов. Такое предвкушение смерти освобождает вас от ее рабства: более того, научив человека умирать, вы учите его жить. Такое постоянное осознание смерти не превращает Монтеня в меланхолика, скорее — в фантазера и мечтателя. Он надеется, что смерть, его вечный спутник и добрый знакомый, постучавшись к нему в дверь, застанет его за привычными делами — скажем, когда он будет сажать капусту.

Монтень приводит поучительную историю, как к одному римскому цезарю обратился старый и дряхлый солдат. Воин когда-то служил под его началом и теперь просил разрешения прервать жизнь, которая ему уже опостылела. Цезарь оглядел его с ног до головы и спросил с грубоватым юмором, который, похоже, свойствен военачальникам: «Так ты, оказывается, мнишь себя живым?» Для Монтеня проходящая незаметно смерть юности зачастую страшнее самой смерти; то, что мы обычно называем смертью, есть не более чем смерть старости (около сорока в его время, семьдесят и больше — в наше). «Ведь прыжок от бытия-прозябания к небытию менее тягостен, чем от бытия-радости и процветания к бытию — скорби и муке».

Однако Монтень лаконичный автор, и если этот довод представляется неубедительным, у него есть много других. Например: если вы жили в достатке и познали все радости жизни,

вы счастливо с ней распрощаетесь; а если жизнь была неуспешной и несчастной, вы не будете сожалеть о расставании с ней. (Предположение, которое, как мне кажется, легко вывернуть наизнанку: принадлежащие к первой категории могут желать бесконечного продления своих счастливых жизней, а люди из второй могут надеяться, что удача переменится.) Или: если вы по-настоящему прожили один день, насладившись им сполна, вы все на своем веку уже повидали. (Да нет же!) Ну хорошо, если вы так прожили целый год, вы уже все повидали. (По-прежнему — нет.) В любом случае надо освободить место на земле для других, так же как другие освободили его для вас. (Да, но я их об этом не просил.) И зачем роптать, что тебя не станет, если так происходит со всеми? Подумай, сколько еще людей умрет в один день с тобой. (Это так, и их это раздосадует не меньше, чем меня.) А затем, наконец, чего конкретно ты просишь, проклиная смерть? Неужели бессмертия на земле, при нынешнем положении и условиях? (Я понимаю, о чем идет речь, но как насчет малой толики бессмертия? Половинки? Хорошо, сойдемся на четверти.)

Мой брат отмечает, что первая шутка про клеточное обновление датируется V в. до н. э. и в ней «один парень отказывался возвращать долг на основании, что он уже не тот, кому были одолжены деньги». Далее он указывает, что я неправильно понял кредо Монтеня «Philosopher, c'est apprendre à mourir». Цицерон имел в виду не то, что регулярные размышления о смерти умаляют ваш страх, а что философствующий философ готовится к смерти — в том смысле, что живет жизнью ума и не обращает внимания на тело, которое будет стерто смертью с лица земли. Платоники полагали, что после смерти мы становимся чистыми душами, освобожденными от телесных преград и потому способными думать легче и яснее. Поэтому на протяжении жизни философ должен готовить себя к своему посмертному состоянию такими техниками, как пост и самобичевание. Платоники верили, что после смерти все только начинается. Эпикурейцы, напротив, верили, что после смерти не будет ничего. Цицерон, по всей видимости (здесь я употребляю «по всей видимости» в значении «а еще мне брат рассказал»), объединил эти две традиции в радостное античное или/или: «После смерти будет лучше или ничего не будет».

Я спрашиваю, что должно, по идее, произойти в загробном мире платоников с огромным количеством не-философов. Очевидно, все наделенные душой создания, включая животных и птиц — и, возможно, даже растения, — будут оцениваться по тому, как они вели себя в только что прошедшей жизни. Те, кто

не дотянул до проходного балла, отправляются еще один раз в материальный мир, возможно получая видовое (становясь, скажем, лисой или гусем) или просто внутривидовое повышение или понижение (женщину, например, могут произвести в мужчину). Философы, как объясняет мне брат, не освобождаются от физической оболочки автоматически: для этого еще надо быть хорошим парнем. Но уж если они проходят экзамен, их стартовые позиции гораздо лучше, чем у полчищ не-философов, не говоря уж о кувшинках и одуванчиках. У тех, разумеется, тоже дела пойдут получше, поскольку они приблизятся к конечному идеальному состоянию. «Да, — продолжает он. — Тебе, возможно, захочется задать мне кое-какие вопросы (например, к чему получать лучшие стартовые позиции в гонке, которая длится вечно?). Но думать об этом — только зря время терять, потому что все это (в философской терминологии) хрень собачья».

Я прошу его объяснить поподробнее, отчего он вынес предложению «Я не верю в Бога, но мне Его не хватает» вердикт «жеманство». Он признается, что не понимает, как истолковать мое заявление: «Наверное, как способ сказать “Я не верю в богов, но мне жаль, что их нет (или, возможно: но мне жаль, что я не верю)”. Я понимаю, почему люди говорят подобное (попробуй вместо “богов” подставить “дронтов” или “снежных людей”), но меня лично вполне устраивает настоящее положение вещей». Видно же, что он преподает философию, да? Я задаю ему вопрос про конкретную ситуацию, он логически препарирует утверждение и, подставляя взамен другие существительные, демонстрирует его абсурдность, или несостоятельность, или жеманство. Однако его ответ представляется мне настолько же странным, насколько ему — мой вопрос. Я ведь спрашивал его, что он думает про отсутствие не дронтов или снежных людей (или даже богов, во множественном числе, со строчной), но Бога.

Я проверяю наличие у него за всю жизнь каких-либо религиозных чувств или устремлений. НЕТ и НЕТ, отвечает он, «если не считать восхищения от “Мессии”[14] и “Священных сонетов” Донна». Я интересуюсь, передалась ли такая уверенность двум его дочерям, которым сейчас за тридцать. Какие-либо религиозные переживания/вера/тяга к сверхъестественному, спрашиваю я. «Нет, никогда, вообще никак, — отвечает младшая. — Если только не считать тягой к сверхъестественному привычку не ступать на стык плит, когда идешь по тротуару». Мы соглашаемся не считать. Ее сестра признается в «кратковременном стремлении уверовать, когда мне было примерно одиннадцать». Но «это потому, что верили мои друзья, потому, что я хотела молиться о подарках и получать их, и из-за

давления со стороны вожатых, которые уговаривали обратиться в христианство. Мои молитвы остались без ответа, и все закончилось достаточно быстро. Теперь я, наверное, агностик или даже атеист».

Я рад, что она поддержала семейную традицию отказываться от религии по пустяковому поводу. Для моего брата это было подозрение, что Георг VI не отправился на небеса; для меня — нежелание отвлекаться от рукоблудства; для моей племянницы — то, что она своевременно не получила упомянутое в молитве. Однако я допускаю, что такая нелогичная легкомысленность в порядке вещей. Вот, например, что говорит биолог Льюис Вольперт: «Я был крайне религиозным ребенком, каждый вечер молился и неоднократно просил Божьей помощи. Толку от этого было мало, я перестал молиться лет в шестнадцать и с тех пор атеист». И никто из нас не удосужился задуматься, что, возможно, Бог, если Он существует, в основном занимается не консультацией подростков, доставкой товаров или наказанием онанистов. Нет же, покончим с Ним раз и навсегда.

В опросах об отношении к религии часто встречается приблизительно такой ответ: «Я не хожу в церковь, но у меня свое личное представление о Боге». Заявления подобного рода вызывают уже у меня реакцию философа. Какое же это жеманство! У вас может быть свое личное представление о Боге, но есть ли у Бога Его личное представление о вас? Потому что дело-то как раз в этом. Кем бы Он ни был: белобородым стариком на облаке или жизненной силой, беспристрастной первопричиной, наладчиком часов, женщиной, нравственным законом в небе или Вообще Ничем, главное, что Он, Она, Оно или Ничто думает о вас, а не то, что думаете вы. Идея превратить Бога во что-то подходящее для вас попросту смехотворна. И даже неважно, справедлив Бог, милостив или исключительно наблюдателен — о чем у нас поразительно мало данных, — важно только, существует ли Он.

В детстве я знал только одного белобородого старика, это был мой прадедушка, отец отца моей матери: Альфред Сколток, йоркширец и (естественно) школьный учитель. Есть фотография, на которой мы с братом стоим по бокам от него в каком-то неопознаваемом садике. Брату, наверное, семь-восемь, мне — четыре-пять, а прадедушка стар как мир. Борода у него не такая длинная и вьющаяся, как обычно у Бога на рисунках, а короткостриженая и колючая. (Не могу утверждать, терся ли он когда-нибудь ею о мою детскую щеку, или это просто воспоминание о моем опасении.) Мы с братом нарядные и с улыбками на лицах — я улыбаюсь больше, — в рубашонках с

короткими рукавами, тщательно выглаженных матерью; на моих шортах еще остались приличные складки, хотя его — на удивление мятые. Прадедушка не улыбается и, на мой взгляд, немного огорчен, как будто понимает, что его снимают на память, в которую он очень скоро удалится. Один приятель, посмотрев на фотографию, назвал его моим китайским предком, и в нем действительно было что-то от Конфуция.

Не имею представления, насколько он был мудр. По словам моей матери, которая выделяла всех мужчин в своей семье, он был высокообразованным самоучкой. Традиционно на эту тему приводились два примера: как он самостоятельно научился играть в шахматы и достиг высокого уровня и как, когда моя мать, преподававшая современные языки в Бирмингемском университете, поехала по обмену в Нанси, прадедушка выучил французский по учебнику, чтобы, когда они вернутся, он мог общаться с маминой заграничной подругой.

Мой брат виделся с ним несколько раз, но у него менее лестные воспоминания, что, возможно, объясняет, почему на фотографии он улыбается более сдержанно. Семейный Конфуций «отвратительно вонял» и проживал со «своей дочерью (тетя Эди), которая была не замужем, немного больная на голову и вся в экземе». Мой брат не помнит ни шахмат, ни французского. Только способность решать кроссворды в «Дейли мейл», не заполняя ни одной клетки. «После обеда он дремал, периодически бормоча “арбалет” или “ятаган”».

«Я не знаю, существует ли Бог, но для Его репутации лучше бы Его не было». «Бог не верит в нашего Бога». «Да, Бог есть, но Он знает об этом не больше нашего». Это разные предположения Жюля Ренара, одного из моих покойных французских некровных родственников. Он родился в 1864-м, детство провел в Ньевре, в деревенской глухомани северной Бургундии. Его отец Франсуа из простого строителя стал мэром их деревни Шитри-ле-Мин. Он мало разговаривал, ненавидел церковников и был неукоснительно честен. Мать Жюля — Анна-Роза была женщиной болтливой, лицемерной и лживой. Смерть их первого ребенка так ожесточила Франсуа, что он едва уделял время следующим трем: Амели, Морису и Жюлю. После рождения самого маленького Франсуа перестал разговаривать с Анной-Розой и больше не обращался к ней все оставшиеся тридцать лет своей жизни. В этой молчаливой войне Жюля — чьи симпатии были на стороне отца — часто использовали как посредника и переговорщика: незавидная роль для ребенка, хотя и полезная для будущего писателя.

По большей части эта история воспитания перекочевала в самую известную книгу Ренара «Рыжик». В Шитри многие были не в восторге от такого «романа с ключом»: Жюль, рыжеволосый деревенский паренек, отправился в Париж, обтесался там и написал повесть о рыжеволосом деревенском пареньке, в которой отрекался от собственной матери. Что важнее, Ренар отрекался и способствовал уничтожению целого сентиментального образа детства в духе Гюго. Обыденная несправедливость и инстинктивная жестокость здесь в порядке вещей; минуты пасторального умиления — исключение. Обращая взгляд в прошлое, Ренар ни разу не балует свое детское альтер эго жалостью к самому себе — чувство (обычно возникающее в юности, но способное длиться вечно), которое лишает подлинности многие литературные воспоминания о детстве. Для Ренара ребенок «маленькое ненужное животное, менее человечное, чем кошка». Это наблюдение из его главного произведения, «Дневника», который Ренар вел с 1887 года до своей смерти в 1910-м.

Несмотря на парижскую славу, корни его были в Ньевре. В Шитри и в соседней деревне Шомо, где он жил уже взрослым, Ренар знал крестьян, живших также, как и столетия назад: «Крестьянин — единственный подвид человека, которому не нравится природа и который никогда не любуется ею». Там он изучал птиц, животных, насекомых, растения, деревья и стал свидетелем появления поезда и автомобиля, которым суждено было полностью поменять жизнь деревни. В 1904-м его также избрали мэром Шитри. Ему нравились его административные обязанности — вручать школьные награды, сочетать браком. «После моей речи женщины плакали. Невеста подставила мне щеку для поцелуя и даже губы; это стоило мне 20 франков». Политически он был социалистом, дрейфусианцем, антиклерикалом. Он писал: «Как мэр я отвечаю за ремонт сельских дорог, как поэт я хотел бы видеть их в запустении».

В Париже он общался с Роденом и Сарой Бернар, Эдмоном Ростаном и Андре Жидом. И Боннар, и Тулуз-Лотрек были иллюстраторами его «Естественных историй», а Равель положил некоторые из них на музыку. Однажды он был секундантом на дуэли, в которой секундантом с противоположной стороны выступал Гоген. Но и в такой компании он мог оставаться мрачным, грубым и безжалостным. Однажды он заявил Доде, который был с ним любезен: «Не знаю, *mon cher maître*[15], люблю я вас или ненавижу». — *«Odi et amo»*[16], — невозмутимо ответил тот. Один эстет назвал его «мужицкой криптограммой» — вроде секретного знака из тех, что бродяги оставляли мелом на домах,

понятного только таким же бродягам.

Ренар пришел к написанию прозы в эпоху, когда роман казался делом завершенным, когда великие описательные и аналитические проекты Флобера, Мопассана, Гонкура и Золя уже исчерпали мир и ничего не оставили сочинительству. Единственный путь вперед, решил Ренар, лежал в компрессии, примечаниях, разъятии картины на части. Сартр в своих возвышенных и довольно завистливых комплиментах «Дневнику» восхищался выбором, перед которым стоял Ренар, больше, чем его решением: «С него берут начало многие современные попытки понять сущность отдельной вещи» и «Если с него начинается современная литература, то потому, что у него было смутное представление о территории, на которую он запретил себе вступать». Жид, чей собственный «Дневник» на протяжении многих лет пересекался с Ренаровым, жаловался (возможно, из духа соперничества), что у последнего «не река, а перегонный завод»; хотя впоследствии признавал, что читал его с восторгом.

Вам перегонный завод или реку? Жизнь, выраженную в нескольких каплях крепкого или в литре нормандского сидра? Это выбор читателя. Писатель мало властвует над своим характером и никак над историческим моментом, и он только частично распоряжается своей эстетикой. Перегонка, дистилляция была и ответом Ренара на литературу, которая существовала до него, и выражением его природной сдержанности. В 1898-м он писал: «Почти про все произведения литературы можно сказать, что они слишком длинны». Это замечание появляется на четырехсотой странице тысячестраничного «Дневника», произведения, которое было бы в полтора раза длиннее, если бы вдова Ренара не сожгла страницы, нежелательные, по ее мнению, для глаз посторонних.

В «Дневнике» Ренар напряженно и тщательно следит за миром природы, описывая его без сентиментального восхищения. Он так же тщательно следит за миром людей, описывая его с ироничным скептицизмом. Однако он понимал, в отличие от многих, природу и назначение иронии. 26 декабря 1899-го, перед самым началом века, которому она пригодится больше всего, Ренар писал: «Ирония не сушит траву. Она только выжигает сорняки».

Друг Ренара Тристан Бернар, драматург и остряк, однажды поймал катафалк вместо такси. Когда карета остановилась, он беззаботно поинтересовался: «Свободно?» Ренара смерть окликала несколько раз, перед тем как он встретился с ней в сорок шесть лет. Вот примеры того, как он особенно внимательно

прислушивался к ней.

1) В мае 1897-го его брат Морис под предлогом необходимости почистить оружие убирает отцовский револьвер с прикроватного столика. Следует семейная ссора. Франсуа Ренару не по душе ни действия сына, ни его оправдания: «Он лжет. Он боится, что я убью себя. Но если бы я хотел это сделать, я бы выбрал другой инструмент. От револьвера я бы, наверное, просто остался калекой». Жена Жюля поражена. «Перестаньте так говорить», — протестует она. Но мэр Шитри непоколебим: «Нет, я бы дурака не валял. Я бы взял свое ружье». Жюль язвительно предлагает: «У тебя гораздо лучше получилось бы с клизмой».

Франсуа Ренар, однако, знает или считает, что он безнадежно болен. Четыре недели спустя он запирается в спальне, берет ружье и при помощи трости нажимает спусковой крючок. Ему удается выстрелить из обоих стволов, чтобы наверняка. Посылают за Жюлем, он выламывает дверь; повсюду дым и запах пороха. Сперва он думает, что отец пошутил; затем ему приходится поверить в съехавшее на пол тело, незрячие глаза и «над поясом… темное пятно, похожее на небольшое пепелище». Он берет отца за руку, рука до сих пор теплая, мягкая.

Франсуа Ренар, антиклерикал и самоубийца, первый, кого хоронят на кладбище Шитри без церковной службы. Жюль полагает, что его отец умер героически, проявив древнеримские доблести. Он пишет: «В целом эта смерть прибавила мне гордости». Через шесть недель после похорон он приходит к выводу: «От смерти отца у меня чувство, как будто я написал прекрасный роман».

2) В январе 1900-го Морис Ренар, вроде бы здоровый тридцатисемилетний чиновник Дорожного управления, падает без сил в своем парижском бюро. Он всегда жаловался на паровое отопление в здании. Одна из главных труб идет прямо над его рабочим столом, и температура часто доходит до двадцати градусов. «Они меня убьют своим центральным отоплением», — предсказывает парень из деревни; но ангина оказалась более действенной угрозой. В конце рабочего дня, уже собираясь домой, он теряет сознание за своей конторкой. Его переносят со стула на кушетку, дыхание затруднено; не проронив ни слова, через несколько минут он мертв.

Снова посылают за Жюлем, находящимся в это время в Париже. Когда он входит, брат лежит поперек кушетки, согнув колено; изможденная поза напоминает Жюлю смерть отца. Писатель не может не заметить импровизированную подушку, на которой лежит голова его мертвого брата: телефонный справочник Парижа. Жюль садится и плачет. Жена обнимает его,

и он чувствует в ней страх, что следующим будет он. Взгляд цепляется за рекламу, напечатанную черным по краю телефонного справочника; издалека он пытается прочесть ее.

Жюль с женой проводят эту ночь у тела покойного. Неоднократно Жюль поднимает платок, прикрывающий лицо брата, и смотрит на его полуоткрытый рот, в ожидании, что тот снова начнет дышать. С течением времени нос приобретает более мясистый вид, а вот уши становятся твердыми, как морские раковины. Морис теперь довольно холодный и одеревенелый. «Его жизнь перешла в мебель, и при малейшем скрипе мы вздрагиваем».

Три дня спустя Мориса хоронят в Шитри. Священник ждет, когда его позовут, но от его услуг отказываются. Жюль идет за катафалком, наблюдает трясущиеся венки, думает, что лошадь выглядит, как если бы этим утром ее специально выкрасили черной грязью. Когда гроб опускают в семейную яму, он замечает жирного червяка, который будто торжествует на краю могилы. «Если червяки могут ходить гоголем, то именно это он и делал».

Жюль приходит к выводу: «Я чувствую только злость на смерть и ее идиотские фокусы».

3) В августе 1909-го маленький мальчик, свесив ноги с телеги посреди Шитри, видит, как женщина, сидящая на каменном краю деревенского колодца, вдруг падает навзничь. Это мать Ренара, которая в последние годы теряла рассудок. В третий раз посылают за Жюлем. Он прибегает, бросает шляпу и трость, заглядывает в колодец: на поверхности воды он видит несколько юбок и «легкое завихрение, знакомое тем, кто топил животных». Он пытается спуститься в ведре; шагнув в него, замечает, что раструбы его анекдотично высоких сапог выгибаются, как рыба в садке. Тут кто-то приносит лестницу; Жюль вылезает из ведра, спускается по перекладинам, ему удается только промочить ноги. Двое ловких крестьян спускаются в колодец и достают тело; на нем ни царапины.

Ренар не может разобрать, был это несчастный случай или еще одно самоубийство; он называет смерть своей матери «непостижимой». Он заявляет: «Возможно, тот факт, что Бог недоступен пониманию, — сильнейший аргумент в пользу Его существования». Он приходит к выводу: «Смерть — не художник».

В Бретани, когда я жил среди священников, я открыл для себя великого бельгийского автора-исполнителя Жака Бреля. В молодости за свою склонность поучать он был известен как «Аббат Брель»; в 1958-м он записал «Dites, si c'était vrai» («А что, если все так и есть?»). Это скорее не песня, а молитвенный стих,

проинтонированный дрожащим голосом на фоне гулкого органа. Брель просит представить себе, что произойдет, «если это было на самом деле». Если Иисус действительно родился в вифлеемском хлеву… Если то, что написали евангелисты, было правдой… Если действительно произошла эта *coup de théâtre*[17] на свадьбе в Кане Галилейской… или другая развязка, эта история с Лазарем… Если все это было на самом деле, приходит к выводу Брель, тогда мы скажем «да», потому что как же прекрасно верить, что все это правда.

Сегодня я считаю это одной из худших записей Бреля; и в зрелые годы певец из молодого богоискателя превратился в ерничающего атеиста. Но эта ранняя песня, болезненно искренняя, действительно по делу. Если бы это было правдой, это было бы прекрасно; а поскольку это прекрасно, это было бы еще истинней; чем истинней, тем прекрасней и так далее. ДА, НО ЭТО ЖЕ НЕПРАВДА, ДУБИНА, слышу я замечание своего брата. Подобное пустобрехство даже хуже гипотетических желаний, приписываемых мертвой матери.

Сомнений нет. Однако христианская религия продержалась так долго не только потому, что все в нее верили; потому, что она насаждалась властями и священнослужителями; потому, что помогала управлять обществом; потому, что других не было или потому что если не верить — или слишком громко проявлять свое неверие, — жизнь могла довольно быстро прерваться. Она продержалась так долго, потому что это была прекрасная ложь, потому что действующие лица, сюжет, разнообразные *coups de théâtre*, всеохватная борьба Добра и Зла превратились в отличный роман. История Христа — благородная миссия, столкновение с деспотом, преследование, предательство, казнь, воскресение — прекрасный пример формулы, которую Голливуд, как известно, давно отчаянно ищет: трагедия с хеппи-эндом. Чтение Библии как «литературы», иронично намекал наш старый школьный учитель, не сравнится с чтением Библии как истины — истины, подкрепленной красотой.

В Лондоне я сходил на концерт со своим другом Дж. Прозвучавшие тогда священные хоралы уже испарились у меня из памяти, в отличие от вопроса, который Дж. задал мне после: «Сколько раз за вечер ты думал о нашем Господе, восставшем из мертвых?» — «Ни разу», — ответил я. Интересно, думал ли о нашем Господе сам Дж.; он вообще-то сын пастора и обладает привычкой — единственный среди моих друзей — говорить на прощание: «С богом!» Это свидетельство остатков веры? Или просто языковая привычка, как «Grüss Gott»[18] в некоторых частях Германии?

Мне особенно не хватает Бога, когда не хватает фундаментального целеполагания и веры при встрече с сакральным искусством. Это одно из навязчивых «если бы» неверующего: как бы все было, «если бы это было на самом деле…» Представьте себе, что вы слышите Реквием Моцарта в великом соборе — или, скажем, «Рыбацкую мессу» Пуленка в просоленной часовне на краю утеса — и верите в каждое слово; представьте себе, что читаете святой комикс Джотто в Падуанском соборе как нон-фикшн; представьте, что у Донателло вы видите настоящее лицо Христа или плачущую Марию Магдалину. Это ведь добавило бы, мягко говоря, очарования?

Такое желание кажется неуместным и грубым: больше бензина в баке, больше алкоголя в вине, лучшего (и некоторым образом большего) эстетического переживания. Но дело не только в этом. Эдит Уортон понимала это чувство — и неудобство от него, — когда восхищаешься церквями и соборами, уже не веря в то, что олицетворяют эти здания; и она описала, как, чтобы все это понять и почувствовать, можно постараться вообразить себя несколько столетий назад. Но даже лучший ретрофантазер не сможет достичь того, что открывалось христианину, когда он взирал, задрав голову, на новые витражи Буржского собора, или слушал кантату Баха в соборе Святого Фомы в Лейпциге, или перечитывал старую библейскую историю на офортах Рембрандта. Вероятно, правда заботила этого христианина больше, чем эстетика; или, по крайней мере, его оценка величия художника зависела от эффективности и оригинальности (или тогда уже степени осведомленности), с которыми излагались религиозные догматы.

Так ли важно, что мы убрали веру из сакрального искусства, что мы, руководствуясь эстетикой, превращаем его просто в набор красок, структур, звуков, а подлинное значение так же далеко от нас, как воспоминания детства? Или это бессмысленный вопрос, раз у нас нет выбора? Притворно верить, не имея веры, когда исполняют Реквием Моцарта, — все равно что притворно находить смешными грубые шутки Шекспира (хотя некоторые театралы неутомимо хохочут над ними). Несколько лет назад я был в Бирмингемской городской галерее. В застекленном углу висела небольшая напряженная картина Петруса Кристуса, на которой Христос демонстрирует свои раны: вытянутым указательным и большим пальцами он показывает, где вошло копье, — даже предлагает нам оценить размер отверстия. Его терновый венец распустился в зефирное сияние славы. Двое святых, один с лилией, другой с мечом, прислуживают ему, разводя в стороны зеленый бархат на удивление домашней

авансцены. Детально рассмотрев картину, я уже сделал несколько шагов назад, когда обратил внимание на отца в тренировочном костюме с маленьким сыном, которые приближались ко мне пружинящей походкой ненавистников искусства. Когда они завернули в закуток, отец, у которого и кроссовки были получше, и сил побольше, опережал сына метра на два. Мальчик взглянул на экспонат и спросил с сильным местным акцентом: «А чего он держится за грудь, па?» Отец, не притормаживая, изловчился бросить взгляд назад и мгновенно ответить: «Без понятия».

Сколько бы удовольствия и правды мы ни черпали из светского искусства, созданного специально для нас, сколько бы оно ни задевало наше чувство прекрасного, было бы великой жалостью, если бы наша реакция на то, что ему предшествовало, в итоге сократилась до «Без понятия». Однако так, разумеется, и происходит. Подписи к музейным работам все чаще объясняют такие события, как Благовещенье или Успение Богородицы, хотя редко когда — кто есть кто среди всех этих полчищ святых с символами. Мне бы самому понадобился иконографический словарь, если бы меня попросили назвать двух святых на картине Петруса Кристуса.

Каково будет жить, когда христианство войдет в список мертвых религий и его будут изучать в университетах на курсе фольклора; когда богохульство станет не разрешенным или запрещенным, а попросту невозможным? Будет все примерно так. Недавно я был в Афинах, где впервые увидел фигурки с Кикладских островов. Они были сделаны приблизительно в 3000–2000 гг. до н. э., подавляющее большинство женского пола, и бывают двух типов: полуабстрактных скрипичных форм и более натуралистичные стилизованно вытянутые тела. У вторых обычно: длинный нос на лице, плоском как щит и лишенном других черт; вытянутая шея; руки сложены на животе, левая неизменно над правой; намеченный треугольник лобка; вырубленное разделение между ног; вытянутые носки.

Это образы исключительной чистоты, степенности и красоты, которые достигают вас, как тихая приглушенная нота, услышанная через притихший концертный зал. Как только вы видите перед собой одну из этих фигур, почти все не больше ладони, вы, кажется, эстетически понимаете их; и они, похоже, подыгрывают вам, тайно призывая не обращать внимания на историко-археологическую информацию со стендов. Отчасти это потому, что они так явно напоминают своих модернистских последователей: Пикассо, Модильяни, Бранкузи. Напоминают и превосходят их: полезно видеть, как эти замечательные титаны модернизма выглядят менее оригинальными в сравнении с

общиной неизвестных кикладских резчиков; полезно лишний раз вспомнить, что история искусства идет не только по прямой, но и по кругу. После минутного дерзкого удовлетворения от собственной сообразительности вам открывается спокойствие и отрешенность этих фигурок. Теперь приходят на ум другие сравнения: Пьеро или Вермеер. Рядом с вами величественная простота и невыразимое спокойствие, в котором, кажется, и вся глубина Эгейского моря, и укор нашему безумному современному миру. Миру, который все больше восхищается подобными артефактами и потому желает их в технически невозможных количествах. Подделка, как лицемерие, есть дань, которую порок платит добродетели, и в этом случае дань уплачена.

Но что именно мы или, скорее, я — да, лучше я приму на себя эту вину — здесь рассматривал? И разве мои реакции, пусть болезненно подлинные, соответствовали этим предметам? (Или же предметы искусства с годами превращаются или вырождаются до наших на них реакций?) Покрывающей их с ног до головы бледной кремовости, производящей эффект возвышенного спокойствия, изначально не существовало: хотя бы головы фигурок, скорее всего, раскрашивали довольно живо. Минималистская — и протомодернистская — резьба диктуется практическими соображениями и, по крайней мере частично, следует из чрезвычайной сложности работы с мрамором. Вертикальное положение — то, как эти маленькие фигуры встают перед нами на цыпочки и потому зрительно возвышаются над нами, — изобретение музейных кураторов, поскольку по большей части они создавались для горизонтального размещения лежа. А что касается молчаливого укора, то дело, скорее, в могильном спокойствии и суровости. Мы рассматриваем кикладские фигурки как произведения искусства — мы не можем иначе, — но они служили украшением гробниц. Мы, понимая их ценность, демонстрируем их в музеях под тщательно подобранным светом; их создатели, понимая их ценность, хоронили фигурки в земле, где их могли увидеть только духи мертвых. А во что именно — или хотя бы приблизительно — верили люди, создавшие такие произведения? Без понятия.

Искусство, разумеется, только начало, только метафора, как и всегда. Ларкин, зайдя в пустую церковь, задается вопросом, что случится, когда «необходимость в церкви отпадет»[19]. Их «оставят пару-тройку как музей» (это «оставят» всегда возбуждает во мне писательскую ревность) или «мы их будем обходить, как порчу наводящие места»? Ларкин приходит к выводу, что такие заброшенные строения будут — всегда — для нас притягательны,

поскольку «жажде посвященья быть и впредь».

Не это ли подспудно гложет нас оттого, что Его Не Хватает? Бог умер, а без Него человеческие существа могут наконец-то подняться с колен и выпрямиться во весь рост; и этот рост оказывается совершенно карликовым. Эмиль Литтре, лексикограф, атеист, материалист (и переводчик Гиппократа) пришел к заключению, что «человек весьма нестабильное соединение, а Земля — бесспорно низкосортная планета». Раньше религия даровала утешение от мирских забот и награждала верных в конце жизненного пути. Но помимо этих приятных вещей она еще и задавала человеческой жизни контекст и, следовательно, удовлетворяла жажду посвященья. Она делала людей лучше? Иногда; иногда нет; и верующие, и неверующие на протяжении веков равно искусны и отвратительны в своих преступлениях. Была ли она правдой? Нет. Так зачем переживать, что ее нет?

Потому что это была прекраснейшая выдумка и совершенно естественно чувствовать утрату, когда дочитываешь великий роман. В Средние века было принято подвергать животных суду — саранчу за истребление урожая, жуков-точильщиков за пожирание церковного зерна, свиней за то, что те питались подзаборными пьянчугами. Иногда животное препровождали в здание суда, иногда (как в случае с насекомыми) их вынужденно судили *in absentia*[20]. Устраивали полное судебное разбирательство с обвинением, защитой и судьей в мантии, который объявлял различные наказания — условный приговор, ссылка, а то и отлучение от Церкви. Иногда даже производилась судебная казнь: свинью мог повесить за шею до наступления смерти судебный пристав в перчатках и капюшоне.

Все это представляется — нам, сегодня — бессмысленной экстравагантностью, выражением непостижимого средневекового мышления. И в то же время все это было совершенно рационально и цивилизованно. Мир был сотворен Богом, следовательно, все, что происходило в нем, либо служило выражением Божественного умысла, либо являлось результатом свободы воли, которую Бог даровал Его тварям. В некоторых случаях Бог мог воспользоваться царством зверей в укор Его человеческим творениям: например, наслать в наказание полчища саранчи, которые суд, соответственно, обязан был по закону признать невиновными. Но что, если одурманенный пьяница свалился в канаву, где свинья съела ему пол-лица, и это нельзя объяснить Божественным намерением? Тогда следует найти другое объяснение. Предположительно свинья была одержима бесом, которому суд мог наказать изыйти. Или свинья, сама по себе лишенная свободы

воли, все равно могла быть привлечена к ответственности за содеянное.

Нам это может показаться еще одним доказательством изобретательного скотства людей. Но на это можно посмотреть и по-другому: как на возвышение статуса животных. Они были частью Божьего творения и Божьего умысла, а не просто появились на земле ради удовольствия Человека и ему на пользу. В Средние века власти судили животных и со всей серьезностью рассматривали их нарушения; мы помещаем животных в концлагеря, пичкаем их гормонами и нарезаем их так, чтобы они как можно меньше напоминали нам то, что когда-то кудахтало, блеяло или мычало. В котором из миров больше посвященья? Где выше мораль?

Наклейки на бамперах и магнитики на холодильниках не дают нам забыть, что Жизнь Не Репетиция. Мы подталкиваем друг друга к современному светскому раю самореализации: личностное развитие, отношения, которые определяют нас, статусная работа, материальные блага, владение собственностью, отпуск за границей, сбережения, коллекционирование сексуальных успехов, спортзал, потребление культурных ценностей. Это же все складывается в счастье — правда ведь, правда? Это наш избранный миф, и в нем почти столько же самообмана, сколько в мифе, настаивающем на блаженстве и восхищении при последнем трубном гласе, когда раскроются могилы и исцеленные совершенные души примкнут к сонму святых и ангелов. Но что, если наша жизнь действительно рассматривается как репетиция, как подготовка, как вестибюль или любая другая метафора, но в любом случае как что-то зависящее от превосходящей ее сущности где-то в другом месте, тогда она становится одновременно менее ценной и более важной. Те части мира, откуда религия улетучилась и где присутствует общее понимание, что вот этот короткий отрезок времени — все, что у нас есть, в целом не отличаются большей важностью посвященья, нежели места, где головы по-прежнему дергаются от колокольного звона или крика муэдзина. В целом они отдались оголтелому материализму; хотя славящееся изобретательностью человеческое животное способно конструировать цивилизации, в которых религия и оголтелый материализм сосуществуют (где второй может даже быть тошнотворным последствием первой): взгляните на Америку.

Так что с того, можете ответить вы. Важно только то, что истинно. Вы предпочтете кланяться всякой околесице и портить себе жизнь в угоду попам, все во имя предполагаемого посвященья? Или же предпочтете распрячься до самого до низу и

потакать всем своим капризам во имя истины и свободы? Или это ложное противопоставление?

Мой друг Дж. помнит, что мы слушали на концерте несколько месяцев назад: мессу Гайдна. Когда я ссылаюсь на последовавший диалог, он понимающе усмехается. Тогда я сам спрашиваю его: «Сколько раз за время этого произведения ты думал о нашем Господе, восставшем из мертвых?» — «Я думаю о нем постоянно», — отвечает Дж. Я не могу понять, он абсолютно серьезен или абсолютно легкомыслен, поэтому задаю вопрос, который не припомню, чтобы когда-либо задавал своим взрослым друзьям: «А ты… в какой степени ты верующий?» После тридцати лет знакомства надо уже объясниться. Долгий сдавленный смех, переходящий в кашель: «Я неверующий». Затем он поправляет себя: «Нет, *я очень* неверующий».

Монтень заметил: «Ничто не влекло людей к нашей религии более, чем заложенное в ней презрение к жизни». Невысокое мнение об этом мире напрокат было логичным, даже обязательным для христианина: излишняя привязанность к мирскому — не говоря уж о стремлении к какой-либо форме земного бессмертия — была бы дерзостью в глазах Бога. Ближайший британский аналог Монтеня сэр Томас Браун писал: «У язычника могут наличествовать мотивы любить жизнь, но если христианин поражается <то есть напуган> смертью, то я не вижу, как ему избежать дилеммы — либо он слишком привязан к этой жизни, либо не верит в жизнь грядущую». Поэтому Браун чтит всякого, кто презирает смерть: «И я не могу возлюбить никого, страшащегося ее; оттого я, естественно, люблю воина и чту полки оборванцев, которые умрут по команде сержанта».

Браун также отмечает, что «страшиться смерти и в то же время иногда желать ее есть симптом меланхолии». Снова Ларкин, меланхолик, дающий идеальное определение страха смерти: «Ни здесь, ни где-то нас не будет, и скоро; нет ничего ужасней, ничего верней». Ни где-то, как будто в подтверждение слов Брауна: «В основании всего жажда забвения». При первом прочтении эта строчка ошарашила меня. Я и сам, разумеется, меланхолик, и порой жизнь кажется мне весьма переоцененным времяпрепровождением, но я никогда не желал не быть более самим собой, никогда не жаждал забвения. Я не настолько убежден в ничтожности жизни, чтобы перспектива нового романа, или нового приятеля (или старого романа, или старого приятеля), или футбольного матча по телевизору (или даже повтора старого матча) не зажигала во мне интерес снова и снова. Я Браунов неудовлетворительный христианин — «слишком привязан к этой

жизни либо не верю в жизнь грядущую», — кроме того, что я не христианин.

Возможно, главная граница проходит не между верующими и неверующими, а между теми, кто боится, и теми, кто не боится смерти. Следовательно, мы делимся на четыре категории; понятно, какие две считают себя выше других: те, кто не боится смерти, потому что у них есть вера, и те, кто не боится смерти, несмотря на отсутствие веры. У этих групп нравственный приоритет. На третьем месте те, кто, несмотря на наличие веры, не может избавиться от древнего примитивного рационального страха. А уже за ними, без медалей, без права голоса, в глубокой заднице те из нас, кто боится смерти и не имеет веры.

Я уверен, что мой отец боялся смерти, а мать, почти наверняка, нет: больше смерти она боялась бессилия и зависимости от других. И если мой отец был страшащимся смерти агностиком, а моя мать — бесстрашной атеисткой, эта разница продублировалась в их двух сыновьях. И брату, и мне уже за шестьдесят, и я только недавно — несколько страниц назад — спросил его, что он думает о смерти. Когда брат ответил: «Меня вполне устраивает настоящее положение вещей», имел ли он в виду, что его устраивает его собственное исчезновение? И примирился ли он, благодаря погружению в философию, с краткостью жизни и неизбежностью собственного конца, скажем, в ближайшие тридцать лет?

«Тридцать лет — это слишком щедро, — отвечает он (ну, я округлил в большую сторону и для его, и для собственного спокойствия). — Я предполагаю, что умру в ближайшие лет пятнадцать. Примирился ли я с этим фактом? Примирился ли я с тем, что прекраснейший бук, который я вижу в окно каждый день, сгниет в ближайшие пятьдесят лет? Не думаю, что примирение здесь *mot juste*[21]*:* я знаю, что это произойдет, и ничего не могу с этим поделать. Я не то чтобы приветствую это, но и не тревожусь по этому поводу — и не могу представить себе ничего, что подошло бы лучше (безусловно, не вечная квазижизнь в компании святых — что может быть менее привлекательным?)».

Как быстро мы с ним — дети одной плоти, выпускники одной школы и одного университета — разошлись в разные стороны. И пусть мой брат рассуждает о смертности философски (в обоих смыслах), пусть он дистанцируется от собственного окончательного распада, уподобляя себя буку, не думаю, что причиной такого подхода служит целая жизнь философствования и философии. Подозреваю, что мы с ним такие, какие есть, потому что мы были такими с самого начала. По ощущениям все, конечно же, иначе. Вы появляетесь на свет, осматриваетесь, производите некоторые умозаключения, избавляетесь от старого вздора, учитесь, размышляете, наблюдаете, принимаете решения. Вы верите в свои возможности и свою независимость в суждениях; вы сами создали себя. Таким образом, с годами мой страх смерти стал важной частью меня, и я бы мог отнести его на счет постоянной работы своего воображения, в то время как бесстрастность моего брата перед лицом смерти стала важной частью его личности, что он, наверное, приписывает своему логическому мышлению. Хотя, вероятней всего, я таков благодаря нашему отцу, а он таков благодаря нашей матери. Спасибо за гены, папа.

«Я не могу представить себе ничего, что подошло бы больше

<чем исчезновение>», — говорит мой брат. Ну я-то могу себе представить кучу всего, что подошло бы лучше полного стирания с лица земли в ближайшие пятнадцать (его прикидка) или тридцать лет (мой братский подарок). Как насчет того, чтобы пережить этот бук для начала? Как насчет выбора умереть, когда захочется самому, когда уже надоест: жить себе двести, триста лет, а затем иметь право командовать собственной эвтаназией: «Ну давай уже» — в удобное вам время? Почему не представить себе вечную квазижизнь в разговорах с великими философами и великими романистами? Или какую-нибудь версию реинкарнации — смесь буддизма и «Дня сурка», — в которой вы проживаете свою жизнь заново, зная, как она прошла в первый раз, но имея возможность что-нибудь подправить после репетиции? Право на новую попытку, чтобы поступать по-другому. В следующий раз я мог бы воспротивиться притязаниям брата на филателистское первородство и начать собирать что-нибудь отличное от Остального Мира. Я мог бы стать иудеем (или попытаться, или притвориться). Я мог бы раньше уйти из дома, жить за границей, завести детей, не писать книг, выращивать буки, вступить в общину идеалистов, спать все время не с теми людьми (или хотя бы с некоторыми из не тех людей), стать наркоманом, обрести Бога, ничего не делать. Я мог бы открыть для себя совершенно новые виды разочарования.

Моя мать говорила мне, что дедушка как-то ей сказал — нет, мол, ничего хуже угрызений совести. О чем же, спросил я, он мог вести речь? Она ответила, что не имеет представления, поскольку ее отец был человеком кристальной честности (никакого вам подмоченного пуфа). И это замечание — нетипичное для моего дедушки — осталось вечно висеть в воздухе. Меня угрызения мучают несильно, хотя, возможно, все еще впереди, а пока я имею дело с его близкими друзьями: сожалением, чувством вины, воспоминанием о неудачах. Однако я испытываю все большее любопытство относительно жизней, которых у меня не было и которых уже никогда не будет, и, вероятно, угрызение покамест прячется в их тени.

Артур Кёстлер оставил перед самоубийством записку, в которой выразил «скромную надежду на некую обезличенную жизнь после смерти». Подобное желание неудивительно — Кёстлер в последние годы жизни много занимался парапсихологией, — но мне определенно не кажется привлекательным. Равно как мало смысла в религии, которая превратилась в еженедельный выход в люди (кроме естественного удовольствия от еженедельного выхода в люди), в отличие от

веры, которая говорит, как именно жить, которая окрашивает собой все, в которой есть *посвященье,* так же я хотел бы, чтобы жизнь после смерти, если таковую предложат, была лучше и совершенней — желательно, существенно лучше — своей земной предшественницы. Я почти что могу себе представить свое полуосознанное прозябание в составе какой-нибудь липкой молекулярной смеси, но не понимаю, чем это лучше полного исчезновения. К чему надежды, тем более скромные, на такой статус? Эй, малыш, дело не в том, что бы ты предпочел, а в том, как оно окажется. Важнейший разговор на эту тему состоялся между Исааком Башевисом Зингером и Эдмундом Уилсоном. Зингер заявил Уилсону, что верит в некую форму существования после смерти. Уилсон сказал, что, на его вкус, лучше уж никак не существовать, спасибо, не надо. Зингер на это ответил, что «если такое существование предусмотрено, выбора в этом вопросе нет».

Ярость воскрешенного атеиста — вот на что стоило бы посмотреть. И раз уже мы заговорили об этом, компания святых может быть определенно интересной. У многих за плечами увлекательная жизнь: бегство от убийц, противостояние тиранам, проповеди на средневековых мостовых, пытки — и даже тишайшие из них могли бы многое рассказать о пчелах, лаванде, умбрийской орнитологии и так далее. В конце концов, Дом Периньон был монахом. Вы, возможно, надеялись встретить компанию поразнообразней, но если это «предусмотрено», тогда и со святыми вы бы не соскучились дольше, чем кажется.

Мой брат не боится исчезнуть. «Я говорю это с уверенностью, а не только потому, что подобный страх был бы иррационален» (простите, я перебью, иррационален? ИРРАЦИОНАЛЕН? Это самая рациональная вещь на свете — как может разум разумным образом не возмущаться и не бояться конца разума?). «Трижды в жизни я был убежден, что скоро умру (последний раз я пришел в себя в реанимации); всякий раз я испытывал по этому поводу те или иные чувства (один раз — жгучую злость на себя, что допустил такую ситуацию, один раз — стыд, смешанный с неудобством от мысли, что оставляю свои дела в беспорядке), но ни разу — страха». Он даже ни разу не попробовал на вкус предсмертные слова. «Последний раз, когда я чуть не умер, почти что последними моими словами было: “Передайте Бену мой экземпляр Беккерова Аристотеля”». Он добавляет, что его жена посчитала эти слова «недостаточно нежными».

Он признается, что теперь думает о смерти чаще, чем прежде, «отчасти потому, что умирают старые друзья и коллеги». Раз в неделю он спокойно размышляет о ней; в то время как я это делаю годы напролет, не жалея сил, и не достиг никакой

философской сдержанности. Я мог бы попробовать раздобыть несколько аргументов в пользу осознания смерти, но не уверен, что они будут убедительными. Не могу утверждать, что после того, как я встретился лицом к лицу со смертью (нет, откуда эта ложная активность и притворный героизм, страдательный залог подойдет лучше: не могу утверждать, что после того, как ко мне приблизилась смерть), у меня прибавилось спокойствия по отношению к ней, не говоря уж о прирастающей мудрости или чувстве посвященья… да вообще ничего. Я мог бы попытаться возразить, что мы не способны подлинно наслаждаться жизнью без постоянного осознания, что мы неминуемо исчезнем: это капля лимона, щепотка соли, усиливающая вкус. Но неужели я действительно думаю, что мои не озабоченные вопросом смерти (или верующие) друзья получают меньше меня удовольствия от букета цветов/ произведения искусства/ бокала вина? Да нет.

С другой стороны, этот страх не такая уж примитивная штука. Примитивными — от мороза по коже, от затемняющего сознание ужаса, от грубого звонка будильника в незнакомом гостиничном номере до визга клаксонов по всему городу — могут быть его проявления. Но я не прекращаю настаивать, что я страдаю от рационального (да, РАЦИОНАЛЬНОГО) страха. Самый ранний из известных нам Танцев Смерти, изображенный на стене парижского кладбища Невинных в 1425-м, сопровождался текстом *«O créature roysonnable / Qui desires vie eternelle»* («О существо разумное, / Жаждущее жизни вечной»). Рациональный страх: мой друг романист Брайан Мур любил цитировать данное некогда иезуитами определение человека как *«un être sans raisonnable raison d'être»* — «существа без разумных резонов существовать».

Связано ли мое осознание смерти с тем, что я писатель? Возможно. Но если это так, я не хочу ничего знать или выяснять. Я вспоминаю пример одного комика, который после многих лет психотерапии наконец-то понял, отчего ему требовалось смешить людей; поняв причину, он это делать перестал. Так что не хотелось бы рисковать. Хотя я могу представить себе одну из таких, типа «что бы вы предпочли», дилемм. «Мистер Барнс, мы исследовали ваше состояние и пришли к выводу, что ваш страх смерти тесно связан с вашими литературными привычками, которые, как у многих людей вашей профессии, служат банальной реакцией на собственную смертность. Вы придумываете истории, чтобы ваше имя и некоторый неопределенный процент вашей индивидуальности остались жить после вашей физической смерти, и такая перспектива способна вас немного утешить. И хотя умом вы понимаете, что вас вполне могут забыть и до вашей

смерти или же вскоре после нее и что всех писателей когда-нибудь забудут, так же как и весь род человеческий, все равно вы полагаете, что этим стоит заниматься. Является ли для вас писательство примитивным ответом на рациональное или же рациональным ответом на примитивное, мы определить не можем. Но вот над чем вам стоит поразмыслить. Мы разработали новый тип операции на мозге, в результате которой уходит страх смерти. Это простая процедура, не требующая анестезии, — вы даже можете наблюдать происходящее на экране монитора. Всего лишь следите за тем, как это ярко-оранжевое пятно постепенно теряет свой цвет. Разумеется, вы обнаружите, что эта операция также лишит вас желания писать, но многие ваши коллеги сделали такой выбор и посчитали его весьма выгодным. Да и общество в целом не жаловалось, что стало меньше писателей».

Конечно, мне пришлось бы об этом задуматься. Я бы мог поразмыслить над тем, насколько уже написанное мной выглядит логически завершенным и так ли хорошо то, что у меня в планах. Но надеюсь, я бы отказался — или, по крайней мере, торговался бы, заставляя увеличить банк: «Как насчет того, чтобы отменить не страх смерти, но саму смерть? Вот это было бы соблазнительное предложение. Вы избавляете меня от смерти, а я бросаю писать. Как вам *такая* договоренность?»

Кое-что мы с братом унаследовали вместе. Четыре наших уха поросли тремя слуховыми аппаратами. Я слышу хуже слева. Жюль Ренар, «Дневник», 25 июля 1892 года: «Он глух на левое ухо: он не слышит со стороны сердца». (Сволочь!) Когда врач по ухо-горло-носу сообщил мне диагноз, я спросил, мог ли я каким-либо образом спровоцировать заболевание. «Невозможно приобрести болезнь Меньера, — ответил он, — это врожденное». — «Славно, — заметил я, — есть за что винить родителей». Я их не виню. Они просто исполнили свой генетический долг, передав мне то, что было передано им, все это старье из грязи, пещер и болот, продукты эволюции, без которых не появился бы на свет ноющий я.

В нескольких дюймах от этих врожденно барахлящих ушей у меня в черепе сидит страх смерти, а у моего брата — его отсутствие. Где же неподалеку может сидеть вера или ее отсутствие? В 1987-м один американский невролог заявил, что обнаружил, где именно в мозгу определенная электронная нестабильность вызывает религиозные чувства: так называемая «точка Бога» — своего рода усиленная версия пресловутой «точки Джи». Этот исследователь также недавно разработал «шлем Бога», стимулирующий височные доли слабым магнитным полем и

предположительно вызывающий религиозные состояния. Как благородный человек — или как безрассудный храбрец — он испытал его на, возможно, наименее восприимчивом жителе планеты, Ричарде Докинзе, который добросовестно доложил, что не ощутил ни капли Божественного Присутствия.

Другие исследователи полагают, что нельзя определить местоположение единой точки Бога. В одном эксперименте пятнадцати монашкам-кармелиткам предложили вспомнить их самые глубокие мистические переживания: томограф показал электронную активность и повышение уровня кислорода по крайней мере в пятнадцати участках мозга. Однако нейромеханика веры не способна доказать существование (или отсутствие) Бога и определить принципы, лежащие в основе человеческой веры в высшие силы. Это может произойти, когда эволюционная психология раскроет адаптационную пользу религии для индивидуума и группы людей. Хотя как даже это коснется Бога, великого трюкача и иллюзиониста? И не надейтесь. Он предпримет тактическое отступление, как Он уже делает последние лет сто пятьдесят, в недоступную приборам часть Вселенной. «Возможно, тот факт, что Бог непостижим, является сильнейшим доказательством Его существования».

Различия между братьями: когда я был в возрасте максимального подросткового смятения, один родительский друг спросил папу, кто из его сыновей умнее. Отец, не отводя от меня глаз — своих добрых, либеральных глаз, — осторожно ответил: «Вероятно, Джонатан. Джулиан более разносторонний, так ведь, Джу?» Я вынужденно потворствовал такой оценке (с которой, вероятно, и так был согласен). Однако я также распознал знакомый эвфемизм. Весь Остальной Мир, Низкие Голоса, Разносторонний, тьфу.

Различия, которые находила в своих сыновьях моя мать, нравились мне больше. «Когда они были маленькими, а я заболела, Джулиан забрался ко мне в постель и свернулся калачиком, а его брат принес мне чаю». Еще одно различие, о котором она рассказывала: однажды мой брат обкакался и отреагировал на это словами «Этого больше никогда не произойдет» — и не произошло; в то время как я, не справившись с управлением детским кишечником, был обнаружен за тем, что весело размазывал дерьмо по полу, втирая в щели. Однако мое любимое различие было обозначено нашей матерью гораздо позже. К тому времени оба ее сына уже достигли определенных профессиональных успехов. Вот как она формулировала свою гордость за них: «Один мой сын пишет книги, которые я могу читать, но не понимаю, другой пишет книги, которые я понимаю,

но читать не могу».

Всякий раз, когда размышлял над неоднородностью наших характеров, я был склонен объяснять ее послеродовым инцидентом. Родив моего брата, наша мать перенесла стрептококковую инфекцию. Лишенная возможности кормить сына грудью, она взрастила его на бутылочных смесях, какие уже имелись в военной Англии в 1942-м. Мне известно, что мое рождение в 1946-м прошло без медицинских осложнений, а значит, я, вероятнее всего, был вскормлен грудью. В моменты соперничества с братом я мысленно прибегал к этому аргументу. Он был умным, воплощение холодного интеллекта и практических действий, он удерживал в себе дерьмо и приносил чай; я был разносторонним и эмоциональным, сворачивался калачиком и размазывал дерьмо. У него был мозг, и у него была Британская Империя; у меня был Весь Остальной Мир в его богатом разнообразии. Это был, разумеется, жалкий редуктивизм, и всякий раз, когда критики и комментаторы подобным образом обращались с искусством (Эль Греко упрощали до астигматизма, музыку Шумана — до свидетельства о приближающемся безумии), меня это ужасно раздражало. Но я склонялся к такому объяснению, когда мне это было необходимо — когда исследователи моей эмоциональной жизни могли бы решить, что я не столько собираю Весь Остальной Мир, сколько специализируюсь на редких почтовых марках Норвегии и Фарерских островов.

Страх смерти заменяет страх Божий. Однако страх Божий — абсолютно здравая более ранняя установка, учитывая жизненные опасности и нашу беззащитность перед громом и молниями неизвестного происхождения, — по крайней мере, давал возможность торговаться. Мы уболтали Бога отказаться от бренда «Мстительный» и переименовали Его в Бесконечно Милостивого; мы переодели Его из Старого в Новое, как в случае с Ветхим и Новым Заветом или Лейбористской партией. Мы подняли домкратом Его кумира, поставили на полозья и дотянули до места с более солнечной погодой. Мы не можем то же самое проделать со смертью. Смерть нельзя уболтать или уговорить на что-нибудь; она просто отказывается садиться за стол переговоров. Ей не нужно притворяться Мстительной, или Милостивой, или даже Бесконечно Безжалостной. Она невосприимчива к оскорблениям, жалобам или снисхождению. «Смерть не художник», нет, и никогда и не выдавала себя за него. Художники ненадежны; а смерть никогда вас не подведет, она доступна семь дней в неделю и с удовольствием работает три

восьмичасовые смены подряд. Вы бы купили акции смерти, будь они на бирже; вы бы поставили на нее, каким бы ни был банк. Когда мы с братом росли, относительной известностью пользовалась доктор Барбара Мур, пеший путешественник на длинные дистанции и пропагандист вегетарианства, думавшая, что сможет бросить вызов природе; однажды она заявила журналисту, несколько самонадеянно, что родит в сто лет и проживет до ста пятидесяти. Она не добралась и до середины срока. Она умерла в семьдесят три, и отнюдь не от руки озабоченного букмекера. Страннейшим образом, она сама выполнила работу смерти, уморив себя голодом. На бирже у смерти был хороший день.

Атеисты из пользующейся моральным превосходством Первой Категории (нет Бога, нет страха смерти) любят повторять, что отсутствие высшей силы не должно никоим образом умалять наше восхищение Вселенной. Все могло казаться чудесным и удобным, когда мы представляли себе, что Бог устроил это специально для нас: от гармонии снежинки до сложнейшего символизма маракуйи и блистательной сценографии солнечного затмения. Но если все движется без Перводвижителя, отчего все должно быть менее восхитительным и прекрасным? Почему мы должны быть как дети, которым что-то обязательно показывает учитель, как будто Бог — высшая форма телеэксперта по дикой природе. Антарктический пингвин, например, такой же царственный и смешной, такой же изящный и неуклюжий и до Дарвина, и после. Давайте взрослеть и одновременно любоваться очарованием двойной спирали, темным свечением дальнего космоса, тончайшей настройке оперения, демонстрирующей законы эволюции, и компактному непостижимому механизму человеческого мозга. Зачем нам Бог, чтобы всему этому изумляться?

Незачем. Ни к чему. И все же. Если все это произошло из ничего, если все это механически крутится по программе, запущенной никем, если наше восприятие этого — не более чем микромоменты биохимической активности, всего лишь щелчок и потрескивание нескольких синапсов, то чего стоит наше изумление? Не должно ли это казаться немного подозрительным? Навозный жук наверняка способен на примитивное благоговение перед тем, какой большой комок навоза толкает перед собой. Неужели наше изумление — более роскошная версия того же самого? Возможно, ответил бы атеист из Первой Категории, но, по крайней мере, мы знаем, что это так. Вспомните для сравнения жеманные фантазии ученика Руссо, который утверждал, что полоски на дынной корке — ручная работа Господа Бога: мол,

Всевышний, как добрая нянька, расчерчивает фрукты для Его детей на равные справедливые доли. Вы хотите вернуться к таким нелепым идеям, к такому трогательному заблуждению гурмана? Где ваше чувство истины?

По-прежнему на месте, я надеюсь. Однако (просто интересно) было бы полезно узнать, столь же велико у атеистов изумление от Вселенной, как у верующих, или нет, хотя бы примерно. Непонятно, почему это нельзя измерить (не сейчас, но вскоре). Сравнивают же количество синапсов, которые активируются во время оргазма у женщин и мужчин (плохая новость для парней, любящих меряться), так почему бы не попробовать похожий тест? Найдите какого-нибудь отшельника, который по-прежнему верит, что маракуйя иллюстрирует страсти Христовы: что лист символизирует копье, пять пыльников — пять ран, усики — плети, колонка завязи — опору креста, тычинки — молотки, три стебля — три гвоздя, жирные прожилки в цветке — терновый венец, чашечка — нимб, белый цвет — непорочность, а голубой — небеса. Этот монах даже верит, что цветок распускается ровно на три дня, по дню за год служения Христа. Подсоедините его проводками за компанию с ботаником из телевизора, и посмотрим, у кого заискрит больше синапсов. А затем принесем те же проводки в концертный зал и замерим моего «очень неверующего» друга Дж. в сравнении с верующим, для которого месса Гайдна есть окончательное выражение вечной истины, а заодно и (или «а не») великое музыкальное произведение. Тогда мы сможем узнать и вычислить, что же происходит, когда убирают веру из сакрального искусства, а Бога — из Вселенной.

Это может показаться несколько безнадежным делом для холодных умов, которых красота научных законов приводит в еще больший трепет именно оттого, что рука Господа тут ни при чем. Но если такое желание звучит ностальгически, то это ностальгия по чему-то, чего я никогда не знал, — и она заведомо разъедает сильнее. Возможно, часть моей беды в зависти к тем, кто потерял веру — или обрел истину, — когда терять веру было по-юношески свежо, смело и опасно. Франсуа Ренар, самоубийца и антиклерикал, был первым, кого похоронили на кладбище Шитри без помощи и утешения священника. Вообразите, какой это произвело шок на глухую бургундскую деревню в 1897-м; вообразите гордость неверия. Возможно, я страдаю от… назовем это историческим сожалением, чтобы мой дедушка мог мне посочувствовать.

«Счастливый атеист». Дата которую я мог бы предложить капеллану колледжа и капитану университетской команды

гребцов как переломный момент, когда эстетическое восхищение начало приходить на смену религиозному благоговению, — 11 января 1811 года; место — Флоренция. Дело было за несколько дней до двадцать восьмого дня рождения Стендаля — или, скорее, двадцать восьмого дня рождения Анри Бейля, который еще не преобразился в свой *nom de plume*[22]. Бейль/Стендаль не верил в Бога и прикидывался, исходя из логических предпосылок, не знающим о Его существовании: «Ожидая, когда Бог откроется, я полагаю, что его первый министр Случай так же хорошо управляет этим унылым миром». Он продолжает: «Я считаю себя честным человеком, так что иначе и быть не могло, не ради удовлетворения Верховного Существа, которого нет, но ради себя самого, испытывающего потребность жить в мире со своими привычками и предрассудками и обладать целью в жизни и пищей для ума».

В 1811-м Бейль был обедневшим автором-плагиатором музыкальных биографий и начал писать историю итальянской живописи, которую так и не закончил. Впервые он оказался в Италии в 1811-м, приехав в обозе наполеоновской армии. Когда маркитанты добрались до Иври, Бейль тут же отправился на поиски местной оперы. Он обнаружил третьесортный театр, в котором обтрепанная труппа исполняла «Тайный брак» Чимарозы, но для него это стало откровением: *«un bonheur divin»*[23], написал он сестре. С этого момента он стал страстным и трепетным поклонником Италии во всех ее проявлениях: однажды, вернувшись в Милан после многих лет, он отметил, что «совершенно особый запах конского навоза на улицах» повергал его в слезы.

И вот он впервые во Флоренции. Он прибывает из Болоньи; карета пересекает Апеннины и начинает спуск к городу. «… Сердце мое сильно билось. Какое ребячество!» Дорога заворачивает, и открывается вид на знаменитый собор Брунеллески. У городских ворот Бейль бросает экипаж — вместе с багажом, — чтобы войти во Флоренцию пешком, как пилигрим. Он оказывается у базилики Санта-Кроче. Здесь гробницы Микеланджело и Галилея, рядом бюст Альфьери работы Кановы. Бейль думает о других великих тосканцах: Данте, Боккаччо, Петрарке. «Волнение мое было так велико, что граничило с благоговением». Он просит монаха отпереть часовню Никколини и пустить его посмотреть на фрески. Затем «уселся на ступеньках молитвенной скамейки, уперся закинутой назад головой в пюпитр, чтобы удобнее было разглядывать потолок». Сам город и близость его славных отпрысков уже привели Бейля в состояние, близкое к трансу. «Поглощенный созерцанием возвышенной

красоты, я лицезрел ее вблизи, я, можно сказать, осязал ее. Я достиг уже той степени душевного напряжения, когда вызываемые искусством *небесные ощущения* сливаются со страстным чувством». Курсив его.

Физиологически все это приводит к потере сознания. «Спускаясь со ступенек Санта-Кроче, я испытал яростное сердцебиение… жизненные силы во мне иссякли, и я шел в постоянном страхе упасть». Бейль (который был уже Стендалем ко времени публикации этого рассказа в «Риме, Неаполе и Флоренции»[24]) мог описать свои симптомы, но не назвать состояние. Однако это могут сделать его потомки, потому что потомки во всем разбираются лучше. Бейль пострадал, мы теперь можем ему сообщить, от синдрома Стендаля — состояния, обнаруженного в 1979-м флорентийским психиатром, который столкнулся почти что с сотней случаев головокружения и тошноты, вызванных контактом с местными сокровищами искусства. В недавнем номере «Фиренце Спектакколо» услужливо перечислены основные места, которых следует избегать, если вы подозреваете, что подвержены этому синдрому, — или же посетить, если хотите проверить себя на эстетическую прочность. Первые три места занимают «часовня Никколини базилики Санта-Кроче с фресками Джотто», Академия из-за «Давида» Микеланджело и галерея Уфицци из-за «Весны» Боттичелли.

Скептик может спросить, действительно ли у этой сотни туристов XX века голова шла кругом от сильнейшей эстетической реакции, а не от тяжелых условий современного осмотра достопримечательностей: теряешься в незнакомом городе, выбиваешься из графика, гоняешься за шедеврами, пичкаешь себя информацией, а избыток жаркого солнца накладывается на холод кондиционера. Этот же скептик мог бы спросить, испытал ли сам Стендаль синдром Стендаля. То, что он описывает, могло быть совокупным эффектом череды сильных переживаний: горы, собор, долгая дорога, базилика, великие мертвецы, великое искусство — и отсюда финальный обморок. Тут может пригодиться и мнение терапевта, а не психиатра: если долгое время сидеть с откинутой назад головой, уставившись на расписной потолок, затем подняться и выйти из темной церковной прохлады в яркий пыльный беспокойный вихрь городской жизни, разве не логично ощутить определенную слабость?

Что бы то ни было, история такова. Бейль/Стендаль — прародитель и оправдание современной любви к искусству. Он приехал во Флоренцию и лишился чувств от силы эстетических переживаний. Он был в храме, но не был верующим, его восхищение было исключительно светским и эстетическим. И кто

же не поймет и не позавидует человеку, падающему в обморок от фресок Джотто в Санта-Кроче, тем более что сознание и глаз смотрящего не были замылены уже виденными репродукциями? Все это правда, в первую очередь потому, что мы этого хотим, нам нужно, чтобы это было правдой.

Подлинные пилигримы, приходившие в базилику Санта-Кроче за пять веков до Бейля, увидели в свеженаписанном цикле фресок о жизни святого Франциска искусство, которое глаголало им абсолютную истину и смогло спасти их в этом мире и в грядущем. Так же было с теми, кто первым прочел Данте или первым услышал Палестрину. Еще прекрасней, оттого что истина, еще истинней, оттого что прекрасно, и эти радостные умножения продолжаются в бесконечности параллельных зеркал. В светском мире, где мы осеняем себя крестом и преклоняем колени перед великими произведениями искусства исключительно метафорически, мы склонны полагать, что искусство глаголет нам истину — то есть в релятивистской вселенной оно правдивей, чем что бы то ни было, — и что эта истина в свою очередь может спасти нас, в определенной мере, так сказать, просветить, тронуть, поднять, даже исцелить нас — пусть только в этом мире. Как же раньше все было проще, и не только в плане грамматики.

Флобер упрекал Луиз Коле за ее «любовь к искусству» вместо «религии искусства». Некоторые воспринимают искусство как психологическую замену религии, продолжающую давать чувство иного мира тем лишенцам, что уже не грезят о небесах. Один современный критик, кембриджский профессор С., утверждает, что искусство религиозно по своей сути, ибо художник стремится к бессмертию, избегая «банальной демократии смерти». На это сильное заявление находится возражение оксфордского профессора К., указывающего, что даже величайшее искусство в геологическом масштабе длится не дольше взмаха ресниц. Эти два заявления, на мой взгляд, совместимы, поскольку мотивация художника может не принимать в расчет космическую реальность. Однако профессор К. делает и свое сильное заявление, а именно: «Религия искусства портит людей, потому что возбуждает презрение к тем, кто считается лишенным художественного вкуса». В этом, возможно, что-то есть, хотя еще большая проблема, по крайней мере в Британии, скорее обратная: в презрении самодовольных обывателей к тем, кто занимается искусством или ценит его. И разве такие чувства делают обывателей лучше?

«Религия искусства»: когда Флобер использовал это выражение, он говорил о подвиге посвященья, а не о снобистском почитании искусства; обязательное монашество, власяница,

молчаливая одинокая медитация перед действием. Если сравнивать искусство с религией, то точно не в традиционном католическом смысле с абсолютной властью папы наверху и рабской покорностью внизу. Оно скорее похоже на раннюю церковь: живую, хаотичную, подверженную расколам. На каждого епископа найдется свой богохульник, на каждую догму — свой еретик. Сегодня в искусстве, как когда-то в религии, полно и лжепророков и лжебогов. Есть художественное духовенство (осуждаемое профессором К.), которое желает исключить нечистых, которое скрывается в непостижимых умствованиях и недосягаемой утонченности. С другой стороны — (осуждаемые профессором С.) подделки, торгашество и инфантильный популизм; художники, готовые на лесть и компромисс, которые, как политики, сделают все ради голосов (и денег). Чистые или нечистые, возвышенные или продажные, все они — как светлый отрок в кудрях, как трубочист — обратятся в прах[25], а их искусство вскоре последует за ними, если не отправится вперед них. Однако искусство и религия будут всегда оказываться рядом благодаря абстрактным существительным, связанным с обоими: истина, посвященье, воображение, сочувствие, нравоучение, трансцендентальность.

Нехватка Бога для меня как Ощущение Себя Англичанином: чувство, возникающее в основном, когда на меня нападают. Когда обижают мою страну, пробуждается дремлющий, если не сказать, дрыхнущий патриотизм. А что касается Бога, то меня больше провоцирует абсолютный атеизм, чем, скажем, зачастую мягкие осторожные надежды англиканской церкви. В прошлом месяце я как-то ужинал с соседями. Дюжина гостей сидела за кухонным столом, способным вместить Христа с апостолами. Одновременно протекало несколько разговоров, как вдруг за пару стульев от меня возник спор и молодой человек (сын хозяев дома) саркастически и довольно громко спросил: «Но почему Бог сделал это с Его сыном, а не со всеми нами?» Я поймал себя на том, что нелюбезно отвернулся от своих собеседников и выкрикнул в ответ: «Потому-то он *Бог,* боже ж ты мой!» Разговор получил продолжение; хозяин дома К., мой старинный приятель и завзятый рационалист, поддержал своего сына: «Есть одна книга про то, как люди выживали после распятия, как иногда их снимали еще живыми. Центурионов можно было подкупить». Я: «А к чему это все?» Он (раздраженно-рационалистически): «Смысл в том, что этого всего не могло быть. *Этого всего не могло быть».* Я (рациональным образом раздраженный рациональностью): «Но в этом же весь смысл — что этого не могло быть. Смысл в том, что

если вы христианин, то это было». Я мог бы добавить, что этот спор стар, как… по крайней мере, как «Мадам Бовари», где Оме, закоренелый материалист, утверждает, что идея Воскресения не только «абсурдна», но и противоречит «всем законам физики».

Подобные научные наблюдения и «объяснения» (Христос «на самом деле» ходил не по воде, а по тонкому слою льда, который при определенных метеоусловиях…) убедили бы меня в молодости. Сейчас они представляются довольно неуместными. Как сказал Стравинский, обоснованное доказательство (и, соответственно, опровержение) для веры — все равно что занятия контрапунктом для музыки. Смысл веры — верить именно в то, чего в соответствии со всеми известными правилами «не могло произойти». Рождение от Девы, Воскресение, прыжок Магомета в небо, от чего в скале остался след ноги, загробная жизнь. Это все не могло произойти в нашем понимании. Но так было. Или будет. (Или, разумеется, конечно же, не было и, несомненно, не будет.)

Писателям нужен определенный набор ответов на определенный набор вопросов. Когда спрашивают, В Чем Назначение Романа, я люблю отвечать: «В красивой складной лжи, внутри которой жесткие истины». Мы говорим о приостановке неверия как об интеллектуальном условии, помогающем получать удовольствие от литературы, кино, изобразительного искусства. Это ведь просто слова на странице, актеры на сцене или экране, краски на холсте: эти люди не существуют, их никогда не было, а если они и были, то здесь всего лишь их копии, ненадолго правдоподобные симулякры. И все же пока мы читаем, пока глаза смотрят, мы верим, что Эмма живет и умирает, что Гамлет убивает Лаэрта, что этот угрюмый, отороченный мехом муж и его жена в парче могли бы сойти с картины Лотто и заговорить с нами на ломбардском диалекте XVI века. Этого не было, это никогда не могло произойти, но мы верим, что было и могло. От такой приостановки неверия недалеко до активного признания веры. Я, разумеется, не хочу сказать, что чтение художественной литературы могло бы предрасположить вас к религии. Напротив: это религии были первыми великими изобретениями писателей. Убедительное изображение и правдоподобное объяснение мира для понятным образом сбитых с толку. Красивая складная история с начинкой из жесткой лжи.

Другая неделя, другое застолье: семеро писателей встречаются в кабинете на втором этаже венгерского ресторана в Сохо. Тридцать с чем-то лет назад установилась традиция подобных пятничных обедов: шумных, прокуренных, с выпивкой и спорами, собраний журналистов, писателей, поэтов и

карикатуристов в конце очередной рабочей недели. За это время место встречи несколько раз менялось, а состав участников уменьшился от переездов и смертей. Теперь нас осталось семеро, старшему за семьдесят, младшему сильно — очень сильно — под шестьдесят.

Это единственное мероприятие только для мужчин, которое я сознательно или охотно посещаю. Из еженедельного оно незаметно превратилось в ежегодное: порой это почти что одно воспоминание. С годами сменился и его настрой. Теперь мы меньше шумим и больше слушаем, меньше хвастаемся и соревнуемся, больше дразним и потакаем друг другу. Нынче никто уже не курит и не приходит с твердым намерением напиться, что раньше казалось самодостаточным основанием. Теперь нам нужен отдельный кабинет, не из-за пижонства или страха, что подслушают наши лучшие шутки, а поскольку половина из нас глуховата — кто-то, не скрываясь, надевает аппарат, садясь за стол, кто-то пока не признается в этом. У нас выпадают волосы, нам нужны очки; наши простаты медленно раздуваются, сливной бачок за лестницей редко простаивает без дела. Но в целом мы бодры и по-прежнему работаем.

Разговоры идут по накатанным колеям: сплетни, книжный бизнес, литкритика, музыка, кино, политика (некоторые из нас совершили ритуальный сдвиг вправо). Это не лимонный стол, и я не помню, чтобы смерть обсуждалась здесь как общая тема. Или религия, хотя один из нас, П., католик. Все эти годы именно от него можно было ждать неудобных, зароняющих сомнения этических вопросов. Когда один из ходоков распространялся за столом о том, как он в последнее время стал привязан к жене, именно П. влез с вопросом: «Так ты думаешь, дело в любви или в возрасте?» (и получил ответ, что, увы, скорее всего, в возрасте).

На этот раз, впрочем, мы должны расспросить П. об одном догмате. Новый — немецкий — папа только что объявил об отмене чистилища. Прежде всего, мы требуем разъяснений: что это было и где оно находилось, кого туда отправляли и кого, если такое случалось, отпускали оттуда. Мы коротко отклоняемся в сторону живописи и Мантеньи (хотя едва ли чистилище было популярной темой для картин и, предположительно, сколько бы ни оставалось еще католических художников, для них это небольшая потеря). Мы отмечаем переменчивость Конечных Пунктов: даже ад с годами подрастерял свою вероятность и инфернальность. Мы с удовольствием соглашаемся, что Сартрово «Ад — это другие» — полная ерунда. Но по-настоящему мы хотим спросить П., верит ли он и насколько в реальность таких мест назначения; и в особенности, верит ли он в рай. «Да, — отвечает

он. — Я надеюсь. Я надеюсь, что рай существует». Но его такая вера утешает далеко не явно. Он объясняет, как больно ему думать, что если есть вечность и рай по его вере, он может быть разлучен со своими четырьмя детьми, как один оставившими религию, в которой росли.

И не только с ними: приходится также думать и о разлуке с женой, с которой он прожил более сорока лет. Хотя мы должны, добавляет он, верить в Божественное милосердие. Далеко не наверняка все публично верующие будут обязательно спасены или добрые деяния неверующих и богоотступников не воссоединят их с их верующими, пусть и далекими от совершенства мужьями и предками. Затем П. приводит доселе неизвестную нам матримониальную подробность. Его жену Е. воспитывали в англиканстве и тринадцатилетней школьницей отправили жить — как пророка Даниила — в атеистское логово философа А. Дж. Айера. Там она быстро потеряла веру, и даже сорок лет супружеского примера не смогли впоследствии поколебать ее агностицизма.

В этот момент объявляется референдум по вере в загробную жизнь. Пять и три четверти из оставшихся шести не высказывают никакого доверия; дробная сторона называет религию «жестоким мошенничеством», но все же признает, что «был бы не против, если бы все это оказалось правдой». Однако если в прошлые десятилетия этот разговор мог привести к дружеским шуткам над нашим католическим собратом, то теперь чувствуется, что все остальные из нас гораздо ближе к забвению, в которое мы верим, в то время как у него есть, по крайней мере, умеренная, скромная надежда на райскую жизнь. Мне кажется — хотя мы не проводим референдум по этому вопросу, — что мы втайне завидуем ему. Мы не верим, мы настойчиво не верим уже многие десятилетия, в некоторых случаях — более полувека, но нам не нравится то, что впереди, а силы справляться с этим уже не те.

Я не знаю, утешило или встревожило бы П., если бы я процитировал ему Жюля Ренара («Дневник», 26 января, 1906): «Я рад поверить во все, что вы предлагаете, однако справедливость этого мира не сильно убеждает меня в справедливости мира грядущего. Боюсь, что Бог продолжит грубо ошибаться: Он приветит в раю порочных, а праведных выпихнет в ад». Однако дилемма моего друга П. — не знаю никого, кто делает такие точные и горькие прикидки относительно своей возможной загробной жизни, — заставляет меня пересмотреть то, чего я всегда легковесно придерживался (и делал это лишь две страницы назад). Агностики и атеисты, наблюдающие за религией со стороны, склонны презирать вялое следование догме. В чем

тогда смысл веры, если вы с ней не серьезны — *по-серьезному* серьезны, — если ваша религия не наполняет, не направляет, не окрашивает и не поддерживает вашу жизнь? Однако эта «серьезность посвященья» в большинстве религий однозначно оборачивается наказаниями. И получается, что мы желаем другим то, что едва ли пожелали бы себе.

Серьезность посвященья: я бы, например, не хотел родиться в Папской области еще в 1840-е. Образованию препятствовали, так что только два процента умели читать, всем заправляли священники и тайная полиция, «мыслители» любого толка считались опасным сословием, в то время как «недоверие к чему бы то ни было несредневековому привело Григория XVI к запрету на внедрение железных дорог и телеграфа в его владениях». Нет, все это выглядит «серьезным» совсем не так, как надо. А затем еще есть мир, предписанный Пием IX в 1864 году в «Списке важнейших заблуждений нашего времени», где он обосновывал власть церкви над всей наукой, культурой и образованием, отказывая в свободе вероисповедания другим конфессиям. Нет, такого я бы тоже не желал. Сначала приходят за раскольниками и еретиками, потом за иноверцами, а затем — за такими, как я. А уж быть женщиной практически в любой вере…

Религия стремится к авторитаризму, как капитализм стремится к монополизму. И если вы думаете, что папы легкая, сидящая на троне мишень, возьмем самого ярого и знаменитого антипаписта: Робеспьера. Неподкупный впервые стал известен в масштабах страны в 1789 году благодаря своей резкой критике католической церкви, погрязшей в роскоши и суетности. В выступлении перед Генеральными Штатами он убеждал духовенство вернуться к аскезе и добродетели раннего христианства, естественным образом продав имущество и раздав вырученные средства бедным. Он давал понять, что если Церковь проявит упорство, Революция с радостью поможет в этом вопросе.

Подавляющее большинство вождей Революции были атеистами или серьезными агностиками, и новое государство быстро избавилось от католического Бога и его местных представителей. Робеспьер, однако, был исключением, деистом, который считал атеизм чуть ли не безумием для общественного деятеля. В его речах политика переплеталась с теологией. Он велеречиво заявлял, что «атеизм аристократичен», в то время как идея Высшего Существа, которое следит за людской невинностью и охраняет нашу добродетельность — и, предположительно, с улыбкой наблюдает за рубкой недобродетельных голов, — «демократична целиком и полностью». Робеспьер даже (всерьез) цитировал (ироничный) афоризм Вольтера: «Если бы Бога не

было, его следовало бы придумать». Из всего этого можно было бы заключить, что когда Революция введет усовершенствованную систему верований, в ней удастся избежать крайностей того, чему она приходит на замену: что она будет рациональной, прагматичной, даже либеральной. Но к чему привело изобретение нового сверкающего Высшего Существа? В начале Революции Робеспьер руководил убийствами священников, к ее концу он руководил убийствами атеистов.

В двадцать лет я много читал Сомерсета Моэма. Я восхищался его ясным пессимизмом и обширной географией его рассказов и романов, равно как и его здравыми рассуждениями об искусстве и жизни в таких сочинениях, как «Подводя итоги» и «Записные книжки». Мне нравилось, как меня провоцирует и поражает его откровенный и умудренный цинизм. Я не завидовал писательским деньгам, смокингам или дому на Ривьере (хотя не отказался бы от его коллекции искусства), но я завидовал его знанию мира. Я сам знал в этом смысле крайне мало и стыдился своего невежества. На втором курсе Оксфорда я решил отказаться от современных языков в пользу более «серьезных» занятий философией и психологией. Мой преподаватель французского, благодушный исследователь Маларме, вежливо поинтересовался о причинах такого решения. Я привел ему две. Первая была прозаична (в буквальном смысле — каждую неделю приходилось перемалывать кирпичи английской прозы на французский и наоборот), вторая — более поразительной. Как, спросил я его, можно ждать от меня хоть какого-то понимания или осмысленных мнений о пьесе наподобие «Федры», когда описанные в ней вулканические чувства знакомы мне лишь поверхностно? Он ответил мне с профессорской усмешкой: «А кому не поверхностно?»

В то время я хранил коробку с зелеными карточками, на которые выписывал эпиграммы, остроты, отрывки диалогов и мудрые мысли, достойные копирования. Некоторые из них сегодня поражают меня своей кричащей банальностью, до которой так охоча молодежь (что неудивительно), хотя есть там и такое, из французского источника: «Советы пожилых подобны зимнему солнцу: светят, но не греют». Учитывая, что я достиг возраста, когда сам могу давать советы, я нахожу это высказывание глубоко верным. Еще там были два прозорливых высказывания Моэма, которые эхом вернулись ко мне через много лет, вероятно потому, что я продолжал вести с ними спор. Первым было утверждение, что «красота скучна». Второе, из 77-й главы «Подводя итоги» (сообщает мне зеленая карточка):

«Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить»[26]. Я не помню свою тогдашнюю реакцию на это, но подозреваю, что она могла быть: «Говори за себя, старик».

Моэм был агностиком, считавшим, что лучше всего проводить жизнь с шутливой обреченностью. В «Подводя итоги» он перебирает разные неубедительные аргументы — первопричина, замысел, совершенство, — которые убеждали других в существовании Бога. На его взгляд более приемлем долгое время непопулярный довод *e consensu gentium*, «по общему соглашению». С самого начала человеческой истории подавляющее большинство людей, включая величайших и мудрейших, из совершенно разных культур, питали некую веру в Бога. Как настолько широко распространенный порыв может быть не утолен?

Несмотря на всю свою житейскую мудрость и знание мира — а также на славу и деньги, — Моэм не смог сохранить дух ироничной обреченности. Его старость была далеко не безмятежной: сплошные мстительность, бес в ребро и злобные переписывания завещания. Его тело продолжало работать с живостью и похотью, но его сердце ожесточилось и сознание пошатнулось; он превратился в бессмысленного богатея. Если бы он захотел приписать добавочный пункт к собственному (безрадостному, неласковому) заключению, это могло бы быть следующее: дополнительная трагедия жизни в том, что мы умираем не вовремя.

Пока Моэм еще был ясен умом, он организовал встречу, от которой, увы, не осталось ни подробных стенограмм, ни даже обрывочных записей. В эпоху набожности князья и зажиточные горожане любили приглашать священника с прелатом, чтобы те уверяли их в неоспоримости рая и воздаяния за их молитвы и денежные подношения. Агностик Моэм сделал противоположное: он пригласил А. Дж. Айера, самого модного и в научных, и в светских кругах философа того времени, чтобы тот убедил его в окончательности смерти, в том, что за ней не будет ничего, ничто. Потребность в таком убеждении можно объяснить одним местом в «Подводя итоги». Там Моэм рассказывает, как в молодости потерял веру, но на некоторое время все-таки сохранил страх ада, который пришлось вытеснять еще одним метафизическим усилием. Вероятно, он по-прежнему в тревоге озирался по сторонам.

Для этого непыльного дела, при всей его странности и пикантности, Айер с женой, писательницей Ди Уэллс, прибыли на виллу Мореск в апреле 1961-го. Если бы это был рассказ или

пьеса, два главных героя начали бы прощупывать друг друга, в попытках установить правила общения; затем повествование перешло бы в декорации кабинета Моэма, возможно, на второй вечер после ужина. Бокалы бренди были бы наполнены, взболтаны и поднесены к носу; мы могли бы оснастить Моэма сигарой, а Айера пачкой французских сигарет желтой бумаги. Писатель мог бы перечислить причины, по которым он давно перестал верить в Бога; философ подтвердил бы их безошибочность. Писатель мог бы сентиментально привести аргумент *e consensu gentium;* философ с улыбкой развенчал бы его. Писатель мог бы полюбопытствовать, не возможен ли, даже без Бога, парадоксальным образом ад; философ — отметив про себя, что подобный страх мог бы означать остаточную гомосексуальную вину, — разубедил бы его. Бокалы бренди были бы наполнены снова, а затем, под занавес (и чтобы оправдать билеты на самолет), философ обрисовал бы новейшие и самые логичные доказательства отсутствия Бога и конечности жизни. Писатель с легкой неустойчивостью поднялся бы, стряхнул пепел с лацканов смокинга и предложил присоединиться к дамам. Вернувшись к столу, Моэм выразил бы глубокое удовлетворение и остаток вечера вел себя весело, почти игриво; супруги Айер обменялись бы понимающими взглядами.

Профессиональный философ, рассматривая эту воображаемую сцену, мог бы возразить против грубого упрощения фактической точки зрения Айера. Викенгемский профессор считал весь религиозный дискурс по сути неверифицируемым; для него утверждение «Бога нет» было так же бессмысленно, как и утверждение «Бог есть», — ни то ни другое не поддается философскому доказательству. В ответ писатель мог бы сослаться на литературную необходимость, а также посчитать, что раз Айер имел дело с непосвященным, который к тому же платит, можно было и не вдаваться в подробности.

Но поскольку это жизнь или, скорее, ее остатки, ставшие доступными биографам, у нас нет подтверждения такого приватного разговора. Возможно, состоялось короткое компанейское увещевание за завтраком. Из этого получился бы еще лучший рассказ (но не пьеса): с Великим Вопросом разобрались в несколько фраз под звон посуды, возможно с контрапунктом в виде параллельного обсуждения распорядка дня: кто хочет поехать в Ниццу по магазинам и куда именно на Ривьере моэмовский «роллс-ройс» повезет их на обед. Но в любом случае необходимая беседа как-то состоялась, Айер с женой вернулись в Лондон, а Моэм после этой редкой светской исповеди продолжил свой путь к смерти.

Несколько лет назад я переводил записную книжку Альфонса Доде, которую он начал вести, когда осознал, что его сифилис достиг третичной стадии и неминуемо сведет его в гроб. В какой-то момент он начинает прощаться с любимыми: «Прощайте, жена, дети, семья, дорогие моему сердцу…» А затем добавляет: «Прощай, я, милый сердцу я, теперь уже тающий, едва различимый». Интересно, можно ли как-то заранее попрощаться с самим собой. Можем ли мы утратить или хотя бы истончить несгибаемое чувство уникальности, чтобы меньше переживать ее исчезновение. Парадокс заключается в том, что этот же «я» занимается истончением. Так же как мозг — единственный инструмент, при помощи которого мы можем исследовать устройство мозга. Так же как теория «смерти автора» была неизбежно сформулирована… автором.

Утратить или хотя бы истончить «я». Тут предлагаются две уловки. Первая — спросить, чего стоит это «я» в мировом масштабе. Зачем вообще Вселенной мое нескончаемое существование? Этому «я» уже отвалили несколько десятилетий жизни, в большинстве случаев уже появилось потомство; неужели важность этого «я» в достаточной мере оправдывает еще хоть сколько-нибудь лет? Далее, подумайте, насколько скучным стало бы это «я» (сравните Бернарда Шоу, автора «Назад к Мафусаилу», и пожилого Бернарда Шоу, неисправимого позера и хвастуна). Вторая уловка: взгляните на смерть «я» глазами других. Не тех, кто будет скорбеть и тосковать по вам; или тех, кто может случайно услышать о вашей смерти и на секунду поднять бокал; или даже тех, кто сказал бы «Вот и славно!», или «Он мне никогда не нравился», или *«Ужасно* переоцененный». Вместо этого взгляните на смерть «я» глазами тех, кто о вас никогда не слышал, — а это, в конечном итоге, практически все. Умер неизвестный: скорбят немногие. Таким обязательно будет наш некролог в глазах всего мира. Так кто мы такие, чтобы эгоистично капризничать и скандалить?

Такие невеселые соображения могут на короткое время быть убедительны. Я практически уговорил себя, пока писал предыдущий абзац. Только вот безразличие мира редко умаляет чей-либо эгоизм. Только вот мнение Вселенной о нашей ценности редко совпадает с нашим собственным. Только нам сложно бывает поверить, что, если бы мы продолжили жить, мы бы наскучили и себе и другим (что ограничено количество иностранных языков и музыкальных инструментов, которые можно было бы освоить, профессий — попробовать, стран — пожить и людей — любить, что после этого нам всегда остается

танго, беговые лыжи и акварельки…). А другая загвоздка в том, что как только вы задумываетесь о собственной индивидуальности, которую оплакиваете заранее, это тут же усиливает ваше чувство индивидуальности; так вы роете себе еще большую яму, которая со временем станет вашей могилой. Самое искусство, которым я занимаюсь, противоречит идее умиротворенного прощания с истончившимся «я». Какой бы ни была эстетическая платформа писателя — от субъективной и автобиографичной до объективной и скрывающей автора, — чтобы создать произведение, «я» должно усилиться и заиграть красками. Так что можно сказать, что, составляя это предложение, я еще чуть-чуть осложняю свой уход.

Или можно сказать: да ладно тебе — умри себе, на хрен, и забери с собой свое тлетворное творческое «я». Сейчас последнее Рождество перед моим шестидесятилетием, а несколько недель назад вебсайт *belief.net* («Познакомьтесь с неженатыми и незамужними христианами в своем районе», «Ежедневные советы по здоровью и счастью в вашем почтовом ящике») задал вопрос Ричарду Докинзу — или, как прозвали его подписчики сайта, «Мистеру Бессмысленность» — про отчаяние, которое у некоторых людей вызывает смысл дарвинизма. Он отвечает: «Если это действительно приводит людей в отчаянье, то ничего не поделаешь. Вселенная не должна нам ни сочувствия, ни утешения; она не должна нам теплого чувства внутри. Если это так, это так, привыкайте». В общем, умирайте, на хрен. Разумеется, Докинз прав в своих рассуждениях. Но Робеспьер тоже был прав: атеизм аристократичен. И высокомерный тон напоминает бескомпромиссных христианских охранителей старой закалки. Бог придумал Вселенную не для твоего удобства. Не нравится? Ничего не поделаешь. Ты, некрещеная душа, — в чистилище. Ты, онанист-богохульник — прямиком в ад, без возвращения на «Старт», и «Выхода из тюрьмы» не будет никогда. Ты, муж-католик, — сюда; вы, дети-вероотступники и жена, гостившая у атеиста Айера, — туда. Удобства ноль. Жюль Ренар воображал себе как раз такого солдафонского Бога, который постоянно напоминал бы тем, кто все-таки попал в рай: «Вас сюда не развлекаться позвали!»

Пора повзрослеть, говорит Докинз. Бог — воображаемый друг. Умер, значит, умер. Если хотите неземного восторга и благоговения, разглядывайте в телескоп Млечный Путь. А сейчас вы подносите к свету детский калейдоскоп и притворяетесь, будто это Бог поместил туда разноцветные камушки.

Пора взрослеть. 17 июля 1891 года Доде и Эдмон де Гонкур отправились на утреннюю прогулку, где обсуждали минимальную

вероятность загробной жизни. Как мы, он и не мечтал снова увидеть своего покойного любимого брата Жюля; Эдмон был уверен, что «в смерти мы уничтожаемся полностью», будучи «эфемерными созданиями, которые живут только на несколько дней дольше, чем те, что живут один день». Затем он привел оригинальный довод, один из многих, подобных *e consensu gentium* Моэма, но с противоположным выводом: даже если бы Бог и был, ожидание, что он предоставит второе, посмертное существование каждому представителю человеческой расы, ставило бы перед Ним слишком большую бухгалтерскую задачу.

Это, может быть, скорее остроумно, чем убедительно. Если мы вообще соглашаемся с наличием Бога, я бы предположил, что способность запомнить, внести в списки, позаботиться о каждом из нас (и воскресить) — это, прямо скажем, наименьшее из предполагаемых служебных обязанностей. Нет, более убедительный аргумент происходит не от несостоятельности Бога, а от нашей собственной. Как сформулировал Моэм в первой записи 1902 года из «Записных книжек»: «Мне кажется, что люди, обычные заурядные люди, никак не соответствуют грандиозной идее вечной жизни. Со своими ничтожными страстишками, мелкими добродетелями и пороками они вполне на месте в повседневности бытия; но идея бессмертия слишком величественна, она не вмещается в форму столь скромного размера».

Перед тем как стать писателем, Моэм учился на врача и был свидетелем того, как пациенты умирали: «Мне случалось наблюдать человеческую смерть, и мирную и трагическую, и ни разу я не заметил в последний миг ничего, что наводило бы на мысль о бессмертии души. Человек умирает так же, как умирает собака»[27].

Возможные возражения: 1. Собаки тоже твари Божьи (кроме того, что по-английски они Его анаграмма[28]). 2. Зачем врачу, который занят телом, замечать, где дух? 3. Почему людская несостоятельность должна исключать возможность загробной жизни духа? Кто мы такие, чтобы решать, что мы недостойны? Разве весь смысл не в надежде на исправление, на спасение через милость Божью? Конечно, мы существа так себе, конечно, есть куда расти и расти, но разве не в этом смысл — или зачем тогда рай? Резервный плацдарм Зингера: «Если такое существование предусмотрено…»

Но Моэм прав: мы умираем так же, как умирают собаки. Или, скорее, — учитывая успехи медицины с 1902 года — мы умираем так, как могут умирать ухоженные, усыпленные собаки с хорошей страховкой. Но все равно по-собачьи.

В моем пригородном детстве у нас был черно-белый бакелитовый радиоприемник, чьи ручки нам с братом не разрешали трогать. Обычно папа отвечал за включение аппарата, его настройку и своевременную подготовку к работе. Потом он мог повозиться со своей трубкой, уминая в ней табак, перед тем как добыть неровный огонек, чиркнув короткой спичкой. Мама тогда бросала свое вязание и могла свериться с радиопрограммкой в суперобложке тисненой кожи. Затем приемник начинал выдавать сбалансированные мнения участников «Любых вопросов»: красноречивых депутатов парламента, по-житейски опытных епископов, профессиональных интеллектуалов, вроде А. Дж. Айера, и мудрецов-самоучек. Мама успевала отметить каждого галочками — «Дело говорит» или крестиками — от «Идиот!» до «Расстрелять его мало!». В другой день приемник извергал передачу «Критики», где команда лощеных эстетов со знанием дела бубнила про пьесы, которые мы никогда не увидим, и книги, которые никогда не появлялись у нас дома. Мы с братом слушали это, потрясенные скукой, не только текущей, но и ожидаемой: если такой обмен мнениями составлял суть взрослой жизни, то она представлялась не только недостижимой, но и активно нежелательной.

В моей загородной юности у радиоприемника появился соперник: огромный телевизор, купленный б/у на аукционе. Весь в ореховом дереве, с двойными створками во всю длину, скрывающими его назначение, он был размером с гардероб карлика и сжирал очень много мебельной полировки. На нем лежала семейная Библия, такая же несуразно огромная и обманчивая, поскольку это была семейная Библия чужой семьи, с их, а не нашим древом на форзаце. Ее тоже купили на аукционе и открывали, только когда папа весело сверялся с ней для решения кроссворда.

Стулья теперь были расставлены иначе, но ритуал оставался неизменным. Трубка раскуривалась, а шитье откладывалось в сторону, или, возможно, маникюрный набор: пилочка для ногтей, жидкость для снятия лака, шелк для ногтей, основа, покрытие.

Запах грушевых драже иногда возвращает меня к авиамоделированию, но чаще — к маминому маникюру. В особенности к одному символичному эпизоду из моей юности. Мы с родителями смотрели интервью с Джоном Гилгудом или, скорее, смотрели, как он беззаботно превращает любой вопрос собеседника в трамплин для пространных баек, пышущих самоиронией. Родители любили театр от самодеятельности до Уэст-Энда и, конечно же, видели божественного Гилгуда уже

несколько раз. На протяжении полувека его голос был одним из прекраснейших инструментов лондонской сцены: голос не грубой силы, но изысканной изменчивости, каким моя мать могла бы восторгаться не только как зритель. И вот пока Гилгуд излагал одно из своих изощренных и немного дурашливых воспоминаний, я обратил внимание на тихий, но настойчивый шум, как будто папа втихаря пытался зажечь спичку, но никак не мог это сделать. Скрипучие чирканья следовали одно за другим, звуковое граффити царапало голос Гилгуда. Это, разумеется, моя мать опиливала ногти.

Гардероб карлика был интересней, чем радиоприемник, потому что в нем были вестерны-сериалы: в первую очередь «Одинокий рейнджер», но также и «Истории “Уэллс-Фарго”» с Дейл Робертсон. Родители отдавали предпочтение взрослым дракам вроде шестисерийного «Маршал Монтгомери командует сражением», где генерал объяснял, как он гнал немцев из Северной Африки по всей Европе до их капитуляции на Люнебургской пустоши, или где, как это недавно вспоминал мой брат, «маленький жуткий Монти выделывается по черно-белому». Была еще передача «Мозговой трест», такая аспирантская — то есть еще более идиотская — версия «Любых вопросов», также с А. Дж. Айером. Более дружно семья смотрела программы про природу: Арманд и Микаэла Денис с их задорным бельгийским акцентом и куртками для пустыни, состоявшими из одних карманов, капитан Кусто с его лягушачьей лапкой, Дэвид Аттенборо, пыхтящий в зарослях. В те времена зрителям приходилось многое домысливать, поскольку монохромные твари передвигались, пользуясь маскировкой, по монохромным джунглям, саванне или морскому дну. Теперь-то мы шикуем, избалованные цветом и крупными планами, наблюдая с позиции Бога всю сложность и красоту избавленной от Бога Вселенной.

Последнее время в моде императорские пингвины, кино- и телеголоса за кадром убеждают нас в антропоморфизме. Как же не умиляться беспомощности, с которой они ходят на двух ногах? Смотрите, как они любовно устраиваются друг у друга на груди, крутят драгоценное яйцо между родительских ног, разделяются в совместных поисках еды, так же как мы в супермаркете. Смотрите, как вся группа сбивается вместе, противостоя снежной буре и демонстрируя социальный альтруизм. Разве эти лелеющие яйцо, распределяющие обязанности, совместно воспитывающие потомство, сезонно моногамные императоры Антарктики странным образом не напоминают нас? Возможно; но ровно настолько, насколько мы нестранным образом напоминаем их. Мы так же, как они, можем сойти за тварей Божьих притом, что

все дело в кнуте и прянике неумолимых потребностей эволюции.

А раз это так, что — опять-таки — нам делать с предположением, будто восхищение природной, но пустой Вселенной служит полной заменой восхищения трудами воображаемого друга, которого мы сами себе создали? Когда как вид мы пришли к эволюционному самосознанию, мы уже не можем обратно стать пингвинами или кем-либо еще. Раньше восхищение выражалось благодарственным лепетом про щедрость Создателя или перистальтическим ужасом от Его невероятной способности наводить страх и трепет. Теперь, в одиночестве, нам предстоит понять, для чего может служить наше безбожное восхищение. Оно не может остаться самим собой, только более чистым и беспримесным. У него должна быть какая-то функция, какая-то биологическая польза, практическая спасающая или продлевающая жизнь цель. Возможно, оно для того, чтобы помочь нам найти новое место обитания, когда мы уже непоправимо загадим нашу планету. Но все равно, как может редуктивизм не упрощать?

Вопрос и парадокс. Наша история представляет собой последовательный, пусть и неровный рост индивидуализма: от животных стад, от рабского общества, от полчищ неграмотных крестьян, которыми помыкали король и священник, к менее определенным группам, где у индивида больше прав и свобод — право на стремление к счастью, частные мысли, самореализацию, на потакание своим слабостям. Но теперь, когда мы сбросили иго короля и священника, когда наука помогает нам вернее понять условия, на которых мы живем, когда наш индивидуализм выражается все вульгарней и эгоистичней (а для чего еще нужна свобода?), мы обнаруживаем, что эта индивидуальность, или иллюзия индивидуальности, не то, что мы себе представляли. Мы обнаруживаем, к удивлению, что мы, как замечательно сформулировал Докинз, «машины для выживания — роботы, слепо запрограммированные на сохранение эгоистичных молекул, известных как гены». Парадокс в том, что индивидуализм — триумф вольнодумных художников и ученых — привел нас к осознанию, что мы можем считать себя винтиками в генетической иерархии. Мои юношеские представления о строительстве собственной личности — эта неуловимая, очень английская, экзистенциально самолюбивая мечта о независимости — были страшно далеки от истины. Я думал, тягостное взросление приводит к тому, что человек наконец оказывается сам себе господин: *homo erectus* в полный рост, *sapiens* во всей свой разумности — парень с хлыстом, щелкающим им, как ему заблагорассудится. Эту картинку (а я немного подпустил

картинности — такие мысли и образы всегда носили временный и необязательный характер) должно теперь заменить понимание, что не только мне не пощелкать хлыстом, но я сам расположился на его кончике, а щелкает мной длинная и неотвратимая цепочка генетического материала, с которым никак не поспоришь. Мою «индивидуальность» по-прежнему можно почувствовать и доказать генетически, однако она, возможно, оказалась полностью противоположной моим тогдашним представлениям о ней.

Это парадокс, а вот вопрос. Мы взрослеем, мы меняем старое восхищение на новое — восхищение процессом, который вслепую, наудачу привел к нашему возникновению; нас это не угнетает, как кого-то, а «приводит в восторг», как Докинза; мы получаем удовольствие от того, что Докинз перечисляет среди смыслов жизни: музыки, поэзии, секса, любви (и науки), — возможно, попутно упражняясь в шутливой обреченности, приверженцем которой был Сомерсет Моэм. Мы проделываем все это, но помогает ли это нам умирать? Умрете ли вы, я, Ричард Докинз лучше, чем наши генетические предки сотни и тысячи лет назад? Докинз выразил надежду: «Когда я буду умирать, я хотел бы, чтобы жизнь удалили у меня под общим наркозом, ровно как воспаленный аппендикс». Достаточно недвусмысленно, хотя и незаконно; но смерть обладает привычкой строптиво отказывать нам в решениях, которые мы себе придумали.

С медицинской точки зрения — и в зависимости от того, где на планете мы проживаем, — мы действительно можем умереть лучше и не так по-собачьи. Вынесем это за скобки. Туда же вынесем все, что мы можем спутать с хорошей смертью: например, отсутствие сожалений или огорчений. Если нам все здесь нравилось, если мы позаботились о тех, кто от нас зависит, и нам мало о чем грустить, тогда не так нестерпимо оглядываться на прожитую жизнь. Но это не то же самое, что смотреть вперед, на то, что непосредственно перед вами: полное исчезновение. Может ли это у нас получаться лучше?

Не понимаю как. Не понимаю, отчего наш ум или самоанализ должны идти нам на пользу, а не во вред. Зачем этим генам, в рабской покорности которым мы пребываем, избавлять нас от страха? Какая им от этого выгода? Предположительно, мы страшимся смерти не просто так, а поскольку нам это небесполезно — или небесполезно для наших эгоистичных генов, которые не передадутся дальше, если мы будем недостаточно бояться смерти, если мы поддадимся на уловку замаскированного тигра, как это делали другие, или съедим вот это горькое растение, которое наши вкусовые рецепторы научили нас (или,

скорее, научились сами путем смертельных проб и ошибок) избегать. Какую мыслимую пользу или преимущество может дать наше предсмертное спокойствие этим новым хозяевам?

«Должно соответствовать своей судьбе, то есть быть столь же равнодушным. Только приговаривая “Так и есть! Так и есть!” и заглядывая в разверзнувшуюся у ног черную бездну, можно сохранять спокойствие». Флобер рано приобрел опыт разглядывания бездны. Его отец был хирургом; семья жила прямо над больницей; Ахилл Флобер часто садился за обеденный стол сразу после операционного. Мальчиком Гюстав забирался на садовую шпалеру и подглядывал за тем, как отец учил студентов-медиков препарировать трупы. Он видел тела, облепленные мухами, и студентов, которые небрежно клали зажженные сигары на разделанные ими туловища и конечности. Ахилл поднимал глаза, замечал в окне лицо сына и отгонял его взмахом скальпеля. Позднеромантическая болезненность проникла в юность Гюстава, но он никогда не утрачивал реалистической потребности смотреть на то, от чего другие отворачивали взгляд. Это был и человеческий, и писательский долг.

В апреле 1848 года, когда Флоберу было двадцать шесть, умер литературный друг его молодости Альфред ле Пуатвен. В частной записке, которая была опубликована совсем недавно, Флобер отразил, как он наблюдал эту смерть и наблюдал за собой, наблюдающим ее. Он провел у постели мертвого друга две ночи подряд; он отрезал локон для юной вдовы ле Пуатвена, он помогал заворачивать тело в саван, он слышал вонь разложения. Когда из похоронного бюро привезли гроб, он поцеловал друга в висок. Десять лет спустя он помнил этот момент: «Когда однажды поцеловал мертвеца в лоб, потом на губах всегда остается что-то, отдаленная горечь, послевкусие пустоты, которое ничто не может стереть».

У меня от целования матери в лоб совсем другие впечатления, но я был вдвое старше Флобера и, возможно, горечь уже была на моих губах. Через двадцать один год после смерти ле Пуатвена умер Луи Буйе, литературный друг зрелости Флобера; и снова он записывает свои действия и реакцию. Он был в Париже, когда узнал о случившемся, он вернулся в Руан, отправился в дом Буйе и обнял гражданскую жену мертвого поэта. Можно было бы предположить — если разглядывание бездны помогает, — что благодаря предыдущему опыту этот раз пройдет легче. Однако Флобер обнаружил, что не в силах смотреть, сидеть рядом, обнимать, заворачивать в саван или целовать друга, который был ему так близок, что он однажды назвал его «моим левым яичком».

Он провел ночь в саду, проспав несколько часов на земле, и избегал присутствия друга, пока закрытый гроб не вынесли из дома. В записке он специально сравнивает свое поведение при столкновении с этими двумя смертями: «Я не осмеливался смотреть на него! Я слабее, чем был двадцать лет назад… Мне недостает внутренней прочности. Я *никуда не гожусь».* Разглядывание бездны привело Флобера не к спокойствию, а к нервному изнеможению.

Когда я переводил заметки Доде о смерти, два моих друга не сговариваясь предположили, что эта работа должна приводить в уныние. Отнюдь нет: меня этот пример надлежащего, зрелого разглядывания бездны — правильной перспективы, точных формулировок, отказа как возвеличивать, так и опошлять смерть — очень взбодрил. Когда в пятьдесят восемь лет я издал сборник рассказов, имеющих отношение к менее безмятежным аспектам старости, меня спрашивали, не слишком ли рано я заинтересовался такими вопросами. Когда я показал первые пятьдесят страниц настоящей книги своей близкой и внимательно читающей подруге Г., она озабоченно спросила: «Помогает?»

Эх, терапевтическо-автобиографическое заблуждение. Несмотря на лучшие намерения, меня оно раздражает так же, как гипотетические желания покойных — моего брата. Что-то плохое стряслось в вашей жизни — или, в случае смерти, намечается; вы об этом пишете; вам становится лучше при мысли об этом плохом. Могу себе представить, что это помогает в каких-то мелочах. Жюль Ренар, «Дневник», 26 сентября 1903 года: «Красота литературы. У меня умирает корова. Я пишу о ее смерти и зарабатываю этим на новую корову». Но применимо ли это в более широком смысле? Возможно, если речь идет об автобиографиях определенного типа: у вас было тяжелое детство, вас никто не любит, вы пишете об этом, у книги успех, вы получаете кучу денег, и вас теперь любят. Трагедия со счастливым концом! (Хотя на каждую такую голливудскую развязку должно приходиться несколько и таких: у вас было тяжелое детство, никто вас не любит, вы пишете об этом, книгу не хотят печатать, и вас по-прежнему никто не любит.) Но в художественной литературе и других искусствах, преобразующих действительность? Не понимаю, отчего так должно быть или отчего автору стремиться к этому.

Брамс описал свои поздние фортепианные интермеццо как «колыбельные всех моих слез». Но мы не верим, что они служили для него носовым платком. И от того, что я пишу о смерти, мой страх не становится ни меньше ни больше. Хотя когда я

пробуждаюсь как громом пораженный в обволакивающей и не сулящей ничего хорошего темноте, я пытаюсь обмануть себя тем, что здесь есть хотя бы одно временное преимущество. Это не просто очередная вспышка *timor mortis*[29], говорю я себе. Это сбор материала для книги.

Флобер сказал: «Всему нужно учиться — учиться говорить так же, как учиться умирать». Но в последнем у нас маловато практики. Также мы стали более скептично относиться к образцовым смертям, вроде описанных у Монтеня: сценам, в которых демонстрируется достоинство, отвага и забота об окружающих, произносятся последние слова утешения и мрачное действие не перебивается фарсом. Доде, например, умер за собственным обеденным столом, в окружении семьи. Он съел несколько ложек супа и весело болтал про пьесу, над которой работал, когда раздался смертельный хрип и он отвалился на стуле. Это официальная версия, и выглядит все похоже на определение *une belle mort*[30], данное его другом Золя: быть моментально раздавленным, как насекомое — гигантским пальцем. Однако в некрологах не написано то, что произошло сразу после. Прибыли два врача и полтора часа — *полтора часа* — пытались оживить его искусственным дыханием, которое, как было принято тогда, заключалось в ритмичном растягивании языка. Когда, что неудивительно, это не помогло, они с тем же успехом переключились на примитивную форму электрической дефибрилляции.

Я вижу здесь грубую профессиональную иронию — Доде сделал себе имя благодаря *langue*[31], и его *langue* врачи дергали, пытаясь спасти ему жизнь. Возможно, он бы это (только это) оценил. Думаю, что до того, как он умер, это была хорошая смерть — за исключением, разумеется, предварявших ее мучений от третичного сифилиса. Жорж Санд умерла просто, ясно, воодушевляюще, в пасторальном уюте своего дома в Ноанте, глядя в окно на деревья, которые сама посадила за много лет до того. Это тоже была хорошая смерть — если не считать боли от неизлечимого рака. Я скорее поверю в хорошую смерть Жоржа Брака, поскольку она похожа на то, как выглядит его искусство (хотя, возможно, это сентиментально). Его смерть отличалась «спокойствием, достигнутым за счет самообладания, а не апатии». Ближе к концу, когда он периодически терял сознание, он попросил свою палитру и умер «без мучений, спокойно, до последнего мгновения уставившись на деревья в саду, самые высокие ветки которых были видны из окна его студии».

Я не рассчитываю на такую удачу или такое спокойствие. Смотреть на посаженные тобой деревья? Я в жизни посадил

только одно фиговое дерево и куст крыжовника, и ни того ни другого не видно из окна спальни. Попросить мою палитру? Полагаю, меня ослушаются, если я в свои последние минуты попрошу принести мою печатную машинку, «IBM 196c», которая весит столько, что врядли жена сможет ее поднять. Наверное, я, скорее, умру, как умер мой отец, в больнице, глубокой ночью. Предположительно медсестра или врач скажут, что я только что «отошел» и что кто-то сидел со мной до конца, независимо от того, как будут обстоять дела. Предположительно моему отходу будут предшествовать жестокая боль, страх и раздражение от неточных слов или эвфемизмов, которые будут произносить в моем присутствии. Надеюсь, что кому бы ни передали тюк с моей одеждой, он не обнаружит там неношеные коричневые тапки на липучке. Возможно, мои брюки будут проводить время на парковой скамейке или в мрачном хостеле еще год-два после моей смерти.

Я обнаружил это в своем дневнике, который вел двадцать и более лет назад:

> О смерти говорят: «Нечего бояться». Говорят это быстро, небрежно. А теперь давайте произнесем еще раз, медленно, сместив ударение. «НЕЧЕГО бояться». Жюль Ренар: «Самое верное, самое точное, самое осмысленное слово — это “ничто”».

Когда мы отпускаем свое сознание бродить по обстоятельствам нашей смерти, нас как магнитом тянет в сторону худшего или лучшего исхода. В мои худшие фантазии обычно входят заточение, вода и отрезок времени, в течение которого мучительно ждешь неминуемого уничтожения. Например, существует сценарий перевернувшегося парома: воздушные карманы, темнота, медленно поднимающаяся вода, орущие от ужаса товарищи по несчастью и конкуренция за оставшийся воздух. Есть еще и одиночный вариант: когда лежишь связанным в багажнике машины (возможно, собственной), на которой похитители ездят от банкомата к банкомату, пока наконец не получают отказ по кредитной карте, затем головокружительное падение с берега реки или морского утеса, всплеск, жадное бульканье стремящейся к тебе воды. Или же аналогичный, пусть и более невероятный вариант, связанный с дикой природой: крокодил хватает за ногу, тащит под воду, ты теряешь сознание, приходишь в себя уже в логове рептилии на уступе над уровнем моря и понимаешь: ты только что превратился в ждущее известно чего содержимое крокодильей кладовой. (А так бывает, если что.)

Лучший вариант в моих мечтах всегда крутился вокруг медицинского диагноза, которые оставлял бы мне времени и ясности ума как раз, чтобы написать ту самую последнюю книгу. Хотя я еще не придумал, будет это художественное произведение или нон-фикшн, первое предложение я запланировал и записал много лет назад. «Давайте сразу разберемся со смертью». Но какой врач поставит вам диагноз, отвечающий вашим литературным требованиям? «Боюсь, есть хорошая новость и плохая». — «Доктор, скажите начистоту, мне нужно знать. Сколько еще?» — «Сколько? Я бы сказал, страниц двести… двести пятьдесят, если повезет или будете быстро работать».

Нет, все произойдет иначе, так что лучше закончить книгу до диагноза. Конечно же, есть и третья возможность (которую я не упускаю из внимания с первой страницы): вы начинаете книгу, вы написали уже половину, практически до этого места — и вот диагноз! Возможно, к настоящему моменту рассказ подрастерял свою интригу, но тут появляется боль в груди, обморок, рентген, томография… Не будет ли это выглядеть немного натянуто? (Собрание читательского клуба. «А я всегда знал, что он умрет в конце — ну после конца, правда ведь?» — «Нет, я думал, может, он блефует. Я даже не был уверен, что он болеет. Я думал, это вроде, как это называется, метаромана?»)

Наверное, все будет и не так. Воображая собственную смерть, в лучшем или в худшем варианте, мы склонны представлять себе ясное умирание: ты полно (слишком полно) осознаешь то, что происходит, ты в силах и доносить свои мысли, и понимать окружающих. Как точно мы можем представить себе смерть — и долгую подводку к ней — в состоянии, когда не понимаешь, что именно происходит и что тебе говорят? С теми же болью и страхом, разумеется, но теперь еще с сумятицей вдобавок. Не узнавая людей, не понимая, кто жив, а кто умер, не зная, где ты. (Но так же трясясь от страха.) Я навещал в больнице свою пожилую душевнобольную подругу. Она поворачивалась ко мне и нежным, довольно светским голосом, который я когда-то так любил, говорила что-нибудь вроде: «Я считаю, тебя будут помнить как одного из худших преступников в истории». Затем мимо проходила медсестра, и настроение быстро менялось. «Разумеется, — заверяла меня подруга, — горничные здесь чудовищно милы». Иногда я пропускал эти замечания мимо ушей (ради нее, ради себя), иногда (ради нее, ради себя) поправлял ее: «Вообще-то здесь медсестры». Подруга смотрела на меня с хитрецой, удивляясь моей наивности. «Некоторые из них сестры, — соглашалась она. — Но *большинство* из них горничные».

Мой отец перенес серию ударов, которые с годами превратили его из стройного мужчины моего роста сначала в фигуру, сгорбившуюся над ходунками, с головой, вынужденно повернутой под странным углом, а затем — в довольно униженного обитателя кресла-каталки. Когда социальные работники пришли определять уровень его недееспособности, нам объяснили, что ему потребуется и что они готовы оплатить установку поручня, который помогал бы ему передвигаться от кровати к двери. Моя мать отвергла это предложение. «Такой уродливой штуки в комнате не будет». Она настаивала, что тогда пострадает интерьер загородного дома, но, как я сейчас подозреваю, ее отказ был неочевидным способом отрицания того, что случилось — и что могло ждать и ее. Единственным, что она все-таки разрешила, к моему удивлению, была переделка папиного кресла. Это был массивный зеленый паркер-нолловский экземпляр с высокой спинкой, в котором дедушка любил читать «Дейли экспресс» и принимал урчание бабушкиного живота за телефонный звонок. Теперь его ножки укрепились металлическими трубками, чтобы папе было легче забираться и выбираться из него.

Медленное физическое дряхление проходило у моего отца параллельно с эрозией речи: артикуляции и памяти на слова. (Он раньше был учителем французского, и теперь его *langue* оставлял его.) Я снова вижу, как он медленно шаркает в ходунках к двери, выйдя проводить меня: эти минуты казались бесконечными, а любая тема беседы звучала невыносимо фальшиво. Я притворно плелся рядом, мучительно искал глазами вазу с цветами, стоявшую на буфете, или останавливался снова посмотреть на какую-нибудь безделушку, которая мне никогда не нравилась. В конце концов мы втроем добирались до половика в прихожей. Один раз прощальными словами отца были: «А в следующий раз приведи… приведи…» На этом он застрял. Я не знал, ждать мне или с притворным пониманием согласно кивать. Но моя мать твердо спросила: «Привести кого?» — как будто умственные отклонения моего отца можно было поправить нужным вопросом. «Приведи… приведи…» Теперь он явно был не на шутку раздосадован саботажем собственного мозга. «Привести кого?» — переспросила мать. Ответ уже был настолько очевиден и не нужен, что я хотел выскочить на улицу, прыгнуть в машину и уехать прочь. Неожиданно папа нашел способ обойти свою афазию: «Приведи… жену Джулиана». Какое облегчение. Но не совсем. Мать голосом, на мой взгляд лишенным всякого сочувствия, произнесла: «А, так ты имеешь в виду П.», — таким образом превращая моего отца, школьного учителя, в

провалившего экзамен школьника.

Он стоял так у входной двери, согнувшись над ходунками с этой дурацкой пустой металлической корзиной, приделанной к ручкам, а голова его была наклонена, как будто он пытался компенсировать действие всемирного тяготения на свою нижнюю челюсть. Я прощался и проходил метров десять к моей машине, после чего — обязательно — мать что-нибудь «вспоминала», семенила ко мне по кривой асфальтовой дорожке (ее торопливая походка подчеркивала неподвижность отца) и стучала в окно. Я неохотно опускал его, догадываясь, что она сейчас скажет: «Ну, что думаешь? Он сильно сдал?» Я смотрел мимо матери на отца, который знал, что мы говорим о нем, и знал, что я знаю, что он знал. «Нет», — отвечал обычно я из уважения к папе, потому что единственной альтернативой было заорать: «У него был удар, мама, черт возьми, чего ты ждешь от него — чтоб он мяч гонял?» Однако она расценивала мой дипломатичный ответ как свидетельствующий о недостатке внимания и, пока я отпускал сцепление и трогался с места, цеплялась за окно и приводила примеры резкого ухудшения его состояния, которых я не удосужился заметить.

Я не хочу сказать, что она была с ним злой, но ее способ справляться с состоянием моего отца заключался в том, что она подчеркивала свои неудобства и страдания, в то же время давая понять, что его страдания были в большей степени, чем думают остальные, его собственной виной. «Разумеется, когда он падает, он пугается, — жаловалась она. — Ну я же не могу его поднять, приходится звать кого-нибудь из деревни. А он напуган оттого, что не может подняться». Плохая отметка. Потом еще у отца была педальная машина, которую привез физиотерапевт из больницы. Предполагалось, что, сидя в паркер-нолловском кресле, он будет что есть мочи выкладываться на этом маленьком сверкающем куске велосипеда. Не знаю, считал ли отец, что крутить педали, сидя в кресле, полный абсурд, или просто решил, что это для него ничего не поменяет. «Он такой упрямый», — жаловалась моя мать.

Естественно, когда пришла ее очередь, она была такой же упрямой. Ее первый удар обездвижил ее гораздо сильнее, чем отца: она была обширно парализована в правой части тела, и ее речь нарушилась больше, чем его. Наиболее связно она могла выражать свою дикую ярость от того, что случилось с ней. Действующей рукой она тянулась и поднимала пораженную руку. «И разумеется, — говорила она, звуча в этот момент, как в старые годы, — эта штука *абсолютно бесполезна».* Эта штука подвела ее, практически как мой отец. И равно как и папа, она относилась к

физиотерапевтам со скепсисом. «Они меня дергают туда-сюда», — жаловалась она. Когда я сообщил ей, что они дергают ее, дабы помочь пойти на поправку, она саркастично ответила: «Ну разумеется». При этом она была похвально непоколебима и презрительна по отношению к тому, что считала фальшивым подбадриванием. «Они велят мне что-то сделать и потом говорят “очень хорошо”. Какая глупость, я-то *знаю,* что это не очень хорошо». Так она перестала помогать врачам. Ее способом оставаться собой были насмешка над профессиональным оптимизмом и отказ от гипотетического выздоровления.

Моя племянница К. поехала навестить ее. Я позвонил спросить, как все прошло и как там мама. «Сбрендила окончательно, это вначале, но когда заговорили о макияже — полностью в своем уме». Я спросил — возможно, несколько строго, — как именно она «сбрендила». «Она очень злилась на тебя. Говорит, ты подставил ее с теннисом, три дня обещал, но так и не пришел на корт». О’кей, сбрендила.

Моя племянница также не избежала порицания. Однажды мы с ней просидели в загадочной и злобной тишине двадцать минут, на протяжении которых мама упрямо отказывалась смотреть на нас. Наконец она повернулась к К. и выдала: «Какая же ты дурочка. Но ты же понимаешь, почему мне пришлось оторвать у тебя кусок платья?» Возможно, такие фантастические обвинения создавали у нее иллюзию, что она все еще управляет своей жизнью. Обвинения распространялись и на моего брата, которого не извиняло и не защищало от них то, что он во Франции. Недели через две после ее первого удара, когда ее речь еще была по большей части бессвязной, мы обсуждали — или, скорее, я объяснял ей, — как я буду разбираться с хозяйством, пока она в больнице. Я перечислил людей, к которым могу обратиться, добавив, что в случае чего всегда могу положиться на «светлую голову» своего брата. С мучительными паузами перед каждым словом нашей матери удалось составить безупречное предложение: «Его светлая голова не думает ни о чем, кроме работы».

Несмотря на упрямый отказ идти врачам навстречу, она частично восстановила речь, хотя оставалась без движения. Она была не из тех, кто обманывает себя, и заявила, что не в состоянии вернуться жить в загородном доме. Сестра по имени Салли пришла проверить, сможет ли она функционировать в приюте, в который мы с К. надеялись ее поместить. Мама утверждала, что уже побывала там и считает это место «первоклассным»; хотя подозреваю, что ее «визит» был придуман под впечатлением от рекламной брошюры. Она объяснила

медсестре Салли, что решила принимать пищу в комнате: она не могла есть с другими постояльцами, поскольку не владела правой рукой. «Ну что за ерунда, — сказала сестра. — Это не важно». Моя мать властно ответила: «Если я говорю, что это важно, *это важно»,* — «Вы раньше преподавали?» — нашлась понимавшая жизнь Салли.

В молодости я ужасно боялся летать. Книга, которую я выбирал в дорогу, всегда была той, какую я полагал достойной быть найденной на моем трупе. Я помню, как читал «Бувара и Пекюше» на рейсе Париж–Лондон, уговаривая себя, что после неизбежной катастрофы: а) смогут опознать тело, на котором она будет найдена, б) Флобер во французском карманном издании выживет в крушении и пожаре, в) когда ее обнаружат, на ней будет лежать чудесным образом сохранившаяся (хотя, возможно, отделенная от тела) рука, а окоченевший палец будет отмечать особенно восхитивший меня абзац, что таким образом примут во внимание мои потомки. Правдоподобная история — а я, естественно, во время полета был слишком напуган, чтобы сфокусировать внимание на романе, чьи ироничные истины в любом случае ускользали от юных читателей.

Я практически излечился от своих страхов в аэропорту Афин. Мне было лет двадцать пять, и я приехал на свой рейс сильно заранее — настолько заранее (так уже хотелось домой), что вместо нескольких часов у меня был целый день и несколько часов перед полетом. Билет нельзя было поменять, у меня не было денег вернуться в город и найти гостиницу, так что я разместился в аэропорту. Опять-таки, я помню книгу — попутчика в катастрофе, — которая была со мной: томик «Александрийского квартета» Даррелла. Чтобы убить время, я забрался на смотровую площадку на крыше терминала. Оттуда я наблюдал, как взлетали и садились один самолет за другим. Какие-то из них, наверное, принадлежали сомнительным авиакомпаниям и управлялись пьяными пилотами, но ни один не разбился. Я видел, как не разбились десятки самолетов. И эта наглядная, а не статистическая демонстрация безопасности полетов убедила меня.

Может, еще раз попробовать этот фокус? Если бы я пристальней и чаще смотрел на смерть — устроился помощником гробовщика или служащим морга, — смог бы я, свыкнувшись, утратить свой страх? Возможно. Но в таком рассуждении заложена ошибка, на которую мой брат, как философ, тут уже указал бы. Хотя он, вероятно, вычеркнул бы такое определение. (Когда я показал ему первые страницы настоящей книги, он

опроверг мое предположение, что, «будучи философом», он не доверяет памяти. «Разве я думаю таким образом “будучи философом”? Не в большей степени, чем “будучи философом”, я не доверяю продавцам подержанных автомобилей». Может, и так, но даже его возражения кажутся мне возражениями философа.) Ошибка следующая: в афинском аэропорту я наблюдал за тем, как тысячи и тысячи пассажиров не умирают. В похоронном бюро или морге я бы постоянно подтверждал свои худшие опасения: уровень смертности среди людей ни на йоту не меньше ста процентов.

Есть еще одно слабое место в описанном мной «лучшем варианте» смерти. Предположим, врач говорит вам, что вы проживете достаточно долго и в ясном уме, чтобы закончить свою последнюю книгу. Кто бы не стал тогда как можно дольше затягивать работу? У Шахерезады никогда не заканчивались сказки. «Укол морфия?» — «Нет, что вы, еще осталось несколько глав. Оказывается, про смерть можно рассказать гораздо больше, чем я представлял себе…» И ваше эгоистичное стремление к жизни нанесло бы книге ущерб по части структуры.

Несколько лет назад у британского журналиста Джона Даймонда был диагностирован рак, и он превратил свою болезнь в еженедельную колонку. Удачным образом он сохранил характерный для его статей заносчивый тон; удачным образом он признавался в собственной трусости и страхе, которые перемежались любопытством и спорадической отвагой. Его отчет выглядел абсолютно правдоподобно; так и живут больные раком; да и болезнь не должна менять человека или избавлять его от ссор с женой. Как и многие читатели, я поначалу неделю за неделей мысленно подбадривал его. Но через год с лишним… ну, неизбежным образом сложились некоторые сюжетные ожидания. О-па, волшебное исцеление! О-па, это был розыгрыш! Нет, в качестве концовки ни то ни другое не подходило. Даймонд должен был умереть; и он, как полагается (по сюжету), и умер. Хотя — как это сформулировать? — строгий литературный критик мог бы пожаловаться на некоторую разболтанность ближе к концу этой истории.

Когда вы будете читать это предложение, я, возможно, уже умру. В таком случае никакие претензии насчет книги не принимаются. С другой стороны, мы сейчас оба можем быть живы (вы — по определению), но что, если вы умрете раньше, чем я? Вы об этом думали? Извините, что напомнил, но такая возможность существует, по крайней мере, еще несколько лет. Что ж, мои соболезнования родным и близким. И, как говорили участники

пятничного обеда в венгерском ресторане — или, скорее, как они никогда не говорили, хотя, вероятно, периодически думали: либо я приду на твои похороны, либо ты на мои. Так, разумеется, было всегда: но это неумолимое «или/или» ближе к концу звучит особенно резко. В нашем с вами случае — если я еще бесповоротно не умру к тому моменту, как вы это будете читать, — вы с большей страховой вероятностью увидите меня в гробу, нежели я вас. И по-прежнему существует такой вариант, что я умру в середине написания этой книги. Что будет обидно нам обоим — если только вы не собирались в любом случае бросить ее ровно там, где обрывается повествование. Я могу умереть в середине предложения. Возможно, даже в середине сло

Шучу. Но не только. Я никогда не писал книгу, кроме первой, не предаваясь в какой-то момент мыслям, что могу умереть до ее завершения. Это все относится к предрассудкам, к фольклору, к профессиональным маниям, к суетному фетишизму. Правильные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, записные книжки, бумага, пишмашинка: предметы первой необходимости, которые также настраивают на нужный лад. Для этого нужно убрать все, что может помешать и навредить, нужно сузить фокус, пока не останется только важное: вы, я, мир и эта книга — как ее написать как можно лучше. Напоминание самому себе о смерти (или, вернее, то, что смерть напоминает о себе) — это полезный и необходимый стимул.

Равно как и советы от тех, кто был здесь раньше. Наставления, эпиграммы, афоризмы, буквально или фигурально висящие у нас перед глазами. Уильям Стайрон и Филип Рот работали, руководствуясь памяткой Флобера: «Живи размеренно и заурядно, как буржуа, чтобы в своем творчестве ты был неистов и оригинален». Возможно, вам требуется освободить сознание от докучливых мыслей о будущей реакции критики? Тут помог бы Сибелиус: «Всегда помните, что ни в одном европейском городе не воздвигли статую критика»; хотя мое любимое принадлежит Форду Мэдоксу Форду: «Очень просто говорить, что слон, как бы он ни был хорош, не такой уж хороший бородавочник; а ведь большая часть критики сводится к этому». Многим писателям пригодилась бы следующая строчка Жюля Ренара: «Практически обо всех произведениях литературы можно сказать, что они слишком длинны». А также, наконец, надо быть готовым к непониманию. Об этом — снова Сибелиус с ироничным афоризмом-наставлением: «Не понимайте меня, но не понимайте правильно».

Когда я только начал писать, я положил себе за правило — чтобы прочистить голову, сфокусироваться и психологически

привести себя в лучший вид, — что я должен писать так, как будто мои родители умерли. Не потому что я хотел сознательно воспользоваться ими или надругаться над их памятью; я просто не желал задумываться о том, что могло бы их обидеть или порадовать. (И в этом они выступали не только от себя, но и символизировали друзей, коллег, возлюбленных, не говоря уж про описателей бородавочников.) Странность заключается в том, что, хотя мои родители уже много лет как умерли, мне это правило сейчас нужно как никогда.

Умереть в середине сло, написав три пятых рома. Мой друг, писа ль Брайан Мур боялся того же, но по дополнительной причине: «Потому что придет какая-нибудь сволочь и допишет его за тебя». Вот вам писательское «что бы вы предпочли». Умереть в середине книги так, что какая-нибудь сволочь допишет ее за вас, или оставить незаконченное произведение, которое никакой сволочи в мире в голову не придет заканчивать? Мур умер, работая над книгой о Рембо. Ирония судьбы. Рембо как раз был писателем, который позаботился о том, чтобы не умереть в середине строфы, проделав две трети *mo*[32], поскольку забросил литературу за полжизни до смерти.

Моя мать, единственный ребенок в семье, стала единственной женщиной в доме, где мужчины не выказывали особенного стремления к превосходству, и пришла к солипсизму, который с годами у нее не уменьшился. Овдовев, она еще больше выступала в жанре монолога, нежели в те годы, когда с паркер-нолловского кресла мог раздаться вежливый, ласковый, а иногда и едкий ответ. Разумеется, она также стала чаще повторяться. Однажды днем я сидел рядом с ней, мыслями наполовину где-то еще, когда она огорошила меня новым соображением. По ее словам, она размышляла, какие формы немощи могут ждать ее, и задавалась вопросом, хотела бы она лучше оглохнуть или ослепнуть. На секунду — наивно — я решил, что она спрашивает мое мнение, но ей не требовалась дополнительная информация: она объявила мне, что ее выбор — глухота. Знак солидарности со своим отцом и двумя сыновьями? Никоим образом. Вот как она рассудила: «Если бы я ослепла, как бы я делала себе маникюр?»

Смерть и умирание создают целую анкету таких «что бы вы бы предпочли». Для начала вы бы предпочли знать, что умираете, или не знать? Наблюдать свою смерть или нет? В тридцать восемь Жюль Ренар написал: «Пожалуйста, Бог, не заставляй меня умирать слишком скоро. Я не против посмотреть на свою смерть». Эта запись была сделана 24 января 1902-го, на вторую годовщину его путешествия из Парижа в Шитри, предпринятого, чтобы

похоронить брата Мориса — брата, который за несколько секунд преобразился из чиновника с жалобами на центральное отопление в труп, лежащий головой на телефонном справочнике Парижа. Век спустя историка медицины Роя Портера спросили, что он думает о смерти. «Я полагаю, когда умираешь, интересно находиться в сознании, потому что в этот момент с человеком происходят самые удивительные перемены. Когда ты думаешь: вот я умираю… я бы хотел оставаться в полном сознании всего, что происходит. Потому что иначе ты что-то пропускаешь». У подобного смертельного любопытства славная история. В 1777 году к смертному одру швейцарского физиолога Альбрехта фон Галлера пришел его брат врач. Галлер сам следил за ослаблением своего пульса и умер, не выходя из роли, сказав напоследок: «Друг мой, артерия перестает биться». За год до того Вольтер подобным же образом держался за свой пульс до последнего, а потом качнул медленно головой и через несколько минут умер. Замечательная смерть — никаких священников, — достойная каталога Монтеня. Она, правда, не на всех произвела одинаковое впечатление. Моцарт из Парижа писал своему отцу: «Ты, наверное, уже знаешь, что этот безбожник и архиплут Вольтер умер как собака, как скотина — и по заслугам!» Действительно, как собака.

Вы бы предпочли бояться или не бояться смерти? Все вроде просто. Но как насчет вот такого: что, если вы ни разу не задумывались о смерти, жили всю жизнь, как будто завтра не будет (а его, кстати, не будет), получали удовольствие, выполняли свою работу, любили родных и близких, а затем, когда наконец были вынуждены признать собственную смертность, обнаружили: это новое знание о точке в конце предложения означает, что вся предыдущая история не имела никакого смысла? Что если бы вы с самого начала полностью отдавали себе отчет в том, что умрете и что это значит, вы бы жили, руководствуясь совершенно другими принципами?

А еще есть обратное, вероятно, мой собственный случай: что, если вы прожили шестьдесят или семьдесят лет, поглядывая краем глаза на то, как постоянно заполняется яма, а потом, при приближении смерти, открыли, что, в конце концов, *нечего бояться*? Что, если вы удовлетворенно восприняли себя частью великого природного цикла (пожалуйста, заберите мои атомы углерода)? Что, если эти утешающие метафоры внезапно или постепенно начали убеждать? Один англосаксонский поэт уподобил человеческую жизнь птичке, влетающей из темноты в ярко освещенный банкетный зал, а затем вылетающей обратно в темноту с противоположного конца: возможно, такой образ

утолит чью-то боль от того, что он человек и смертен. Со мной это пока не проходит. Красивая картинка, но педант во мне все хочет указать на то, что любая здравомыслящая птичка, залетев в теплый банкетный зал, усядется на балку и будет там сидеть сколько влезет, а не стремиться обратно наружу. К тому же эта птичка в своем пред- и постсуществовании с обеих сторон пьяного кричащего зала, по крайней мере, все еще *летает*, что больше, чем можно сказать или будет сказано про нас.

Когда я впервые пришел к осознанию смерти, все было просто: ты живешь, потом умираешь и прощаешься со Всевышним — с Богом. Но кто знает, как мы меняемся с возрастом? Молодым журналистом я брал интервью у Уильяма Герхарди. Он тогда был восьмидесятилетним, немощным, прикованным к кровати стариком; смерть маячила за углом. В какой-то момент он взял с прикроватного столика антологию текстов о бессмертии и показал мне описание трасцендентальных опытов, всё в подчеркиваниях. Как он объяснил мне, там было ровно то, что он испытал солдатом на Первой мировой. «Я верю в воскресение, — запросто произнес он. — Я верю в бессмертие. Вы верите в бессмертие?» Я ответил ему неловким молчанием (и не смог вспомнить собственный школьный случай). «Нет, ну так и я в вашем возрасте не верил, — продолжил он сочувственно. — Но верю теперь».

Так что, возможно, я еще поменяю свое мнение (хотя сомневаюсь). Скорее сам выбор окажется размыт. «Жизнь или Смерть» превратится, как отметил Монтень, в «Старость или Смерть». Вы — и я — будете цепляться не за еще несколько минут тепла в роскошном зале, где разносятся ароматы курицы на вертеле и веселый шум дудок и барабанов, не за еще несколько дней и часов настоящей жизни, но за еще несколько дней и часов чахлой немощи с помутненным разумом, дряблыми мускулами и дырявым мочевым пузырем. «Так ты, оказывается, мнишь себя живым», как жестокосердный цезарь сказал своему бывшему легионеру. А теперь — что хуже — представьте себе это слабое тело и еще больший страх забвения по сравнению с временами, когда оно было в силе и здравии и могло отвлекаться от размышлений об этом забвении физической и умственной деятельностью, общественно полезными занятиями и дружеской компанией. Тело, у которого участки сознания начинают закрываться один за другим, исчезает ясность ума, речь, способность узнавать друзей, память, на смену которой приходит воображаемый мир дурочек и ненадежных теннисных партнеров. Все, что осталось, последний кусок двигателя, на работу которого хватает топлива, — это отдел мозга, вызывающий у нас страх

смерти. Да, на этом крохотном участке мозговая активность продолжится полным ходом, подстегивая панический страх, посылая мурашки ужаса по всей системе. Чтобы снять боль, вам дадут укол морфия, — а затем, возможно, чуть больше, чем вам требуется, а потом и необходимый избыток, — но вам не дадут ничего, что заставило бы этот беспощадный кластер мозговых клеток перестать до самого конца пугать вас так, что ни вздохнуть, ни пернуть (или, вероятно, более чем наоборот). И тогда мы, возможно, горько пожалеем, что вслед за Ренаром говорили про себя: «Пожалуйста, Бог, не заставляй меня умирать слишком быстро!»

Писатель и режиссер Джонатан Миллер получил медицинское образование. И пусть тогда он вскрывал окоченелые трупы и орудовал податливыми как воск телами только что испустивших дух, ему было уже за сорок, когда он, по его словам, «начал думать: погодите — я же тоже когда-нибудь окажусь в таком положении». В интервью через десять лет он по-прежнему заявлял, что его не тревожат долгосрочные последствия: «Страх того, что меня просто не будет, — нет, такого у меня совсем нет». Вместо этого он признался в страхе смертного одра со всем сопутствующим: агония, бред, мучительные галлюцинации и заплаканные родственники, которые готовятся к расставанию. Мне это представляется довольно точным антуражем, но не альтернативой, а всего лишь бонусом к подлинному, серьезнейшему страху «того, что меня просто не будет».

Миллер следует Фрейду в том, что «не может представить себе, не может осознать идею полного исчезновения». И получается, что таким образом его способность испытывать ужас переносится сначала на сам процесс умирания и связанные с ним унижения, а затем на различные гипотетические состояния полусуществования или почти существования, которые могут реализоваться в момент или после его смерти. Он боится «остатков сознания, которое не умерло насовсем» и представляет себе трансцендентальный опыт, в котором он наблюдает за собственными похоронами: «или, скорее, не наблюдаю, а неподвижно лежу в гробу». Я легко рисую себе этот новый всплеск старого страха быть погребенным заживо, но никак не нахожу его таким уж жутким. Если бы остатки нашего сознания могли наблюдать за своими похоронами и дрожать в гробу, отчего это сознание обязательно должно бояться замкнутых пространств?

Многие из нас думали или говорили о смерти: «Мы узнаем, как оно там», в то же время выражая почти полную уверенность, что мы никогда не «узнаем» про то плохое, что нас ждет. Подзадержавшееся сознание поможет нам получить ответ. Так,

нам могут мягко сказать «нет». Оно может обозревать похороны или кремацию с высоты птичьего полета, попрощаться с нашим скверным телом и жизнью, которая в нем была, и (если предположить, что оно еще как-то связано с нашим «я» или представляет его) позволить «нам» почувствовать, что все происходит как должно. Оно может внушить нам ощущение спокойствия, отдохновения, теплого поцелуя на ночь, онтологической рюмки на посошок.

Моя шведская подруга К. однажды очень мягко и сочувственно прошептала нашему общему другу, который слишком долго умирал от рака: «Пора уходить». Я люблю шутить с ней, что пойму, насколько плохи мои дела, когда услышу ее слегка модулированный голос, наговаривающий мне в ухо этот хорошо отрепетированный совет. Возможно, остатки сознания, которого боится Миллер, окажутся чем-то полезным и благожелательным, как голос окончательного распорядителя с мягким шведским акцентом.

Средневековая птичка влетает в освещенный зал и снова вылетает из него. Против страха смерти есть и такой ох-какой-разумный довод: если мы не испытываем страха и ненависти к вечности, которая ведет к короткому мгновению нашей разукрашенной огнями жизни, зачем нам тогда относиться иначе ко второму приступу тьмы? Разумеется, *потому что* во время первого приступа тьмы Вселенная — или, по крайней мере, ее очень, очень незначительная часть — шла к созданию чего-то, представляющего определенный интерес, скрещивая нужным образом гены и продираясь через череду человекоподобных рычащих, владеющих инструментами предков до тех пор, пока не собралась и не выплюнула три поколения школьных учителей, которые затем сделали… меня. Так что у этой тьмы была некая цель — по крайней мере, с моей солипсической точки зрения; в то время как у второй тьмы нет никакого оправдания.

Думаю, могло быть и хуже. Хуже может быть почти всегда. Можно страшиться предродовой бездны так же, как посмертной. Это странно, но не исключено. Набоков в своей автобиографии описывает «хронофоба», который впадал в панику всякий раз, как смотрел домашнюю кинохронику про мир за несколько месяцев до своего рождения: дом, в котором он будет жить, его будущую мать, которая высунулась из окна, пустую коляску в ожидании своего пассажира. У большинства из нас это все не вызвало бы тревоги, а только радость; хронофоб видел лишь мир, в котором его не было, территорию «безнегоности». И его никак не утешало то, что это отсутствие неопровержимо готовилось к тому, чтобы

произвести его будущее присутствие. Уменьшала эта фобия его страх того, что будет после смерти, или же, напротив, умножала, Набоков не рассказывает.

Более изощренную версию аргумента «птичка-в-зале» предлагает Ричард Докинз. Мы все действительно умрем, смерть безусловна, а Бог — обман, но все равно нам повезло. Многим «людям» — подавляющему большинству потенциальных людей — даже не довелось родиться, и их больше, чем песчинок во всех аравийских пустынях. «Количество людей, вероятных благодаря нашему ДНК… во много раз превосходит реальное количество людей». Почему меня это так слабо утешает? Нет, еще хуже, совсем не утешает? Потому что взгляните на всю эту эволюционную работу, все эти незафиксированные элементы космического везения, все это принятие решений, всю эту заботу и воспитание на протяжении поколений, то-се, пятое-десятое, которые в результате создали меня с моей уникальностью. И моей обыкновенностью тоже, и вашей, и Ричарда Докинза, но это уникальная обыкновенность, ошеломляюще невероятная обыкновенность. Так оно сложнее, а не проще пожать плечами и сказать философски: ну что ж, могло меня и вовсе не быть, так почему бы не порадоваться этой маленькой возможности, которая не представилась другим. А еще, если вы только не биолог, сложно думать об этих триллионах неродившихся, генетически возможных других как о «потенциальных людях». Я легко могу себе представить мертворожденного или абортированного ребенка, но все эти возможные комбинации, которые так и не сложились? Боюсь, что мое человеческое сочувствие ограничено — мне далеко до песков Аравии.

Так что я не могу отнестись к этому философски. Философы ведут себя философски? Были жители Лаконики поистине лаконичны, а спартанцы — подлинными спартанцами? Наверное, сравнительно да. Кроме брата, единственный близко знакомый мне философ — это мой преследуемый страхом смерти друг Г., в четыре года обогнавший меня с осознанием смерти на десятилетие. Однажды мы долго с ним спорили о свободе воли. Как и все, я всегда — будучи любителем жизни в обоих смыслах — считал, что обладаю свободой воли, и всегда, как я это понимаю, вел себя так, будто она у меня была. Г., как профессионал, объяснил мне мое заблуждение. Он указал на то, что, хотя мы думаем, будто вольны творить, что хотим, мы не можем определить, чего именно хотим (а если мы нарочно решим «захотеть хотеть» чего-то, возникнет обычная проблема регрессии к изначальному «желанию»). В какой-то момент ваши желания

должны были быть заданы: результат наследственности и воспитания. Следовательно, представление, что кто-либо может нести осознанную и окончательную ответственность за свои действия, несостоятельно; максимум, мы можем нести временную, поверхностную ответственность — и даже это со временем окажется ошибкой. Г. мог бы процитировать мне умозаключение Эйнштейна: «Существо, наделенное высшей проницательностью и более совершенным разумом, с насмешкой отнеслось бы к человеческой иллюзии, будто мы ведем себя сообразно своей свободной воле».

В какой-то момент я признался, что проиграл спор, хотя продолжил вести себя ровно так же (что, если призадуматься, удобно доказывало правоту Г.). Г. утешил меня, заметив, что, хотя, на его философский взгляд, у нас никак не может быть свободы воли, подобное знание никоим образом не влияет в практической плоскости на то, как мы ведем или должны себя вести. Так что я продолжил опираться на эту ошибочную концепцию в своем смертном пути к тому месту, где никакая моя воля, свободная или скованная, уже никогда не будет задействована.

Есть То, Что Мы Знаем (или думаем, что знаем) Про Положение Вещей, есть То, Что Мы Считаем Положением Вещей (основываясь на словах тех, кому мы доверяем), и есть То, Как Мы Себя Ведем. В Британии до сих пор худо-бедно царствует христианская мораль, пусть приходы бесконечно редеют и церковные здания неумолимо превращаются в исторические памятники — вызывая у некоторых из нас «жажду посвященья» — и лофты. Эта тенденция коснулась и меня: на мою нравственность оказало влияние христианское учение (или, точнее, дохристианское племенное поведение, кодифицированное в религии); и Бог, в которого я не верю, но которого мне не хватает, это естественным образом христианский Бог Западной Европы и нефундаменталистской Америки. Меня не тревожит отсутствие Аллаха или Будды в большей степени, нежели Одина или Зевса. И мне не хватает новозаветного Бога скорее, чем ветхозаветного. Мне не хватает Бога, который вдохновил итальянскую живопись и французские витражи, немецкую музыку и английские капитулы и эти развалившиеся груды камней на кельтских мысах, которые когда-то были символическими маяками в бурю и тьму. Я также понимаю, что этот Бог, которого мне не хватает, этот вдохновитель искусства кому-то покажется столь же неуместным потаканием своим капризам, как и часто заявляемое «мое личное представление о Боге», которое я высмеивал какое-то время назад. Более того, если есть хоть какой-то Бог, Он может

посчитать такие декоративные прославления Его существования банальными и тщеславными, поводом для божественного безразличия, если не наказания. Он может решить, что Фра Анжелико претенциозен, а готические соборы — хвастливая попытка тварей, не угадавших, как именно Он предпочел бы, чтобы Ему поклонялись, произвести на Него впечатление.

Мои друзья агностики и атеисты неотличимы от моих открыто религиозных друзей в том, что касается честности, щедрости, порядочности и верности — или их противоположностей. Интересно, это победа для них или для нас? В молодости мы думаем, что изобретаем мир по мере того, как изобретаем себя; позже мы обнаруживаем, насколько прошлое удерживает и всегда удерживало нас. Я избежал того, что казалось мне добропорядочной скукой моей семьи, только чтобы с годами больше и больше поражаться своему сходству с покойным отцом. Угол, под которым я сижу за столом, движение нижней челюсти, намечающаяся проплешина и особого рода вежливый смешок, который я издаю, когда шутка меня не очень позабавила, — все это (и, несомненно, многое другое, чего я не успел заметить) генетические копии и точно не проявление свободы воли. Мой брат обнаруживает то же самое: он все больше говорит, как наш отец, используя те же просторечия и незаконченные фразы, — он ловит себя на том, что «звучит прямо как он и даже шаркает тапками, как он когда-то». Он также начал видеть папу во сне — после шестидесяти лет, на протяжении которых родители не вторгались в его ночной покой.

Бабушка в своем безумии считала, что моя мать — это ее сестра, пятьдесят лет как покойная. Мать в свою очередь видела всех родственников, которых знала с детства, в тех, кто приходил о ней позаботиться. Когда-нибудь все наше семейство придет за братом и за мной (только, пожалуйста, не присылайте мою мать). Но разве прошлое ослабило свою хватку? Мы живем более или менее согласно нормам религии, в которую уже не верим. Мы живем, как будто мы существа, наделенные абсолютной свободой воли, в то время как философы и биологи-эволюционисты говорят нам, что это по большому счету выдумка. Мы живем, как будто наша память — хорошо сконструированная и с толком заполненная камера хранения. Мы живем, как будто наша душа — или дух, или индивидуальность, или личность — это нечто с названием и конкретным местом, а не история, которую мозг рассказывает сам себе. Мы живем, как будто природа и воспитание равные партнеры, в то время как все свидетельствует о том, что у природы и рука с хлыстом, и сам хлыст. Станет ли

это общепризнанным? Сколько времени на это уйдет?

Некоторые ученые считают, что мы никогда до конца не расшифруем тайны сознания, поскольку единственный инструмент, имеющийся у нас для понимания мозга, это сам мозг. Возможно, мы никогда не избавимся от иллюзии свободы воли, поскольку для того, чтобы избавиться от веры в нее, требуется акт свободной воли, которой у нас нет. Мы продолжим жить, как будто мы полноправно властвуем над всеми своими решениями. (Разнообразные грамматические и смысловые правки, которые я внес в последнее предложение и пока писал его, и некоторое время спустя, подумав, — как «я» могу не верить, что это «я» их внес? Как я могу верить, что эти слова, и то, что следует сейчас за ними в скобках, и каждая деталь, которую я сюда добавляю, и случайные очепятки, и следующее слово, законченное или же наполовину-брошенное-по-скольку-у-меня-появились-новые-соображения-на-его-счет и оставленное как сло, суть не проявления отчетливо все понимающего меня, который принимает литературные решения посредством свободы воли? Я не могу свыкнуться с тем, что это не так.)

Возможно, будет легче вам, или если не вам, то поколениям, которые родятся после вашей смерти. Возможно, мы — и вы — покажемся им «парнями» (и девчонками) из стихотворения Ларкина, «рожденными заблуждаться по старинке». Возможно, они сочтут расслабленной и очаровательно старомодной наполовину принятую нами за должное, наполовину выработанную самими мораль, по которой мы с вами, как кажется, думаем, что живем. Когда религия только начала рушиться в Европе — когда за работу принялись «безбожники-архиплуты» вроде Вольтера, — возникли естественные опасения насчет того, откуда теперь взяться морали. В рискованно неуправляемом мире каждая деревня может произвести своего Казанову, маркиза де Сада, Синюю Бороду. Некоторые философы, отвергая христианство для себя и своего интеллектуального круга, полагали, что новое знание следует скрывать от крестьян и трактирных, чтобы не рухнуло общественное устройство, а проблема слуг окончательно не вышла из-под контроля.

Однако Европа все равно пошла под откос. И если теперь необходимость выбора еще острее: в чем смысл моих действий в пустой Вселенной, где еще больше достоверных фактов лишились своей достоверности; зачем вести себя прилично; отчего не быть жадным и эгоистичным и сваливать все на ДНК, — антропологи и эволюционные биологи могут предложить утешение (пусть и не для верующих). Что бы ни утверждала религия, мы настроены — генетически запрограммированы — действовать как

общественные существа. Альтруизм эволюционно полезен (ага! еще одной добродетели — еще одной иллюзии — больше нет); так что вне зависимости от наличия проповедника, сулящего рай или грозящего адским пламенем, индивидуумы, живущие в обществе, ведут себя по большей части одинаково. Религия не заставляет людей вести себя ни лучше, ни хуже — что может быть разочарованием как для атеиста-аристократа, так и для верующего.

Когда я только начал изучать французскую литературу, я был ошарашен идеей *acte gratuite*[33]. Насколько я понял, дело было вот в чем: дабы подтвердить, что мы управляем Вселенной, мы должны совершить спонтанный поступок вне традиционной морали, для которого нет явного мотива или оправдания. Я помню пример из «Подземелий Ватикана» Жида, в нем беспричинщик выталкивал абсолютно незнакомого ему человека на ходу из поезда. Просто поступок, понимаете (а также, догадываюсь я сейчас, мнимое доказательство свободы воли). Я не понимал — или понимал недостаточно. Я все время думал о бедняге, который разбивается насмерть во французской глубинке. Убийство — или, возможно, то, что буржуазные умы, погрязшие в христианстве, решались назвать убийством, — как способ доказать философский постулат представлялось мне слишком теоретическим, слишком французским, слишком отвратительным. Хотя мой друг Г. сказал бы, что этот беспричинщик обманывал себя (просто «захотев чего-то захотеть»). И думаю, что если его утверждение свободы воли было заблуждением, таковой же была и моя реакция.

Мы похожи на антарктических пингвинов или они похожи на нас? Мы ходим за покупками в супермаркет, они в поисках пищи скользят и перекатываются по километрам льда, чтобы выйти к открытому морю. Но есть одна деталь, которую опускают авторы передач про дикую природу. Когда пингвины приближаются к кромке воды, они начинают мешкать и медлить. Они добрались до еды, но есть и опасность: в море не только рыба, но и тюлени.

Длинное путешествие может завершиться не тем, что ты поешь, но тем, что съедят тебя, — в случае чего потомство, оставшееся в пингвиньей стае, умрет голодной смертью, а личному генофонду будет положен конец. Так вот что делают пингвины: они ждут, пока один из них, более голодный или нетерпеливый, не подойдет к месту, где кончается лед, и не заглянет в полный пищи, но и смертельной опасности океан, а затем, как банда пассажиров пригородной электрички, спихивают неразумную птицу в море. Просто проверка! Вот на кого

«действительно похожи» эти очаровательные антропоморфизированные пингвины. И если нас это шокирует, то, по крайней мере, они ведут себя более рационально — более толково и более альтруистично, — чем беспричинщик нашего племени, выталкивающий человека из поезда.

У этого пингвина нет «вы-бы-предпочли». Тут ныряй или умри — а иногда ныряй и умри. И некоторые из наших «вы-бы-предпочли» оборачиваются такой же гипотетикой: попытками упростить немыслимое, притворяясь, будто мы управляем неуправляемым. Моя мать всерьез размышляла, будет ли ей лучше оглохнуть или ослепнуть. Предпочтение одного из недугов заранее представлялось суеверным методом исключения другого. Только вот, как выяснилось, «выбора» не было. Ее удар не затронул ни слух, ни зрение — но она так и не смогла делать себе маникюр на протяжении того, что осталось от ее жизни. Мой брат надеется на смерть наподобие дедушкиной: тот был подкошен ударом за работой в саду. (Было еще слишком рано для высаживания капусты по Монтеню: он пытался завести непослушный плуг.) Брата страшат другие семейные примеры: бабушкина затянувшаяся изматывающая дряхлость, медленное заточение и унижения отца, мамины полубессознательные мании. Но еще можно выбирать огромное количество других возможностей — или же они выбраны для нас: столько разных дверей, пусть на всех них надпись «Выход». В этом смысле смерть — множественный выбор того, что «вы-бы-не-предпочли», и он расточительно демократичен по количеству вариантов.

Стравинский сказал: «Гоголь умер пронзительно крича, а Дягилев умер смеясь, но Равель умирал постепенно. И это хуже всего». Он был прав. Художники умирали и более жестокими смертями, с безумием, ужасом и банальным абсурдом (Вебер получил пулю от американского солдата после того, как степенно вышел на крыльцо раскурить сигару), но мало найдется таких же мучительных, как у Равеля. Что еще хуже, ей предшествовал странный прообраз — музыкальное пред-эхо — в виде смерти французского композитора предыдущего поколения. Эмманюэль Шабрие пал жертвой третичного сифилиса в 1894-м, в год парижской премьеры его единственной попытки серьезной оперы — «Гвендолины». Постановка этого произведения — возможно, единственной оперы, действие которой происходит в Британии VIII века, — заняла десять лет; к этому времени болезнь Шабрие была в финальной стадии, а его сознание — в далекой сказочной стране. На премьере он сидел в своей ложе, принимая аплодисменты и улыбаясь, «почти что не понимая по какому поводу». Порой он забывал, что опера его сочинения, и бормотал

соседу: «Очень хорошо, правда, очень хорошо».

Эта история была хорошо известна следующему поколению французских композиторов. «Ужасно, не правда ли, — любил говорить Равель, — отправиться на представление “Гвендолины” и не узнать собственную музыку!» Я помню, как мою подругу Доди Смит уже в преклонном возрасте ласково, доброжелательно спрашивали: «Доди, вы ведь помните, что когда-то были знаменитым драматургом?» На что та отвечала: «Да, думаю, что да» — тем же тоном, каким, по моим представлениям, мой отец ответил матери; «Думаю, что ты моя жена». Модистка может не узнать свою шляпку, дорожный рабочий — ограничитель скорости, писатель — свои слова, а художник — полотно; и это уже довольно болезненно. Но особенно острая боль, для тех, кто становится этому свидетелем, — когда композитор не в силах узнать собственные ноты.

Равель умирал постепенно — на протяжении пяти лет, — и это было хуже всего. Сперва его упадок, вызванный болезнью Пика (форма церебральной атрофии), носил пугающий, но общий характер. Он стал забывать слова, начали отказывать моторные функции. Он брал вилку за зубцы, он уже не мог оставить росчерк пера, он разучился плавать. Когда он отправлялся на обед, дворецкий предусмотрительно пришпиливал его адрес на подкладку пальто. Но затем зловредная болезнь приняла узкую направленность и стала разить Равеля как композитора. Он отправился на запись своего струнного квартета и сел в аппаратной, откуда предлагал музыкантам поправки. После каждой части его спрашивали, не хочет ли он прослушать ее еще раз, он отказывался. Запись прошла быстро, и все в студии были довольны, что справились за день. В конце Равель повернулся к продюсеру (и наша догадка о том, что он сейчас скажет, не может уменьшить эффект этих слов): «Действительно очень хорошо. Напомните мне, кто композитор». В другой раз он отправился на фортепианный концерт. Он слушал выступление с явным удовольствием, но когда все в зале стали хлопать ему, он решил, что они обращаются к сидевшему рядом с ним итальянскому композитору, и присоединился к аплодисментам.

Равеля приняли два ведущих французских нейрохирурга. Еще одно «что бы вы предпочли». Первый признал его неоперабельным и объявил, что здесь не следует препятствовать природе. Второй согласился бы с ним, будь пациентом кто угодно, кроме Равеля. Но если есть хотя бы малейший шанс — еще несколько лет для него, еще немного музыки для нас (музыки, которая есть «лучший способ переваривать время»)… Итак, вскрыли черепную коробку композитора и обнаружили, что

болезнь охватила обширные участки и лечению не подлежит. Десять дней спустя, с головой в больничных бинтах, Равель умер.

Лет двадцать тому назад меня попросили поучаствовать в книге о смерти в качестве интервьюируемого. Я отказался, ведь я сам писатель, и мне не хотелось надиктовывать кому-то материал, который мне может понадобиться самому. Когда книжка вышла, я не стал ее читать, наверное, из суеверного — или вполне рационального — страха, что кто-нибудь из ее соавторов мог уже внятно выразить мысль, к пониманию которой я только лишь приближался. Не так давно я принялся осторожно просматривать первую главу — интервью с неким «Томасом». Довольно скоро, буквально на второй странице, стало очевидно, что этот «Томас» есть не кто иной, как мой зацикленный на смерти друг и непримиримый отрицатель свободной воли Г.

Основной выбор относительно смерти (хотя выбора нам, конечно, никто не предоставит) таков: осведомленность или неведенье? Что бы вы предпочли — получить *le réveil mortel* или подремывать дальше в подбитых ватой шорах? Ответ на этот вопрос может показаться очевидным: есть сомнения — выбирай осведомленность. Но подобное знание может ранить. Говоря словами «Томаса»/Г.: «Люди, которые не боятся смерти, я полагаю, в большинстве своем просто не знают, что такое смерть… По меркам нравственной философии внезапная гибель человека (во цвете жизни) — это страшное зло; однако мне кажется, главное зло в том, что мы знаем: смерть неизбежна. Не знай мы об этом, так и было бы все равно». Во всяком случае, мы стали бы ближе к пингвинам: простофиля, что подваливает к кромке воды, подталкиваемый необходимостью и заботящимися о себе собратьями, может бояться тюленя, однако он не в состоянии осмыслить неизбежные последствия встречи с ним.

Для Г. не составляет труда понять или поверить, что человек, при всей сложности его устройства, просто исчезает навсегда. Для него это лишь проявление «вселенской расточительности», как и чудо микроинженерной мысли, проявившееся в создании комара. «Я воспринимаю это как вселенский перегиб, природа просто разбрасывается своими дарами, и человек — еще одно проявление этой расточительности. Невероятно развитый мозг и чувства репродуцируются в миллионах, а потом просто выбрасываются на ветер, растворяясь в вечности. Не думаю, что человек — это какой-то особый случай; на мой взгляд, теория эволюции все объясняет. Если задуматься, это очень красивая теория, потрясающая и вдохновенная, пусть даже ее выводы едва ли нас утешат».

Браво! Наверное, чувство смерти — это как чувство юмора. Каждый считает то, чем он наделен — или чего лишен, — необходимым и достаточным для верного восприятия жизни. Это, мол, другие выбиваются из нормы. Я думаю, что мое чувство смерти — которое отдельным друзьям кажется чрезмерным — весьма пропорционально. Для меня смерть — это вызывающий ужас факт, тем не менее во многом определяющий жизнь; и если вы не научитесь постоянно помнить о нем, едва ли вы поймете, что такое жизнь; только когда мы понимаем, единственно осознанием, что дни вина и роз сочтены, что вино скиснет, а розы, пожухнув в вонючей воде, будут выброшены — в итоге вместе с вазой, — создается нужный контекст для восприятия удовольствий и удовлетворения интересов на пути к могиле. Но это я так думаю. У моего друга Г. смертельный случай с осложнениями, его одержимость смертью кажется мне избыточной, если не сказать нездоровой (ах, «здоровое» отношение к подобным вопросам — где такое водится?).

Для Г. наша единственная защита от смерти — или, вернее, от угрозы утратить способность думать о чем-либо другом — состоит в «приобретении кратковременных, практически оправданных забот». Он также с утешением цитирует исследование, демонстрирующее, что страх смерти снижается после шестидесяти лет. Что ж, я добрался до этого рубежа раньше его и должен сказать, что по-прежнему жду обещанного. Не далее чем пару ночей тому назад я снова пережил этот тревожный момент, когда тебя будто что-то выталкивает из сна и ты просыпаешься один, беспросветно одинокий и, колошматя подушку, кричишь: «О нет! О нет! О НЕТ!» — и все это сливается в один бесконечный вопль, и в ужасе момента — нескольких минут — ты и не вспомнишь, что стороннему наблюдателю все это могло бы показаться шокирующим проявлением крайней на себе

зацикленности и несдержанной жалости к себе же. А кроме того, еще и невнятной: именно практически полное отсутствие описательных или просто подходящих моменту слов иногда даже вызывает во мне стыд. Боже мой, ты же *писатель,* говорю я себе. Ты *слова* за деньги продаешь. Неужели нельзя постараться? Неужели нельзя осадить смерть — нет, понятно, что осадить ее не получится, но хотя бы научиться выражать свое неприятие как-то более артикулировано? Известно, что крайняя физическая боль лишает нас способности говорить; с большим прискорбием приходится признать, что боль душевная имеет то же действие.

Я читал, что Золя похожим образом выскакивал из кровати, как ракета, запущенная из сна в безвоздушное пространство смертельного ужаса. Когда мне было двадцать и книг моих еще никто не издавал, я находил между нами много общего и думал, что если такое случается со всемирно известным писателем за пятьдесят, то ждать, что у меня это со временем пройдет, стоит едва ли. Романистка Элизабет Джейн Говард однажды сказала мне, что из всех, кого она знала, больше всего смерти боялись ее бывший муж Кингсли Эмис, Филип Ларкин и Джон Бэтжемен. Есть соблазн сделать вывод, что это писательский синдром, скорее даже синдром писателей-мужчин. Эмис часто говорил, что мужчины чувствительнее женщин, и, принимая во внимание его биографию, звучит это довольно комично.

Все это вызывает во мне глубокие сомнения — и мужская и писательская составляющая. Раньше, когда я был «просто» читателем, я был убежден, что писатели, в силу того, что они пишут книги, в которых есть правда, и описывают мир, и заглядывают в человеческие души, и способны постигнуть и частности и целое, и воспроизвести и то и другое в свободной, но в то же время структурированной форме, — что они *все понимают* и, соответственно, должны быть более чувствительными, а также менее суетными, тщеславными и эгоистичными, чем другие люди. Потом я сам стал писателем, стал знакомиться с другими писателями и наблюдать за ними и пришел к выводу, что единственное различие между ними и другими людьми, единственное их преимущество состоит в том, что они лучше пишут. Наверное, они чувствительные, восприимчивые, мудрые, способные обобщать и детализировать — но только за своими столами и в своих книгах. Отправившись же на поиски приключений в реальный мир, они обычно ведут себя так, будто все их глубокие представления о человеческом поведении застряли в печатной машинке. Впрочем, писатели здесь не одиноки. Частная жизнь философа — много ли в ней мудрости?

«От того, что человек философ, мудрее он не становится, — отвечает мой брат. — Хуже того, в своей полупубличной жизни они проявляют куда меньше здравого смысла, чем представители других академических профессий». Помню, как однажды я отложил автобиографию Бертрана Рассела, не то чтобы не поверив своим глазам, скорее с ужасом представив себе ситуацию. Вот как он описывает начало конца своего первого брака: «Днем я поехал кататься на велосипеде и, колеся по проселочной дороге, вдруг понял, что больше не люблю Элис. До того момента у меня не возникало и мысли, что моя любовь к ней хоть сколько-нибудь ослабевает». Единственным логическим заключением из этой истории и манеры, в которой она изложена, было бы: не давайте философам кататься на велосипеде. А может, не давайте философам жениться. Пусть лучше они обсуждают с Господом, что есть правда. В подобном споре я бы предпочел иметь Рассела среди своих сторонников.

В мой шестидесятый день рождения обедаю с Т., одним из немногих моих верующих друзей. Или же просто исповедующих религию? Так или иначе, он католик, носит крест на шее, и над кроватью у него висит распятие, что в прошлом приводило в замешательство некоторых его подруг. Да, это, пожалуй, больше похоже на верующего, нежели на отправляющего культ. Т. скоро женится на Р., у которой, может, хватит влияния, чтобы снять распятие, а может, и не хватит. Поскольку это день моего рождения, позволяю себе более обычного раскрепостить любопытство и спрашиваю, почему — кроме того, что он воспитывался в католической семье, — он верит в своего Бога и в свою религию? После недолгого размышления он отвечает: «Я верю, потому что хочу верить». На что я, в духе своего брата, парирую: «Если б ты сказал мне: “Я люблю Р., потому что хочу ее любить”, меня б это не слишком воодушевило как, впрочем, и ее». Поскольку это день моего рождения, Т. воздерживается от того, чтобы выплеснуть мне в лицо содержимое своего бокала.

По возвращении домой нахожу подсунутый под дверь пакетик и сперва испытываю легкое раздражение, поскольку специально просил обойтись Без Подарков, а конкретно эту подругу, известную своей щедростью, предупредил даже несколько раз. В коробочке обнаруживается нагрудный знак с надписью «СЕГОДНЯ МНЕ 60», мигающей синими и красными огоньками. Но что меня особенно порадовало и заставило сменить гнев на милость, так это напечатанное на картонной подкладке предупреждение от производителя: «ВНИМАНИЕ: может послужить причиной сбоя в работе электрокардиостимулятора».

Одна из «кратковременных и (возможно) практически оправданных забот», следующих за моим днем рождения, — это книжный тур по Америке. По приезде в Нью-Йорк — по дороге из аэропорта в город — я всегда проезжаю едва ли не самое большое из виденных мною кладбищ. Это ставшее ритуалом *memento mori* скорее доставляет мне удовольствие, возможно, потому что я так и не научился любить Нью-Йорк. Вся суета самого суетного и нарциссистского города на свете сводится к этому пародирующему Манхэттен нагромождению вертикальных надгробий. В прошлом я едва ли обращал внимание на размеры кладбища или статистику смертности (работа для Бога-Счетовода, в которого не мог поверить Эдмон де Гонкур). И тут впервые в жизни меня поражает другое: там пусто — никого. Кладбища похожи на современные поля: гектары пустоты, куда ни бросишь взгляд. И хотя встретить крестьянина, размахивающего косой, орудующего плугом или возводящего каменную межу, вы уже не ждете, полнейшее отсутствие человеческой деятельности, которую агропромышленное производство изжило с бывших лугов, пастбищ и размежеванных полей, — это еще один вид смерти: как будто пестициды вдобавок извели и всех крестьян. Так же и на этих кладбищах Квинса: ничто не шелохнется — ни душа, ни тело. В этом, безусловно, есть свой резон: мертвых хлопотунов никто не навещает, поскольку новое поколение городских торопыг слишком занято своими хлопотами. Если и есть на свете место печальнее кладбища, то это кладбище, на которое никто не приходит.

Спустя несколько дней я еду на поезде в Вашингтон, и где-то южнее Трентона мы проезжаем еще одно кладбище. Живых на нем не больше, но выглядит оно менее мрачно: кладбище приветливо растянулось вдоль путей, и нет в нем того ощущения бесповоротного конца и тотальной мертвечины. Здесь и мертвые как будто не настолько мертвы, чтоб их совсем забыли или чтоб они не были рады новым соседям. И вот на южной оконечности этого совершенно не зловещего участка обнаруживается пример настоящей американской жизнерадостности: плакат с надписью «БРИСТОЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ — МЕСТА В НАЛИЧИИ». Читается так, будто каламбур намеренный: присоединяйтесь, мол, места у нас больше, чем у конкурентов.

Места в наличии. Реклама — *даже на кладбище* — это по-американски. В то время как в Западной Европе старая религия пребывает в окончательном упадке, Америка остается христианской страной, поэтому неудивительно, что вера там все еще процветает. Христианство, которое разъяснило ветхозаветный богословский спор о жизни после смерти и выстроило систему

вокруг личного бессмертия как главного теолого-коммерческого аргумента, вполне подходит этому энергичному обществу, где многое строится на идее вознаграждения и нет ничего невозможного. А поскольку все тенденции в Америке доводятся до крайности, сейчас здесь установилось Экстремальное Христианство. Старая Европа предпочла не слишком торопиться на пути к окончательному установлению Царства Божьего: сперва надо как следует поразлагаться в могиле, а потом уже воскреснуть и предстать перед судом — всему свое время. В Америке с ее Экстремальным Христианством долго ждать не любят. Зачем клиенту ждать обещанного, если заказ можно доставить в кратчайшие сроки? Отсюда и фантазии, подобные изложенным в фильме «Вознесение», когда праведников посреди бела дня переносят вдруг на небеса, где они наблюдают, как Иисус и Антихрист яростно спорят о простирающемся под ними поле битвы, имя которому — планета Земля. Это своя, кинематографичная — будь то экшн, фильм-катастрофа или только для взрослых — версия конца света.

Смерть с последующим воскрешением: идеальная «трагедия со счастливым концом». Эту фразу обычно приписывают одному голливудскому режиссеру из тех, что считаются источником всего мирового остроумия; впрочем, я впервые встретил ее в автобиографии Эдит Уортон «Оглядываясь назад», где она вменяет этот афоризм своему другу романисту Уильяму Дину Хоуэллсу: так он утешал ее, когда премьера инсценировки ее «Дома радости» была прохладно встречена публикой. Таким образом, фраза эта впервые прозвучала в 1906 году, задолго до того, как все эти кинорежиссеры принялись сыпать остротами.

Успех романов Уортон вызывает еще большее удивление — и восхищение, — если вспомнить, как плохо ее взгляд на жизнь сочетался с американской надеждой на лучшее. Она редко становилась свидетельницей искупления грехов. А жизнь ей виделась трагедией — в лучшем случае мрачной комедией — с трагическим концом. А иногда просто драмой с драматическим финалом. (Ее друг Генри Джеймс определял жизнь как «осложнения перед смертью». А *его* друг Тургенев считал, что «самая интересная часть жизни — это смерть».) Не соблазнялась Уортон и мыслью о том, что жизнь, будь она трагичной, комичной или драматичной, непременно уникальна. Рассматривая наши не теряющие очарования — для нас — жизни, мы часто с пользой для себя забываем, что мы совсем не такие уж оригинальные. Мой друг М., когда уходил от жены к женщине много моложе его, все время жаловался: «Все говорят, что это так банально. Но я-то никакой банальности не чувствую». Отчего менее банальным этот

поворот в его биографии не стал. Что может оказаться так же верно и для всех нас, если взглянуть на наши судьбы более отстраненно — скажем, с точки зрения того высшего существа, которое воображал себе Эйнштейн.

Моя подруга биограф однажды предложила написать мою биографию с открытым, что называется, финалом. На что ее муж саркастически заметил, что книжка получится очень короткая, поскольку все мои дни похожи один на другой. «Проснулся, — предложил он. — Работал над книгой. Вышел из дома. Купил бутылку вина. Пришел домой, приготовил ужин. Выпил вина». Под таким «Кратким жизнеописанием» я готов подписаться немедленно — сойдет не хуже других; и правды в нем будет не меньше и не больше, чем в более объемистой биографии. Фолкнер говорил, что эпитафия писателю должна быть такая: «Он писал книги, а потом умер».

Шостакович знал, что делать искусство из смерти и о смерти «все равно что утирать нос рукавом». Скульптор Илья Слоним лепил его бюст, однако результат не удовлетворил председателя Союза композиторов РСФСР. «Нам нужен оптимистичный Шостакович», — сказал скульптору аппаратчик (и по совместительству композитор). Шостакович любил повторять этот оксюморон.

Постоянно размышляя о смерти, композитор не лишал себя удовольствия посмеяться — исключительно в узком кругу — над неоправданными надеждами, государственной пропагандой и артистической шушерой. Одним из любимых объектов его острот была популярнейшая в 1930-х годах пьеса давно позабытого пресмыкающегося Всеволода Вишневского, о котором один исследователь русского театра недавно написал: «Этот тип был чрезвычайно ядовитым даже по меркам нашего литературного серпентария». Пьеса Вишневского разворачивается на борту корабля во время большевистской революции и наилучшим образом описывает ситуацию так, как ее желали видеть власти. На военное судно прибывает молодая комиссарша, чтобы разъяснить и навязать линию партии команде из матросов-анархистов и старорежимных русских офицеров. Ее встречают равнодушием, скептицизмом, и нападками: один из матросов даже пытался ее изнасиловать, но она пристрелила его насмерть. Такой пример коммунистического духа и правосудия на месте помогает ей завоевать уважение матросов, из которых вскоре куется дееспособный боевой отряд. Брошенные против немцев — разжигателей войны, капиталистов и богомольцев, они каким-то образом оказываются в плену, но героически восстают против

захватчиков. В схватке вдохновенную комиссаршу убивают, и, умирая, она призывает уже окончательно советизированных матросов «держать марку военного флота». Занавес.

Однако к чувству юмора Шостаковича апеллировала не карикатурно верноподданическая фабула пьесы, но ее название: «Оптимистическая трагедия». Советский коммунизм, Голливуд и организованная религия были куда ближе друг другу, нежели могли подозревать, — фабрики грез штамповали весьма похожую продукцию. «Трагедия есть трагедия, — любил повторять Шостакович, — и оптимизм тут ни при чем».

Я видел двух мертвецов и прикасался к одному из них; однако я никогда не видел, как человек умирает, и, возможно, так и не увижу, пока не стану умирать сам. Если, когда смерти стали по-настоящему бояться, разговоры о ней сошли на нет, а с увеличением срока жизни вспоминать о ней стали и того реже, теперь она и вовсе ушла из повседневности просто потому, что ее нет с нами, в наших домах. Сегодня мы делаем все, чтобы смерть была как можно менее заметной; она стала частью процесса (врач — больница — похоронное бюро — крематорий), в ходе которого профессионалы и бюрократы руководят нами до того момента, когда мы остаемся сами по себе и стоим среди живых с бокалом в руке и учимся, неловкие, скорбеть. Но еще не так давно умирающий проводил последние дни у себя дома, кончался в кругу семьи, местные женщины омывали его тело, близкие проводили у тела ночь-другую в бдениях, после чего местный же гробовщик привозил свое творение. Мы, как Жюль Ренар, пошли бы пешком за покачивающимся, запряженным лошадью катафалком на кладбище, где наблюдали бы, как гроб опускают в могилу, на краю которой корчится жирный червь. Мы были бы более внимательны и уместны. И им хорошо (хотя брат опять скажет, что я толкую о несуществующих желаниях мертвецов), и нам, наверное, тоже. Старая система подразумевала более степенный переход от жизни к смерти и от смерти к забвению. Та спешка, в которой это происходит сегодня, безусловно, правдиво отражает наше видение — сейчас ты жив, а через минуту помер, и помер безвозвратно, так что давайте прыгнем в машину и покончим с этим поскорее. (На чьей машине поедем? Не на той, на какой хотела бы она.)

Стравинский пришел попрощаться с Равелем, пока тело не положили в гроб. Тело лежало на столе, покрытом черной скатертью. Все было черным или белым: черный костюм, белые перчатки, белый больничный колпак по-прежнему покрывал голову, черные морщины на очень бледном лице, на котором

застыло «величественное выражение». На этом величие смерти и закончилось. «Я пошел на погребение, — писал Стравинский, — унылое зрелище, из тех похоронных церемоний, где все происходит сугубо по протоколу». Это было в Париже в 1937 году. Когда тридцать четыре года спустя пришел черед Стравинского, его тело доставили самолетом из Нью-Йорка в Рим, потом перевезли в Венецию, где повсюду были расклеены пурпурно-черные траурные прокламации: «ВЕНЕЦИЯ СКЛОНЯЕТ КОЛЕНИ ПЕРЕД ОСТАНКАМИ ВЕЛИКОГО МУЗЫКАНТА ИГОРЯ СТРАВИНСКОГО, КОТОРЫЙ В ПРОЯВЛЕНИЕ КРАЙНЕЙ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И ДРУЖБЫ ИЗЪЯВИЛ ВОЛЮ БЫТЬ ПОХОРОНЕННЫМ В ГОРОДЕ, КОТОРЫЙ ОН ЛЮБИЛ БОЛЬШЕ ДРУГИХ». Архимандрит Венеции отслужил в базилике Святых Джованни и Паоло панихиду по греческому православному обряду, после чего гроб пронесли перед статуей Коллеони и далее на плавучем катафалке в сопровождении четырех гондол доставили на кладбищенский остров Сан-Микеле, где архимандрит и вдова Стравинского бросили на опускаемый в склеп гроб по горсти земли. Франсис Стигмюллер, великий исследователь Флобера, описал события того дня. По его словам, когда кортеж следовал от церкви к каналу, из каждого окна свисали венецианцы, и вся сцена напоминала «одно из пышных полотен Карпаччо». Все это, конечно, выходило далеко за рамки протокола.

Пока я не увижу, как умираю сам. Вы бы предпочли сознавать, что умираете, или оставаться в неведении? (Есть еще третий — и весьма популярный — вариант, когда больного вводят в заблуждение, будто он выздоравливает.) Но в таких желаниях следует соблюдать осторожность. Рой Портер хотел быть в полном сознании: «Потому что иначе вы просто пропустите нечто весьма важное». Далее он пояснял: «Естественно, никто не хочет испытывать мучительную боль и все, что с этим связано. Но, полагаю, любому захочется, чтобы рядом были люди ему небезразличные». Вот на что Портер надеялся, а вот что ему выпало. Ему было пятьдесят пять лет, незадолго до этого он рано вышел на пенсию, переехал в Суссекс со своей пятой женой и зажил свободным писателем. Он возвращался на велосипеде домой из своих владений (сложно не представить себе проселочную дорожку, похожую на ту, где Бертрана Рассела осенило относительно его брака), когда его сразил сердечный приступ, и он умер один, на обочине. Было ли у него время проследить, как он умирает? Была ли его последней мыслью надежда, что он очнется в больнице? Свое последнее утро он провел, сажая горох (наверное, это самое близкое к пресловутой

французской капусте). Домой он вез букет цветов, которые в одно мгновение превратились в придорожный памятник ему же.

Мой дедушка сказал, что нет в жизни чувства хуже, чем угрызения. Моя мать не поняла этого высказывания, а я не знаю, к каким событиям его отнести.

Смерть и угрызения I. Когда Франсуа Ренар, проигнорировав совет сына использовать клизму, вместо этого взял дробовик и при помощи трости выстрелял дуплетом, после чего «над поясом возникло темное пятно, похожее на небольшое пепелище», Жюль написал: «Я не корю себя за то, что недостаточно его любил. Я корю себя за то, что его не понял».

Смерть и угрызения II. С тех пор как я прочел эту строчку из дневников Эдмунда Уилсона, она преследует меня. Уилсон умер в 1972 году; описываемые события произошли в 1932-м, прочел я о них в 1980-м, когда были опубликованы «Тридцатые».

В начале того десятилетия Уилсон женился второй раз — на некой Маргарет Кэнби. Это была приземистая дамочка из высшего общества, с насмешливым лицом и «вкусом к шампанскому»: до Уилсона она не знала никого, кто бы сам зарабатывал себе на жизнь. В «Двадцатых» — предыдущем томе своих дневников — Уилсон упоминает ее как «лучшую собутыльницу из всех, что я знаю». Там же зафиксированы его первые намерения на ней жениться, как и благоразумные сомнения: «Хоть мы и ладили, общего у нас не так уж много». Но они таки поженились, и их алкоголический союз с самого начала был отмечен неверностью и частыми расставаниями. Если у Уилсона были сомнения относительно Кэнби, то у нее к нему возникали вопросы посерьезнее. «Ты, Банни Уилсон, человек холодный и невыразительный, как снулая рыба», — выдала она ему однажды, и фразу эту со свойственной ему безжалостностью он сохранил в дневнике.

В сентябре 1932 года, состоя в браке всего два года, они в очередной раз разошлись. Маргарет Кэнби жила в Калифорнии, Уилсон — в Нью-Йорке. Однажды она пошла на вечеринку в Санта-Барбаре и надела туфли на высоком каблуке. Выходя с вечеринки, она оступилась, покатилась по каменной лестнице, разбила череп и умерла. Этому событию мы обязаны сорока пятью страницами дневника Уилсона, наполненными самыми честными словами скорби и самобичевания, когда-либо ложившимися на бумагу. Записи Уилсона начинаются, когда его самолет медленно, на бреющем полете движется на запад, как будто это литературное усилие поможет ему сдерживать эмоции. В следующие несколько дней эти короткие записи раскрываются в

потрясающий монолог, в котором есть и преклонение, и эротические воспоминания, и отчаяние, и угрызения совести. «Ужасный вечер, но в моих воспоминаниях даже он представляется чудесным», — пишет он. В Калифорнии мать Кэнби требует от него: «Ты должен верить в бессмертие, Банни, должен!» Но он не верит и не может верить: Маргарет мертва, ее не вернуть.

Уилсон ничего не скрывает ни от себя, ни от своего предполагаемого читателя. Он припоминает каждый язвительный упрек, когда-либо произнесенный Кэнби. Однажды она сказала своему вечно недовольному мужу, что эпитафия на его надгробии должна быть такая: «Пойди-ка приведи себя в порядок». Он с восхищением вспоминает ее: в постели, на вечеринке, в смущении, в слезах. Он вспоминает, как, когда они занимались любовью на пляже, отгонял мух, и превозносит ее «хитроумное» тело с короткими конечностями. («Не говори так! — возмущалась она. — Можно подумать, будто я черепаха!») Он вызывает в памяти ее неосведомленность в практических вопросах, лишь прибавлявшую ей очарования в его глазах («Я выяснила, что это у нас там за дверью, — это чечевица»), и тут же цитирует ее непрекращающиеся жалобы: «Однажды я сверну себе шею. Ну почему ты не хочешь мне помочь?» Она сетовала, что он относится к ней, как к очередному предмету роскоши, как к духам «Герлен»: «Ты бы порадовался, если б я умерла, сам же знаешь».

Тот факт, что поведение Уилсона по отношению к жене оставляло желать лучшего как до, так и после свадьбы, и что его скорбь была омрачена оправданным чувством вины, и придает силы этому траурному потоку сознания. Парадокс состояния Уилсона, придававший ему вдохновения, состоял в том, что смерть человека, обвинявшего его в бесчувственности, открыла в нем способность к сильным чувствам. А строчка, которая осталась в моей памяти навсегда, такая: «Только когда она умерла, я полюбил ее по-настоящему».

Это не важно, что Банни Уилсон был человеком холодным и невыразительным, как снулая рыба. Не имеет значения, что их отношения были ошибкой, а брак — полной катастрофой. Важно только, что Уилсон говорил правду и что неподдельное раскаяние звучит в этих словах: «Только когда она умерла, я полюбил ее по-настоящему».

Мы всегда можем предпочесть знание неведенью; осознанную смерть ложной надежде; надеяться на лучший исход, когда холодный разум отслеживает постепенный распад, возможно, как

Вольтер, держа палец на прерывающемся пульсе. И все это может нам выпасть; и тем не менее необходимо принимать во внимание свидетельство Артура Кёстлера. В «Диалоге со смертью» он описал свои переживания во франкистских тюрьмах Малаги и Севильи во время гражданской войны в Испании. Следует признать существенную разницу между молодыми мужчинами перед лицом неминуемой казни от рук политических врагов и пожилыми мужчинами и женщинами, чья жизнь уже позади, кому предстоит лишь тихое угасание. Однако Кёстлер наблюдал многих обреченных на смерть — и считал себя одним из них — и пришел к следующим заключениям. Первое: никто даже в камере смертников, даже слыша, как расстреливают его друзей и товарищей, не способен по-настоящему поверить в собственную смерть; на самом деле Кёстлер полагал, что этот факт можно объяснить квазиматематической формулой: «Неверие в собственную смерть растет пропорционально ее приближению». И второе: находясь вблизи смерти, разум прибегает к разнообразным уловкам — чтобы обмануть нас, вырабатывает «милосердный наркотик или экстатический стимулятор». В частности, Кёстлер полагал, что сознание способно делиться надвое так, чтобы одна его часть спокойно наблюдала за переживаниями другой. Таким образом «сознание уходит от того факта, что оно может быть уничтожено полностью». Двадцатью годами ранее в работе «Своевременные мысли о войне и смерти» Фрейд писал: «И действительно, представить собственную смерть невозможно; когда бы мы ни пытались это сделать, довольно быстро становится ясно, что мы все равно присутствуем, в качестве наблюдателей». Кёстлер также сомневается в подлинности рассказов о хладнокровном самонаблюдении на смертном одре, каким бы ясным ни казался ум и толковыми суждения. «Я не верю, чтоб с начала мира хоть один человек умер *осознанно*. Когда Сократ, сидя в окружении учеников, протянул руку к чаше с ядом, наверняка он как минимум наполовину был убежден, что попросту пускает пыль в глаза… Конечно, он понимал, что любой, кто осушит этот бокал, наверняка умрет; но у него, скорее всего, было ощущение, что ситуация на самом деле совсем не такая, какой ее представляют его пылкие, лишенные чувства юмора ученики; что есть еще некий хитрый маневр, известный только ему одному».

Кёстлер заканчивает свои «Диалоги со смертью» сценой настолько кинематографичной, изящной и неправдоподобной, что выдумать ее при всем желании было бы невозможно. Его выпустили из тюрьмы в обмен на жену франкистского аса-истребителя, которому и поручили доставить его к месту встречи.

Когда их самолет зависает над бескрайним белым плато, пилот-чернорубашечник убирает руку со штурвала и заводит со своим политическим противником крикливый разговор о жизни и смерти, левых и правых, храбрости и трусости. В какой-то момент писатель орет летчику: «До того как родиться, мы все были мертвы». Пилот соглашается и спрашивает: «Почему же тогда человек боится смерти?» — «Смерти я никогда не боялся, — отвечает Кёстлер, — только умирания». — «А у меня ровно наоборот!» — кричит в ответ чернорубашечник.

Только кричали они, вероятно, по-испански. Страх смерти или страх умирания, что вы предпочтете? С кем вы — с коммунистом или с фашистом, писателем или летчиком? Почти все боятся одного до полного вытеснения другого; как будто в голове просто недостаточно места. Если боитесь смерти, значит, не боитесь умирать; если боитесь умирать — не боитесь смерти. Но логического объяснения, почему одно исключает другое, не существует; почему разум, предприняв направленное усилие, не способен расшириться, чтобы вместить и то и другое. Как человек, который не прочь был бы поумирать, если б в итоге не пришлось скончаться по-настоящему, я, конечно, могу начать с размышлений о том, что именно в умирании так меня страшит. Я боюсь оказаться в положении своего отца, когда он, сидя на стуле возле больничной койки, с абсолютно несвойственным ему раздражением распекал меня: «Ты сказал, что приедешь *вчера»,* — пока по моему смущенному виду не сообразил, что это он все перепутал. Я боюсь быть как мама, которая воображала, что по-прежнему играет в теннис. Боюсь быть как друг, который, желая умереть поскорее, несколько раз подряд сообщал по секрету, что ему удалось добыть достаточно таблеток, дабы покончить с жизнью, и что он уже проглотил их, но теперь жутко переживает, что из-за него у медсестры будут неприятности. Боюсь быть как знакомый литератор, отличавшийся врожденной галантностью, который, по наступлении маразма, принялся потчевать свою жену самыми жесткими сексуальными фантазиями, как будто именно этим всю жизнь и хотел с ней заняться. Боюсь быть как восьмидесятилетний Сомерсет Моэм, который скидывал штаны и гадил на ковер за диваном (даже если в этот момент я вспоминал бы счастливое детство). Боюсь быть как мой пожилой друг, человек весьма рафинированный и брезгливый, в чьих глазах отразился животный ужас, когда сестра в доме престарелых в присутствии гостей объявила, что ему пора поменять подгузник. Боюсь того нервного смешка, что вырывается, когда ты недопонял аллюзию или не можешь вспомнить, о чем тебе рассказывают, или не узнаешь знакомое лицо, а потом перестаешь доверять

многому из того, что, как казалось, знаешь наверняка, и в итоге не доверяешь уже ничему. Боюсь катетеров и автоматических кресел, недержания и деградации. Меня страшит доля Шабрие/Равеля, когда не знаешь, кто ты есть и что ты сделал. Возможно, Стравинский в самом преклонном возрасте это и имел в виду, когда, сидя в своей комнате, звал жену или других домочадцев. На вопрос: «Чего ты хочешь?» — он отвечал: «Убедиться в собственном существовании». Для этого можно было просто пожать руку, или поцеловать, или поставить любимую пластинку.

Артур Кёстлер в преклонном возрасте гордился сформулированной им головоломкой: «Что писателю лучше — забвение до смерти или смерть до забвения?» (Жюль Ренар не сомневался в ответе: «Мы с Рыжиком живем вместе, но я, надеюсь, умру раньше, чем он».) Однако это недостаточно замкнутый выбор, чтобы нельзя было предположить и третьей возможности: писатель еще при жизни может полностью забыть о том, что он писатель.

Когда Доди Смит спросили, помнит ли она, что является знаменитым драматургом, а она ответила: «Да, думаю, что да», — на лице ее была та же сосредоточенность, а брови так же нахмурены, как и в те разы, когда она на моих глазах максимально правдиво отвечала на десятки вопросов в течение многих лет. Иными словами, она как минимум оставалась собой. За этими непосредственными страхами умственного и физического увядания кроется наша надежда, за которую мы держимся обеими руками. Мы хотим, чтобы о нас сказали: «До самого конца он оставался самим собой, даже когда не мог говорить/видеть/слышать». И пусть наука и опыт самопознания заставили нас усомниться в содержании нашей личности, мы все равно хотим оставаться собой, сохранить характер, который мы — возможно, ошибочно — приписывали себе, и только себе.

Воспоминания суть личность. Я верил в это с тех пор, как… ну, с тех пор, как себя помню. Ты есть то, что ты сделал; то, что ты сделал, остается в памяти; то, что ты помнишь, определяет, кто ты есть; когда мы забываем свою жизнь, то перестаем существовать — еще до смерти. Когда-то я много лет подряд безуспешно пытался спасти одну мою подругу от алкоголической бездны. Я наблюдал с близкого расстояния, как она утрачивала кратковременную память, а потом и долгосрочную, и параллельно все, что между ними. Ужасающий пример того, что Лоренс Даррелл в одном из своих стихотворений назвал «бесчестьем падшего разума». А с падением — потеря частных и более общих воспоминаний, захлестываемых абсурдными выдумками, которыми сознание утешает и подбадривает себя и

ее, но только не окружающих. Для тех, кто знал и любил ее, падение это было почти таким же чувствительным. Мы старались держаться за свои воспоминания и — таким нехитрым способом — за нее, убеждая себя, что «она» все еще с нами, что сквозь густой туман ее еще можно разглядеть в моменты просветления. Как будто оспаривая кого-то, я повторял, стараясь убедить себя и тех, к кому обращался: «Внутри она такая же, как прежде». Потом я осознал, что все это время обманывал себя и что «внутренние» разрушения были вполне сопоставимы с внешними. Она ушла, погрузилась в мир, в который верила лишь она сама — и только из приступов панического страха становилось ясно, что вера эта пребывала с ней далеко не всегда. Личность — это воспоминания, сказал я себе; память есть воспоминания.

Быть собой до конца: вот поучительный случай. Юджин О'Келли — пятидесяти трех лет, президент одной из ведущих бухгалтерских фирм в Америке. По его собственному описанию — хрестоматийная история успеха: персона «первого класса», 20 тысяч подчиненных, сверхнасыщенный распорядок дня, дети, которых он почти не видит, и преданная жена, которую он называет «мой личный визирь». Вот рассказ О'Келли о том, как выглядит его идеальный день:

> Сначала пара встреч с клиентами с глазу на глаз — это у меня самое любимое. Беседа по крайней мере с одним из членов моего ближнего круга. Телефонные переговоры с партнерами в Нью-Йорке и в других офисах по всей стране, в ходе которых я узнаю, чем могу им помочь. Я улаживаю конфликты. Иногда с кем-нибудь из наших конкурентов мы обсуждаем, как нам вместе ускорить достижение общих профессиональных целей. Выполнение множества заданий, вписанных в мой электронный ежедневник. Продвижение как минимум в одной из трех сфер, улучшение которых я поставил себе основной задачей, когда три года назад был избран на высокую должность партнерами компании: дальнейший рост предприятия… повышение качества и снижение рисков; и, что наиболее важно для меня и для долгосрочного благополучия всей фирмы, это сделать нашу компанию еще более привлекательным местом трудоустройства, что позволяло бы работникам вести более сбалансированный образ жизни.

Весной 2005 года О'Келли оказался «в числе пятидесяти глав компаний, приглашенных в Белый дом для участия в "круглом

столе” с президентом Бушем. Можно ли представить себе человека более удачливого в работе, чем я?»

Но как раз в этот момент удача отвернулась от О’Келли. То, что казалось ему временной усталостью после особенно напряженного графика, обернулось легкой атрофией щечной мышцы, затем подозрением на паралич лицевого нерва, а потом — внезапно и необратимо — диагнозом: неоперабельный рак мозга. Этот конфликт было уже не уладить. И самые дорогие эксперты не могли отвести неминуемую правду: три месяца максимум.

О’Келли отреагировал как «человек целенаправленный», как настоящий чемпион корпоративной конкурентной борьбы. «Успешный управленец стремится быть максимально стратегически подкованным, готовым одержать верх в любой ситуации, так и теперь, в свои последние сто дней, я стремился быть максимально последовательным». В сложившейся затруднительной ситуации он решил применить «навыки топ-менеджера». Он понимает, что должен «сформулировать новые цели. И побыстрее». Он пытается «выяснить, что мне, как индивидууму, необходимо поменять в кратчайшие сроки, дабы приспособиться к новым жизненным обстоятельствам». Он составляет «финальный и самый важный список дел за всю жизнь».

Приоритеты, методы, цели. Он приводит в порядок свои дела и финансы. Он решает, как ему «развить» отношения, путем создания «незабываемых моментов» и «незабываемых дней». Он начинает «переход в следующее состояние». Он планирует собственные похороны. Неутомимый конкурент, он хочет, чтобы его смерть была «самой лучшей из возможных», и, закончив со списком дел, приходит к заключению: «Итак, теперь я создал мотивацию, чтобы “преуспеть” в смерти».

Тем, кто полагает, что всякие Сто дней неизбежно ведут к Ватерлоо, само понятие «преуспеть в смерти» может показаться комичным, даже гротескным. Но ведь любая смерть кому-то может показаться комичной! (А знаете, что сделал О’Келли вскоре после того, как узнал, что ему осталось три месяца? Он написал *рассказ*! Как будто этого добра мало…) Однако, воспользовавшись услугами существа, которое можно обозначить только словом «призрак»[34], он создал книгу, которую собирался написать ты, — книгу об умирании — перед лицом окончательно поставленной даты.

О’Келли составляет список друзей, отношения с которыми он хочет развить, и распределяет их по категориям. Еще не дойдя до своего ближнего круга, он с удивлением обнаруживает, что в его

книге уже тысяча имен. Но с напором и быстротой, привычными для совершения сделок, он справляется с этим списком ровно за три недели: иногда это телефонный звонок или записка, иногда краткая встреча, возможно содержащая «незабываемый момент». Когда дело доходит до развития отношений с более близкими друзьями, человеческий фактор периодически дает сбои. Один или двое друзей не желают, чтоб от них отмахивались такого рода прощанием, прогулкой по парку с обменом общими воспоминаниями. Однако, как настоящий управленец, О'Келли отметает их неисправимо сентиментальные доводы. Он твердо настаивает: «Я хочу, чтобы все было именно так. Я устроил это специально, чтобы мы могли развить наши отношения. И чтобы из этого получился незабываемый момент. Давай примем все как есть и будем двигаться дальше. И не будем планировать еще одну встречу. Невозможно сделать незабываемый момент еще более незабываемым».

Нет, едва ли я выбрал бы такую линию поведения. С другой стороны, я сомневаюсь, что когда-либо встречал таких людей, как О'Келли. «Развитие отношений», которое он спланировал для своей дочери-подростка, включало в себя путешествие в Прагу, Рим и Венецию. «Мы полетели на частном самолете, которому пришлось сесть на дозаправку на Крайнем Севере, где Джина имела возможность встретиться с эскимосами и вступить с ними в торговлю». Оставаться собой настолько, что это уже больше похоже на карикатуру. То есть ты планируешь прощание с дочерью, в рамках которого подстраиваешь *возможность встретиться с эскимосами и вступить с ними в торговлю?* А эскимосам сообщили, какова их почетная функция в этом незабываемом событии?

Такие моменты могут спровоцировать насмешки и вздохи удивления. Тем не менее О'Келли действительно умирал, как жил, чего и всем нам можно было бы пожелать. Хитрил ли он при этом, это другой вопрос. До этого дел с Господом у директора было не много, все из-за напряженного расписания; хотя, бывало, он и использовал Его в качестве аварийного комиссара. Несколькими годами ранее у будущей маркитантки Крайнего Севера диагностировали болезнь Стилла[35], и теперь ее отец вспоминал: «В тот год меня часто можно было встретить в церкви». Теперь, в преддверии закрытия собственной сделки, О'Келли снова направляет запрос в наднациональную небесную штаб-квартиру. Он молится и учится медитировать. Он чувствует поддержку «с той стороны» и сообщает, что «между этой стороной и той боли не существует». Жена объясняет ему: «Если ты победишь страх, то победишь и смерть», — что, конечно, не

поможет *не умереть*. Уходит О'Келли, по словам своего личного визиря, «в состоянии спокойного принятия и искренней надежды».

Психоаналитики утверждают, что сложнее всего умирать людям, наиболее привязанным к собственной личности. Принимая во внимание статусность О'Келли, его возраст и скоропостижность кончины, поведение его производит наилучшее впечатление. Может быть, Бог сам не против, когда к нему обращаются только в критических ситуациях. Сторонним наблюдателям может показаться, что такое нерегулярное и корыстное внимание оскорбит любое уважающее себя божество. Он, однако, может смотреть на вещи иначе. Может, Ему и не нужно, по скромности Его, ежедневно присутствовать, нависая над нашими жизнями. Может, Ему нравится роль аварийной команды, страховой компании, специалиста по аннулированию контрактов.

О'Келли не пожелал, чтоб на его похоронах звучал орган; он предпочел флейту и арфу. Я поставил своей матери Моцарта; она моему отцу — Баха. Мы посвящаем какое-то время размышлениям о музыке для наших похорон; о том, под какую музыку умирать, мы думаем меньше. Помню, как литературный редактор Теренс Килмартин, один из тех, кто поддерживал и воодушевлял меня на первые шаги, валялся на кровати внизу, когда у него не было сил подняться по лестнице, и слушал струнные квартеты покойного Бетховена на бумбоксе. Императоры и папы при смерти могли созывать собственные хоры и оркестры, чтобы те дали им возможность испробовать ожидающей их вечной славы. Современные технологии сделали императоров и пап из всех нас; и даже если вы не верите в христианский рай, «Магнификат» Баха, «Реквием» Моцарта или «Стабат Матер» Перголези может подсвечивать ваш череп изнутри, пока тело ваше угасает. Сидни Смит полагал, что в раю едят фуа-гра под звуки трубы — которые мне всегда казались скорее шумом, нежели гармонией. Так ведь можно поставить и духоподъемную мессу «Гимн святой Цецилии» Гуно, и тогда слух будут офомлять духовые, пока в вену капает питательная смесь.

Подозреваю, что если мне случится умирать без особой спешки, я предпочту книгам музыку. Да и будет ли в голове место для чудесного морока сочинительства, для работы мысли: сюжета, ситуации, характеров?.. Нет, мне, наверное, больше подойдет музыка, внутривенно: прямо в кровеносную систему, прямо к сердцу. «Наилучший способ переваривать время», возможно, поможет переварить подступающую смерть. Кроме того, музыка ассоциируется у меня с оптимизмом. Когда я узнал,

что Исайя Берлин в преклонном возрасте любил заказывать билеты на концерты на месяц вперед (я частенько высматривал его в одной и той же ложе Фестивал-Холла), я тут же почувствовал в нем близкую душу. Покупка билетов каким-то образом дает гарантию того, что ты услышишь музыку, продлевает твою жизнь как минимум до тех пор, пока не стихнет эхо последних аккордов на оплаченном тобой концерте. Опять же, неизвестно почему, но с театром это не работает.

Однако все зависит от того, насколько мне удастся оставаться самим собой. Когда я впервые обдумывал наилучший сценарий собственной смерти (*x* месяцев, время, достаточное, чтобы написать 200–250 стр.), я воспринимал это как само собой разумеющееся. Я полагал, что останусь собой до конца, инстинктивно придерживаясь своей писательской ипостаси, требующей от меня описывать и давать определения миру, даже покидая оный. Однако личность на финишной прямой может подвергаться неожиданным потрясениям, гиперболизациям и искажениям. Друг Брюса Чатвина впервые понял, что писатель, должно быть, серьезно болен, когда тот заплатил за обед, что до тех пор было для него совершенно не характерно. Кто может предсказать реакцию сознания на собственный скорый исход?

Монтень умер не так, как ему мечталось — высаживая капусту у себя на огороде. Смерть к этому скептику и эпикурейцу, толерантному деисту, писателю безграничной любознательности и учености, пришла, когда в его спальне служили мессу: ровно в момент (так, во всяком случае, говорят) подношения Святых Даров. Образцовая смерть для католической церкви — что не помешало внести его работы в Индекс[36] на следующие сто лет.

Двадцать лет назад я посетил его дом — или, скорее, его писательскую башню, — что недалеко от Бордо. На нижнем этаже — часовня, спальня на втором, на верхнем кабинет. По прошествии четырех столетий подлинность фактов, как и домашней обстановки, проверить было невозможно, что любой философ воспринял бы априори. Присутствовал сломанный стул, на котором, возможно, сиживал великий эссеист — а если нет, значит, сидел на чем-то похожем. О спальне во французском путеводителе было написано вкрадчиво и уклончиво: «Ничто не мешает нам думать, что скончаться он мог именно здесь». В кабинете на балках по-прежнему были надписи на греческом и латыни, пусть их и подновляли много раз; а вот тысячетомная библиотека Монтеня, которая и была его вселенной, давно уже рассеяна. Не было даже полок: о них напоминали лишь две металлические скобы, на которых они, возможно, крепились. Все

это показалось мне сугубо философичным.

Прямо рядом со спальней, где, возможно, скончался Монтень, вероятно уставившись на подносимые Святые Дары (впрочем, ничто не мешает нам думать, что он вспоминал о своей капусте), расположен небольшой уступ, откуда философ мог наблюдать, не прерывая своих мыслей, за мессой, которую служили внизу. В узкой изогнутой арке из семи ступеней была замечательная акустика и священника было видно вполне. Когда гид и другие туристы пошли дальше, некий инстинкт почтения сподвиг меня ступить на эту площадку и начать спускаться по ложной лестнице. Через две ступеньки я поскользнулся, и мне пришлось мгновенно растопырить конечности и упереться в стены, чтобы как-то предотвратить падение и не улететь сквозь каменную воронку в расположенную ниже часовню. Стиснутый в узком проходе, я испытал клаустрофобию, знакомую по снам — из тех, когда оказываешься под землей в какой-то сужающейся трубе или колодце, а вокруг становится все темнее, и тебя охватывает паника и ужас. Про такой сон еще до пробуждения совершенно понятно, что он точно про смерть.

Сны всегда вызывали у меня подозрения или, скорее, чрезмерный интерес. Я знал одну пару — они давно и не скрывая этого любили друг друга, их день всегда начинался с того, что жена пересказывала мужу сны, занимавшие ее ночью. Этой традиции они были верны и когда им было уже за семьдесят. Я же предпочитаю — а на самом деле считаю неоценимой — чрезвычайную лаконичность, с которой к пересказу снов подходит моя жена. Она просыпается и выдает либо краткую сводку — «пустыня какая-то», либо сжатую критическую оценку, например «стыд один» или «хорошо, что я выбралась из *этого*». Иногда описание и оценка совмещаются: «Индийские сны, как длинный бессвязный роман». После чего она снова засыпает и забывает о сказанном.

Это мне кажется правильным отношением к снам. Когда я начинал заниматься писательством, я установил для себя два правила: никаких снов, никакой погоды. Как читателя меня давно уже раздражала «знаменательная» метеорология — грозовые облака, радуги, далекий гром, — как и «знаменательные» сны, предчувствия, явления и тому подобное. Я даже собирался назвать свой первый роман «Не погода», но книга писалась так долго, что в итоге название показалось мне слишком скромным.

Смерть снится мне, как можно было предположить, нередко: бывают сны могильные, с заключением под землю и сужающимися туннелями; случаются и более динамичные, похожие на фильмы про войну, где меня преследуют, окружают

превосходящие числом и вооружением противники, а у меня кончаются патроны, меня берут в плен, отправляют по ошибке на расстрел, где сообщают, что жить мне осталось даже меньше, чем я предполагал. Обычная история. Когда несколько лет назад меня посетила вариация на заданную тему, я вздохнул с облегчением. В том сне я вселялся в гостиницу для самоубийц в некой стране, толерантной к решившим добровольно уйти из жизни. Я подписал необходимые бумаги, и моя жена согласилась то ли присоединиться ко мне, то ли, что больше на нее похоже, сопроводить и помочь мне в этом предприятии. Однако по прибытии я нахожу это место чрезвычайно унылым — дешевая мебель, обшарпанная кровать, от которой несет прошлыми и будущими постояльцами, скучающие аппаратчики, которые воспринимают тебя как очередную жертву их бюрократической машины. Я понимаю, что принял неверное решение. Я не хочу закончить жизнь здесь (даже селиться здесь не желаю), я совершил ошибку, в жизни еще так много интересного, а впереди пусть недолгое, но будущее; хотя, даже прокручивая в голове эти мысли, я понимаю, что процесс, под которым я подписался, запущен, обратного хода уже нет, через несколько часов, а то и минут я умру, потому что избежать этого просто невозможно и никакая кёстлеровская уловка мне не поможет.

Новым сном я если не гордился, то, во всяком случае, радовался, что мое подсознание, по крайней мере, получает какие-то обновления, идет в ногу с мировыми тенденциями. Обнаружив в последней книге «Ушиб времени» поэта Д. Дж. Энрайта описание практически такого же сна, я порадовался чуть меньше. Заведение, в котором он забронировал номер, похоже, было поприличнее, но, как это обычно случается в сновидениях меланхоликов, что-то неизбежно пошло не так. В его случае в гостинице для самоубийц кончился отравляющий газ. В итоге решено было отправить фургон с Энрайтом и его женой на местную почту, и он опасался — вполне оправданно, — что почтовый инвентарь окажется менее гуманным и эффективным.

По здравом размышлении такая одновременность меня не слишком огорчила (собственничество в отношении снов — весьма странная форма тщеславия). Меня больше встревожило, когда в другом месте книги Энрайта я наткнулся на следующее высказывание: «Я бы не слишком противился умиранию, если б оно не вело к смерти». Но ведь это *я* первый сказал, подумал я, — я говорил это много лет и писал тоже. Вот, смотрите, в моем первом романе, том, что не называется «Не погода». «Я был бы вовсе не прочь поумирать, если б знал, что в конце концов все не закончится Смертью». (Перечитывая это предложение, я задаюсь

вопросом, следует ли смущаться повторением «конца». В ответ на упрек я бы, наверное, стал доказывать, что сделал это намеренно, дабы подчеркнуть конечность. Так ли это было в действительности, я не помню.) Итак, кого же цитирует Энрайт? Некоего Томаса Нейджела и его книгу «Смертельные вопросы». Гуглим, находим: профессор философии и права Нью-Йоркского университета; книга напечатана в 1979 году, моя вышла в 1980-м. Черт. *Я* мог бы предъявить, что работу над своей книгой начал лет за восемь-девять, но это было бы не убедительнее, чем отказ от самоубийства в моем сне. Нет сомнений, что кто-то добрался туда даже раньше, чем мы оба; возможно, кто-нибудь из древних греков, в которых так хорошо разбирается мой брат.

Вы, наверное, заметили, возможно, даже не без сожаления, с какой горячностью прозвучало: «Но ведь это *я* первый сказал». Такое настойчивое, ударное, курсивом выделенное *я.* То *я,* к которому я так зверски привязан, то *я,* с которым придется попрощаться. И все же это *я,* и даже его повседневная, не выделенная курсивом тень совсем не то, что я о нем думаю. В те годы, когда мне пришлось убеждать капеллана нашего колледжа, что я счастлив быть атеистом, в ходу была такая фраза: цельность личности. Это то, во что мы верим, оставаясь дилетантами в собственной жизни, не правда ли? Что ребенок есть отец или мать мужчине или женщине, которые из него вырастут; что медленно, но неизбежно мы становимся самими собой; и что результат обладает четкими контурами, отличительными чертами, цельностью. Всю жизнь мы выстраиваем свою неподражаемую личность, достигаем состояния, в котором нам позволено будет умереть.

Однако составители карт мозга, что проникли в наши церебральные секреты и представили нам все в ярких красках, способные проследить пульсацию мыслей и эмоций, говорят нам — никого нет дома. Нет никакого чертика в табакерке. Мозг, как сказал один нейрофизиолог, не более чем «кусок мяса» (я б это мясом не назвал — а к потрохам отношусь с подозрением). Ни я, ни даже *я* мыслей не генерирую, это мысли генерируют меня. Сколько ни вглядывались составители карт мозга, единственное заключение, к которому они пришли, это «ничего “личного” не обнаружено». Таким образом, наше представление о неизменной личности, или эго, или я, или *я* — не говоря уж о чем-то научно подтвержденном — это еще одна иллюзия, с которой мы живем. Теорию эго — на которой мы так долго продержались — сменяет более успешная теория пучков. Представление о капитане мозговой субмарины, организаторе, ответственном за события его или ее жизни, должно уступить место пониманию, что мы — не

более чем последовательность внутричерепных событий, скрепленных между собой некими окказиональными связями. Из всего этого следует весьма удручающий (скорее литературный, нежели научный) вывод: что «я», к которому мы так трепетно относимся, по-настоящему существует только в грамматике.

В Оксфорде, забросив современную лингвистику, мое старомодное «я» пару семестров изучало философию, пока ему не сообщили, что у него нет необходимых и достаточных для такой деятельности способностей. Каждую неделю я изучал, каким себе представлял мир какой-нибудь из философов, а на следующей неделе — почему его представления были неверными. Так, во всяком случае, это мне виделось; я же хотел перейти к самой сути: в чем она — истина? Оказалось, однако, что философия — это в большей степени сам процесс философствования, нежели та цель, которую я приписал ей заранее: поведать нам, как устроен мир и как жить в этом мире правильно. Это, несомненно, были наивные ожидания, и не стоило мне так расстраиваться, когда моральная философия началась со спора о том, подобна ли «добродетель» «желтизне», вдали от какого-либо непосредственного применения. Тогда я поступил мудро и, оставив философию брату, вернулся к литературе, которая и раньше, и теперь рассказывает нам, как устроен мир. Она также способна поведать, как жить в этом мире правильно, хотя лучше всего это у нее получается, когда она как будто этого и не делает.

Одной из верных до следующей недели преподанных мне версий мироздания было учение Беркли. Он стоял на том, что мир «домов, гор, рек, словом, всех осязаемых объектов» состоит исключительно из идей, чувственных переживаний. То, что мы полагаем реальным миром, внешним, вещественным, осязаемым, линейным во времени, всего лишь образы в нашем личном сознании — первые кинематографические ленты, прокручиваемые у нас в голове. Такой взгляд на мир был неопровержим просто в силу своей логичности. Помню, как позднее меня порадовал литературный ответ философии — доктор Джонсон пинает камень и кричит: «Вот как я его опровергаю!» Когда пинаешь камень, неизбежно чувствуешь его твердость, прочность, его реальность. Ноге больно, это и есть доказательство. Теоретика ставит на место здравый смысл, которым мы, британцы, так гордимся.

Теперь-то мы знаем, что камень, который пнул доктор Джонсон, совсем не такой уж твердый. Большинство твердых вещей состоят в основном из пустоты. Сама Земля совсем не такая уж твердая, если под твердостью мы подразумеваем непроницаемость: есть такие мельчайшие частицы — нейтрино,

способные проходить сквозь нее от края до края. Нейтрино могут пройти — и без всякого труда проходили — сквозь камень доктора Джонсона; даже алмазы, это воплощение твердости и непроницаемости, на поверку оказались рыхлыми и дырявыми. Тем не менее, поскольку люди — не нейтрино и пытаться пройти сквозь камень было бы совершенно бессмысленно, мозг сообщает нам, что камень — твердый. Для наших целей и в соответствии с нашими представлениями он и есть твердый. Это не то чтобы совершенно верно, зато это полезное и применимое знание. Здравый смысл возводит утилитарность до истины, пусть искусственной, зато применимой на практике. Здравый смысл говорит нам, что мы — индивидуумы, обладающие (обычно цельными) характерами, и что вокруг нас такие же существа. Потребуется немало времени, прежде чем, в рамках повествования, в которое обращаем свою жизнь, мы станем воспринимать своих родителей не как драматических или комических (жестоких или занудных) персонажей, обладающих своими характерами и личными свойствами, а как, скажем, пучки генетического материала, в которых — «ничего личного».

Отцу не было еще пятидесяти пяти, когда ему диагностировали болезнь Ходжкина. Тогда он не спросил у врачей, что с ним не так, и ему, соответственно, никто и не рассказал. Он прошел курс лечения, и повторную госпитализацию, и обследования, частота которых постепенно снижалась за последующие двадцать лет, и так и не задал этого вопроса. Зато мама спросила с самого начала, и ей объяснили. Предупредили ли ее тогда, что болезнь Ходжкина смертельна, теперь у меня нет возможности узнать. Я был в курсе, что отец чем-то болен, но вследствие его природного такта он не был склонен к мелодраматизму и вообще жалеть себя, а значит, и я за него не беспокоился и не воспринимал его состояние как серьезное. Кажется, об этом мне сообщила мама — взяв с меня клятву держать в секрете, — примерно когда я сдал на права. Удивительно, но отец не умер. Он преподавал до пенсии, после чего родители переехали из предместий Лондона на разрекламированный им перекресток в Оксфордшире, где и жили до самой смерти. Мама возила отца в Оксфорд на ежегодные обследования. Через несколько лет у него поменялся лечащий врач, и новый специалист, пролистывая историю болезни, заметил, что поскольку отец человек явно образованный и пережил то, отчего большинство умирает, то, наверное, должен об этом знать. По дороге домой папа как бы между делом сказал маме: «Этот Ходжкин, по-видимому, штука серьезная». Мама,

услышав из его уст слова, которые изо всех сил держала при себе последние двадцать лет их совместной жизни, чуть не уехала в кювет.

В старости отец редко говорил о проблемах со здоровьем, только если был повод щегольнуть иронией: например, что варфарин, антикоагулирующее средство, которое он принимал, также служит крысиной отравой. Мать, когда пришел ее черед, была куда более прямой и откровенной; впрочем, собственная персона всегда была ее любимой темой разговора, просто болезнь подкинула ей еще одну тему. И ругать свою отнявшуюся руку за «бесполезность» ей вовсе не казалось нелогичным. Отец, думаю, считал свою жизнь и труды сравнительно малоинтересными для окружающих и, возможно, для самого себя. Долгое время я полагал, что он не спрашивал о своей болезни, потому что ему не хватало мужества, а также простого человеческого любопытства. Теперь я понимаю, что это — его принцип полезности и, вероятно, единственно возможный вариант поведения в подобной ситуации.

Я не могу думать о своих родителях как о пучках генетического материала, лишенных личных особенностей, более минуты. Что полезно (а в практическом выражении означает истинно) — это размышлять о них здраво, в ключе того пинка по камню. Однако теория пучка предлагает нам еще одну возможность обвести смерть вокруг пальца. Вместо того чтобы оплакивать старомодное «я», над которым трудился всю жизнь и которое если не любимо, то, по крайней мере, существенно для владельца, поразмыслите над следующим доводом: если этого «я» на самом деле не существует, поскольку я себе его и выдумал, так чего ж я или «я» скорблю заранее? Получается, что иллюзия оплакивает иллюзию; к чему случайно образовавшемуся пучку терять голову из-за того, что пучок этот рассеется? Убедительный довод? Сможет ли он пройти сквозь смерть, как нейтрино сквозь камень? Интересно; надо будет поразмыслить на досуге. Хотя я, естественно, сразу думаю о контрдоводе, основанном на: «Все говорят, что это так банально. Но я-то никакой банальности не чувствую». Теоретики в области сознания могут сколь угодно говорить, что моя смерть если и не полная иллюзия, то во всяком случае утрата чего-то более рудиментарного и менее личностного, чем мне хотелось бы думать; но я сомневаюсь, что, когда придет время, *мои* переживания будут происходить в этом ключе. Как умирал Беркли? Он нашел свое утешение в религии, а вовсе не в теории, что все вокруг — не более чем образы внутри нашего сознания.

На все это мой брат отвечает, что, если б я не бросил занятия философией, я бы знал, что теорию пучка «изобрел некий Д. Юм»; более того, «любой последователь Аристотеля» мог бы сказать мне, что нет ничего личного, нет чертика в табакерке, «как нет и самой табакерки». Но зато я знаю то, чего он не знает: например, что наш отец страдал болезнью Ходжкина. Меня поразило, что брат не знает или, во всяком случае, не помнит об этом. «У меня сложилась такая история (она же, отчасти, предостережение), что до семидесяти-семидесяти двух лет он пребывал в полном здравии и был полон сил, а когда его стали пользовать эти шарлатаны, все пошло под откос, и довольно быстро».

В таком изложении событий — или, скорее, совершенно произвольной интерпретации, имеющей мало общего с реальностью, — сошлись объездивший полсвета исследователь Аристотеля и его сосед, крестьянин из Крёза. В деревенской Франции бытует стойкий миф о совершенно здоровом человеке, который, спустившись с гор, совершает роковую ошибку, зайдя в кабинет врача. Через несколько недель, дней или даже часов, зависит от рассказчика, он только на кладбище и годится.

Перед тем как уехать из Англии и поселиться во Франции, мой брат пошел на процедуру по спринцеванию ушных раковин. Медсестра предложила заодно померить ему давление. Брат отказался. Она уточнила, что это бесплатно. Он ответил, что это, конечно, многое меняет, но он просто не *хочет* ничего измерять. Сестра, очевидно не понимая, какого сорта пациент ей попался, объяснила, что в его возрасте у него может быть высокое кровяное давление. Брат голосом персонажа юмористической радиопрограммы, которую передавали задолго до того, как эта медсестра родилась, возразил: «Не желаю этого знать».

«Так и я, — рассказывал он мне. — Допустим, давление у меня в норме, тогда я бы попусту потратил время; допустим, оно не в норме, тогда я бы ничего не стал предпринимать (ни пить таблетки, ни менять диету), но все равно время от времени беспокоился бы». Я ответил, что «как философ» он, рассматривая этот случай, должен был бы применить пари Паскаля. Тогда обозначилось бы три варианта: 1. С тобой все в порядке (хорошо). 2. С тобой что-то не так, но дело можно исправить (хорошо). 3. С тобой что-то не так, но, прости, приятель, делать нечего (плохо). Мой брат, однако, против такой оптимистической трактовки возможных исходов. «Нет, нет. “С тобой что-то не так, но дело можно исправить” = плохо. — (Я не люблю, когда меня исправляют.) — А когда все плохо, сделать ничего невозможно и ты об этом знаешь — это много хуже, чем если б ты не знал». Как говорит мой друг Г., «ужас в том, что знаешь: это обязательно

случится». Предпочитая неведенье, мой брат в кои-то веки похож на отца больше, чем я.

Однажды, в разговоре с французским дипломатом, я попытался описать ему своего брата. Да, сказал я, он профессор философии, который работал в Оксфорде до пятидесяти лет, а теперь живет во французской глубинке и преподает в Женеве. «Дело в том, — продолжал я, — что у него есть заветное желание — пожалуй, даже философская мечта — жить нигде. Он анархист, но не в узком политическом смысле, а в более общем, философском. Поэтому живет он во Франции, банковский счет держит на Нормандских островах, а преподает в Швейцарии. Он хочет жить нигде». — «А где он живет во Франции?» — поинтересовался дипломат. «В Крёзе». В ответ прозвучал типичный для парижанина смешок: «Значит, он добился своей цели! Он и живет нигде!»

Достаточно ли четкая картинка сложилась у вас относительно моего брата? Возможно, понадобится еще несколько базовых фактов. Он на три года старше меня, женат сорок лет, имеет двух дочерей. Первым законченным предложением, которое произнесла его старшая дочь, было: «Бертран Рассел глупый старикашка». Свое жилище он называет *gentilhommière*[37] (я ошибался, называя его *maison de maître*[38]*:* во Франции система описания домов так же сложна, как та, что когда-то применялась для женщин легкого поведения). У него полдюжины акров и шесть лам в загоне: возможно, это единственные ламы в Крёзе. В философии он специализируется на Аристотеле и досократиках. Однажды, много лет назад, он сказал мне, что «отказался от смущения» — отчего писать о нем, конечно, легче. Ах да, еще он часто одевается в костюм наподобие тех, что носили в восемнадцатом веке, сшитый его младшей дочерью: бриджи, чулки, туфли на пряжках — снизу; парчовый жилет, широкий галстук, длинные, стянутые в узел волосы — сверху. Возможно, об этом стоило упомянуть пораньше.

Он собирал Британскую Империю, я — Весь Остальной Мир. У него было искусственное питание, меня кормили грудью, из чего я вывожу наше принципиальное различие: он — натура рассудочная, я — сентиментальная. Когда мы учились в школе, то каждое утро выходили из нашего дома в Нортвуде, Мидлсекс, и час с четвертью добирались до нашей школы в центральном Лондоне, с двумя пересадками. За четыре года этих совместных путешествий (1957–1961) брат не только ни разу не сел со мной на одну скамью, он никогда не садился в тот же поезд. То была образцовая проблемная ситуация «старший/младший брат», но, как я потом понял, было в этом что-то еще.

Что-нибудь прояснилось? Литература и жизнь — это разные вещи; в литературе писатель проделывает для нас тяжелый труд. Литературных персонажей легче «разглядеть» — если романист компетентный, а читатель сведущий. Героев показывают с определенного расстояния, поворачивают так и эдак, ставят в свет, раскрывают, чтоб показать глубину; ирония, эта инфракрасная камера для съемок в темноте, фиксирует их, когда они и не знают, что за ними наблюдают. Но в жизни все иначе. Часто бывает так, что чем лучше знаешь человека, тем хуже ты способен его разглядеть (а значит, и в литературное произведение ввести его гораздо сложнее). Он может оказаться настолько близко, что будет уже не в фокусе, а рассеять такой туман не в состоянии ни один из действующих романистов. Говоря о человеке хорошо знакомом, мы часто возвращаемся к моменту, когда впервые как следует его разглядели, когда он предстал в нужном — и весьма лестном — свете, на верном фокусном расстоянии. Это, возможно, одна из причин того, почему некоторые пары поддерживают очевидно невыносимые отношения. Безусловно, такие привычные факторы, как деньги, сила сексуального влечения, позиция в обществе, страх одиночества, играют свою роль; однако люди могут попросту потерять друг друга из виду и продолжать работать над устаревшей версией партнера, пользуясь утратившим актуальность представлением о нем.

Время от времени журналисты, составляющие досье на кого-либо из моих знакомых, звонят мне с вопросами. Нужны им две вещи: лаконичное описание характера и какой-нибудь анекдот, иллюстрирующий этот характер. «Вы же знаете его/ее — какой он/она на самом деле?» Звучит очень просто; но я все чаще не знаю, с чего начать. Если бы друг был литературным персонажем — тогда другое дело. И вот ты начинаешь, например, нанизывать очень приблизительные прилагательные, как стрелок, стараясь взять цель на мушку; но уже чувствуешь, что человек, твой друг, начинает исчезать и из живого человека превращается в обычные слова. Бывают наглядные анекдоты; бывают вялые и к делу не относящиеся. Журналист, который делал досье на меня, решил использовать самый очевидный источник и позвонил в Крёз. «Я ничего не знаю о моем брате», — был ему ответ. Не думаю, что в этом проявилось желание защитить меня как брата; возможно, в этом было раздражение. А может, философская правда. Хотя мой брат, наверное, не согласился бы с тем, что, утверждая, будто не знает меня, выступал «как философ».

Анекдот обо мне и моем брате. Когда мы были маленькими, он сажал меня на трехколесный велосипед, завязывал мне глаза и

со всей силы толкал в стену. Мне это рассказала моя племянница К., которая слышала эту историю от своего отца. Сам я не помню этого совершенно и не совсем понимаю, какие делать из этого выводы, если они вообще нужны. Позвольте, впрочем, уберечь вас от поспешных заключений. Игра эта, скорее всего, мне очень даже нравилась. Представляю, как я визжал от удовольствия, когда шина переднего колеса врезалась в стену. Возможно, я даже сам предложил эту игру. Или умолял, чтобы мы поиграли в нее снова.

Я спросил брата, что он думает о наших родителях и как бы он описал их отношения. Никогда прежде я не задавал ему таких вопросов, и первая реакция была вполне для него типична: «Какими были наши родители? На самом деле я мало что могу сказать: когда я был маленьким, такие вопросы попросту не возникали, а потом было уже слишком поздно». Тем не менее он выполнил задание: они были хорошими родителями, «в меру любящими», терпимыми и щедрыми; «их моральные принципы были в большой степени общепринятыми — скорее даже типичными для их времени и класса». Но, продолжает он, «их самой замечательной чертой — которая вовсе не была характерна для их времени — я полагаю полное, или почти полное, отсутствие эмоций или, во всяком случае, отсутствие публичного их выражения. Я не могу припомнить, чтоб они были чем-то серьезно рассержены, или напуганы, или плясали от счастья. Я склонен думать, что самым сильным чувством, которое позволяла себе мама, было изрядное раздражение, в то время как отец, безусловно, очень хорошо знал, что такое скука».

Попроси нас с братом составить список Вещей, Которым Нас Научили Родители, — и мы бы просто растерялись. Нам не преподавали Правила Жизни, но ожидали, что мы будем вести себя согласно интуитивным принципам. С нами не говорили о сексе, политике или религии. Предполагалось, что мы будем прилежно учиться в школе, потом в университете, устроимся на работу и, возможно, женимся и, может быть, родим детей. Когда я копаюсь в памяти на предмет конкретных наставлений или советов, полученных от матери — поскольку на роль законодателя претендовала она, — вспоминаются только изречения, не мне даже адресованные. Например: коричневые ботинки с синим костюмом носят только спекулянты; никогда не крути стрелки наручных или настенных часов назад; не клади сырные галеты в одну коробку со сладкими. Едва ли можно назвать это правилами первой необходимости. Брат тоже ничего внятного не вспомнил. Это может показаться чрезвычайно странным, ведь оба наших родителя были учителями. Все должно было происходить в соответствии с врожденными моральными

установками. «Конечно, — добавляет брат, — я думаю, что нежелание давать советы или наставления и отличает хорошего родителя».

В детстве мы живем в самодостаточной иллюзии, будто наша семья — это нечто уникальное. Позднее параллели, которые мы начинаем различать между нашей и другими семьями, чаще всего связывают нас определенным классом, расой, доходом, интересами; реже — психологией и жизненными устремлениями. Возможно оттого, что брат мой теперь живет всего в восьмидесяти милях от Шитри-ле-Мин, где вырос Жюль Ренар, я начал замечать между ними определенное сходство. В *père et mére* Ренара можно разглядеть преувеличенную, театральную версию наших родителей. Болтливая и нетерпимая мать, тихий, скучающий отец. Франсуа Ренар был настолько связан обетом молчания, что, когда входила его супруга, он останавливался на полуслове и продолжал, только когда она покидала помещение. Мой отец должен был помалкивать скорее из-за материнских притязаний на главенство и ее крайней говорливости.

Младший сын Ренаров Жюль — меня тоже так зовут — вообще с трудом выносил присутствие матери; он мог поздороваться с ней и позволить ей себя поцеловать (а сам никогда не отвечал на поцелуй), но выговорить мог только самое необходимое и использовал любую отговорку, лишь бы не навещать ее. И хотя я, в отличие от Ренара, проводил со своей матерью и по нескольку часов кряду, достигалось это переключением в режим витания в облаках. И когда она овдовела, я жалел ее, но ни в одно из последних своих посещений так и не смог остаться ночевать. Невыносимо было наблюдать физические проявления скуки, ее безжалостный солипсизм иссушал мои жизненные соки, меня не покидало ощущение, что из моей жизни высасывают время, время, которое я уже никогда не верну — ни до, ни после смерти.

Из юного возраста мне запомнился один незначительный инцидент, вызвавший тем не менее неестественно большой эмоциональный резонанс. Однажды мать сообщила, что папе прописали очки для чтения, но, поскольку он стесняется их носить, было бы полезно, если б я сказал, что они ему идут. Набравшись храбрости, я, как полагается, ввернул свое никем не прошенное мнение, что в новых очках папа выглядит «изысканно». Отец бросил на меня ироничный взгляд и ничего не ответил. Я сразу понял, что он меня раскусил; а еще я почувствовал, что в определенном смысле я его предал, что от моей фальшивой похвалы он не станет чувствовать себя

естественнее и что мама просто использовала меня. Конечно, это всего лишь гомеопатическая доза по сравнению с высокотоксичными препаратами, отравляющими жизнь многих семей; а что касается использования меня в качестве канала связи, то это и вовсе ерунда по сравнению с тем, что пришлось пережить юному Жюлю Ренару. Он был еще мальчиком, когда его отец — не желавший прерывать молчание даже в крайних обстоятельствах — послал Жюля к матери с одним простым поручением: спросить от его имени, не желает ли она получить развод.

Ренар говорил: «Ужасаться буржуазности — это проявление буржуазности». Он же: «Будущие поколения! С чего бы это завтра люди станут менее глупыми, чем сегодня?» Он же: «У меня была счастливая жизнь с оттенком отчаяния». Он пишет, что очень расстроился, когда отец ни словом не обмолвился о его первой книге. Реакция моих родителей была заметнее, хотя и можно было подумать, что вдохновение они черпают в максиме Талейрана, призывавшего проявлять поменьше рвения. Роман, который не назывался «Не погода», я послал им, как только он вышел в свет. Две недели — ни звука. Я позвонил. Отец даже не сказал, получили ли они книжку. Через день или два я поехал их навестить. Примерно с час мы болтали — то есть слушали маму, — после чего она попросила меня свозить отца за покупками, что было на нее совершенно не похоже, на самом деле с такой просьбой она обратилась ко мне первый и последний раз. В машине, когда зрительный контакт стал невозможен, его профиль сообщил мне, что книга, по его мнению, забавная и написана хорошо, хотя язык показался ему «немного казарменным»; еще он указал мне на ошибку в употреблении рода по-французски. Не сводя глаз с дороги, мы съездили за покупками и вернулись в бунгало. Теперь свое мнение полагалось высказать матери: роман «не без мыслей», заключила она, но вынести мое «бомбометание» грязью она оказалась не в состоянии (в этом мама была единодушна с цензурным комитетом ЮАР). Обложку она друзьям показывала, но внутрь заглянуть не разрешала.

«Один мой сын пишет книги, которые я могу читать, но не понимаю, другой пишет книги, которые я понимаю, но читать не могу». Никто из нас не написал «того, что ей хотелось бы». Когда мне было лет десять, мы с ней сидели на крыше даблдекера, я разматывал клубок немудрящей фантазии, из тех, что часто посещают детей такого возраста, и она сказала мне, что у меня «слишком развито воображение». Возможно, я даже не понял, что значило само слово, однако очевидно было, что это недостаток.

Годы спустя, став уже вовсю пользоваться своей дискредитированной способностью, я осознанно писал, «как будто мои родители умерли». Парадокс же заключается в том, что в некотором смысле почти за каждой написанной страницей стоит рудиментарное желание порадовать родителей. Писатель может игнорировать своих родителей, может даже пытаться их оскорбить, может написать книгу, про которую ему будет заведомо ясно, что они воспримут ее резко отрицательно, но все равно какая-то часть его будет разочарована, если не удастся доставить им удовольствие. (Впрочем, если б он его доставил, расстроилась бы его другая часть.) Это довольно частое явление, хотя каждого писателя в отдельности оно и удивляет. Может, и банально, но мне это банальным не показалось.

Я помню кудрявого мальчишку, у которого и впрямь было «слишком развито воображение». Его звали Келли, он жил на нашей улице и был немного странным. Мне было лет шесть или семь, я возвращался из школы, когда он вышел из-за платана, приставил что-то промеж моих лопаток и сказал: «Не двигайся, а то кранты». Я послушно застыл в ужасе и неизвестно как долго простоял во власти Келли, гадая, отпустит ли он меня, и понятия не имея, что это он приставил к моей спине. Сказал ли он еще что-нибудь? Вряд ли. Это был не грабеж — у меня никто ничего не отнял, то был захват в его самой рафинированной форме, когда весь смысл — собственно в удержании. Спустя пару потных минут я решил рискнуть жизнью и побежал, оглядываясь через плечо. В руке Келли держал старый, проржавевший водопроводный кран. Так почему же романистом стал я, а не он?

Ренар в своем «Дневнике» выразил одно замысловатое желание, сложное не только психологически, но и в плане смысловой нагрузки. Ему хотелось, чтоб его мать была неверна отцу. Считал ли он это справедливой местью за отцовскую пытку молчанием; или от этого мать стала бы более раскованной и приятной в общении; или неверность собственной матери нужна была ему, чтобы еще более снизить ее оценку? Когда моя мать уже овдовела, я написал рассказ, действие которого происходит в узнаваемых декорациях родительского загородного домика (позднее я открыл для себя, что в терминологии агентов по недвижимости это называется «шале супериор»). Вдобавок я использовал базовые схемы родительских характеров и типов взаимодействия. Отец (постарше, тихий, ироничный) заводит роман с вдовой доктора, живущей в соседней деревне; когда об этом узнает мать (раздражительная, острая на язык), она бьет мужа тяжелой французской сковородой по голове — такую нам предлагают версию, хотя полной уверенности в ней нет. Все

действие — и все страдания — мы видим глазами их сына. И хотя рассказ мой основывался на подслушанной где-то истории про семидесятилетних стариков, которую я просто развил на почве семейной жизни собственных родителей, я не обманывал себя относительно своих намерений. Я хотел дать отцу посмертный — задним числом — шанс немного повеселиться, возможность пожить другой жизнью, подышать полной грудью, материнский же характер я гипертрофировал до безумных и преступных наклонностей. Не думаю, что отец поблагодарил бы меня за этот литературный подарок, нет.

В последний раз я видел отца 17 января 1992 года, за тринадцать дней до его смерти, в больнице Уитни, что минутах в двадцати езды от дома моих родителей. Я договорился с мамой, что на этой неделе мы навестим его по отдельности: она в понедельник и среду, я в пятницу, она в воскресенье. Я планировал стартовать из Лондона, пообедать с ней, после чего навестить папу и уехать обратно в город. Но когда я приехал домой (место, где жили родители, я по-прежнему называл домом, хотя у меня давно уже был свой дом), мама отменила все наши договоренности. На то были свои причины: она говорила что-то про белье и еще про туман, но главной причиной была, конечно, она. За всю свою взрослую жизнь я не припомню ни одного случая — кроме той специально подстроенной литературной поездки по магазинам, — когда бы нам с отцом дали побыть наедине хоть какое-то время. Мать, даже если ее не было в комнате, присутствовала всегда. Едва ли она боялась, что о ней станут говорить у нее за спиной (в любом случае, о ней я бы хотел поговорить с отцом в последнюю очередь); просто ни одно событие в доме или за его пределами не считалось действительным без ее присутствия. Поэтому она всегда и присутствовала.

По приезде в больницу мама поступила следующим — опять-таки весьма характерным для нее — образом, отчего тогда меня передернуло, а теперь, вспоминая об этом, я прихожу в ярость. Когда мы подошли к папиной палате, она сказала, что зайдет первой. Я подумал, что она хочет проверить, все ли у него «прилично», или по какой-либо иной супружеской надобности. Но нет. Оказывается, она не сказала отцу, что сегодня приеду я (но почему — надзор, информационный *контроль,* по крайней мере), и это, мол, будет для него приятный сюрприз. И она зашла. Я остался в коридоре, но увидел отца — он сутулился в кресле, уронив голову на грудь. Она поцеловала его и сказала: «Подними голову». А потом: «Смотри, кого я тебе привела». Не «смотри, кто

к тебе пришел», а «смотри, *кого я тебе привела*». Мы провели у него с полчаса, причем пару минут мы с отцом потратили на обсуждение матча кубка Англии по футболу («Лидс» — «Манчестер юнайтед» 0:1, забил Марк Хьюджес), который мы оба смотрели по телевизору. Иными словами, все было как и предыдущие сорок шесть лет моей жизни: вечно присутствующая, болтающая, суетящаяся, организующая, контролирующая мама и отец, отношения с которым сведены до случайного взгляда или подмигивания украдкой.

Первое, что она сказала ему в моем присутствии, было: «Ты выглядишь получше. В прошлый раз, когда я приходила, ты выглядел ужасно, просто ужасно». Затем она спросила его: «Что ты делал?» — вопрос показался мне идиотским, как, впрочем, и папе, который ничего не ответил. Далее последовали рассуждения о просмотренном по телевизору и прочитанном в газетах. Но что-то загорелось в отце, и спустя пять минут он, раздраженный вдвойне от того, что говорил уже с трудом, выдал в ответ: «Ты все спрашиваешь меня, что я делал. *Ничего*». В словах его звучала страшная смесь разочарования и отчаяния («Из всех слов самое правдивое, самое точное, самое осмысленное — это слово “ничего”»). Мама предпочла пропустить это мимо ушей, как если б отец впал в дурные манеры.

Когда мы уходили, я, как всегда, пожал ему руку, левую положив на плечо. Он дважды сказал «до свиданья», и голос его сорвался на неестественно высокий хрип, тогда я отнес это на счет возможных неполадок с гортанью. Позднее я думал, знал ли он или догадывался, что никогда больше не увидит младшего сына. За всю свою сознательную жизнь я не припомню, чтобы он хоть раз сказал, что любит меня; я тоже ничего такого ему не говорил. Уже после его смерти мама сообщила мне, что он «очень гордился» своими сыновьями; но об этом, как и о многом другом, приходилось только догадываться. Кроме того, она удивила меня, сказав: «Вообще-то он был одиночка», и добавила, что его друзья стали ее друзьями и что под конец она стала им ближе, чем он. Не знаю, было это правдой или очередным проявлением огромного самомнения.

За пару лет до смерти отец спросил, нет ли у меня «Мемуаров» Сен-Симона. У меня они были, и в весьма щегольском издании — двадцать томов в багряном кожаном переплете, ни один из которых я еще не открывал. Я принес ему первый том, который он обработал в один присест; и затем, навещая его, по первому требованию приносил следующий. Когда кухонные обязанности освобождали нас от присутствия матери, он, сидя в своем кресле на колесиках, пересказывал мне какой-нибудь

эпизод ожесточенных политических интриг при дворе Людовика XIV. На определенном этапе увядания повторный инсульт заметно подорвал его умственные способности: мать рассказывала, что трижды ловила его в уборной, когда он собирался пописать в электробритву. Однако читать Сен-Симона он продолжил и умер на середине шестнадцатого тома. Красная шелковая закладка и сейчас на последней прочитанной им странице.

Согласно свидетельству, причиной смерти моего отца были: а) инсульт; б) болезнь сердца; в) абсцесс легкого. Именно от этого его лечили последние восемь недель его жизни (и какое-то время до этого), но умер он от другого. Он умер — если отбросить медицинскую терминологию — от того, что жутко устал и оставил надежду. И «оставил надежду» не является здесь моральным суждением. Или, скорее, является и выражает восхищение: в его случае это единственно верная реакция разумного человека на непоправимую ситуацию. Мать говорила, хорошо, мол, что я не видел его перед самой смертью: он весь ссохся, перестал есть и пить, ни с кем не разговаривал. Только во время ее последнего посещения на вопрос, узнает ли ее, он ответил: «Думаю, ты моя жена». Возможно, это были его последние слова.

В день, когда отец умер, свояченица по телефону из Франции убеждала меня, что этой ночью мама не должна оставаться в доме одна. В этом она была не одинока, еще мне посоветовали прихватить снотворного (чтобы уснуть, а не для самоубийства или убийства, конечно). К моему приезду — весьма неохотному — мать отнеслась со здоровой иронией. «Вот уже два месяца, как я ночую в этом доме одна, — сказала она. — Теперь-то что? Они что, решили, что я…» Она замолчала подыскивая слова, чтобы закончить предложение. «…В петлю полезешь?» — предложил я. Она приняла предложение: «Они что, решили, что я в петлю полезу, или разрыдаюсь, или еще каких глупостей наделаю?» После чего выразила живое отвращение к ирландским похоронам: с толпами скорбящих, прилюдными воплями и вдовой, которую придерживают с обеих сторон. (Она и в Ирландии-то никогда не была, не говоря уж — на тамошних похоронах.) «Они что, думают, меня придется кому-то поддерживать?» — язвительно спросила она. Однако, когда пришел гробовщик, чтобы обсудить ее пожелания — самый простой гроб, веточка роз без всяких ленточек и, главное, без целлофана, — в какой-то момент она прервала его: «Не думайте, что я не скорблю по нему, только потому, что…» На этот раз заканчивать предложение не было

нужды.

Уже будучи вдовой, она сказала мне: «Мои лучшие годы уже позади». Вступать с ней в вежливый спор или выжимать из себя: «Конечно, но…» — смысла не было. За несколько лет до этого она сказала мне в присутствии папы: «Конечно, твой отец людям всегда предпочитал собак», — на что отец кивнул как будто бы утвердительно, что я воспринял, возможно, неверно, как нежелание, пожалуй, даже отказ отвечать на ее выпад. (Я также подумал о том, что, зная это, она тем не менее за сорок с лишним лет с тех пор, как исчез *Maxim, le chien,* так и не завела собаку.) А еще за много лет до этого, когда я был подростком, она сказала: «Начни я жизнь заново, я бы, конечно, выбрала свой путь», — что я тогда воспринял просто как очередную шпильку в адрес отца, не принимая во внимание, что подобные изменения пути исключили бы из маршрута и ее нынешних детей. Возможно, приводя здесь два эти высказывания, я складываю из них ложную смысловую последовательность. И тот факт, что мать не умерла от горя, но продолжала свой самостоятельный путь еще пять лет, когда была наименее приспособлена к движению, тоже тут ни при чем.

Спустя несколько месяцев после кончины отца я разговаривал с мамой по телефону. Я сказал ей, что мы ждем в гости друзей, и обмолвился, что одно блюдо готовит жена, а другое — я. «Как вам, наверное, здорово готовить вместе», — сказала она почти с тоской в голосе, чего я никогда не слышал прежде. И добавила куда более характерным тоном: «Я твоему отцу даже на стол накрыть не могла доверить». — «Правда?» — «Да, он просто кидал все на стол, как бог на душу положит. Весь в мамашу». Его мать! Отцовская мама умерла почти пятьдесят лет назад, во время войны, когда отец был в Индии. Бабушку Барнс в нашем доме вспоминали редко; родственники мамы, живые или мертвые, всегда имели преимущество. «Вот как, — поддержал я, стараясь скрыть свое напряженное любопытство. — А что с ней было не так?» — «Да она вилки с ножами местами путала», — эксгумировала мама свой снобизм полувековой давности.

Мыслительный процесс своего брата я представляю себе как последовательность законченных и связанных между собой мыслей, тогда как моя мысль скачет от анекдота к анекдоту. Но ведь он философ, а я — романист, а ведь даже самый хитро устроенный роман может произвести впечатление «скок-поскок». Жизнь идет вприпрыжку. И ко всем этим анекдотам необходимо относиться с подозрением именно потому, что рассказываю их я. Другой рассказчик, повествуя о последних годах жизни моих родителей, отметил бы, как преданно и дельно мама ухаживала за отцом, как нелегко ей было с ним управляться, но, как бы ни

была она утомлена, и дом и сад содержались в потрясающем порядке все это время. И это тоже было бы правдой; хотя я так и не смог пропустить мимо ушей грамматические изменения, которые претерпел их сад. Все последние месяцы, когда отец был в больнице, помидоры, фасоль и все, что росло в парнике и вокруг, было переименовано в «мои помидоры», «моя фасоль» и так далее, как будто папу лишили права собственности еще до того, как он умер.

Тот, другой рассказчик мог бы посетовать, как несправедлив к своей абсолютно законопослушной матери этот сынок, написавший рассказ, где она предстает драчливой женой. (Ренар обнаружил томик «Рыжика», который циркулировал по Шитри-ле-Мин с анонимной надписью: «Вот нашел случайно в книжном. Здесь он дурно высказывается о своей матери, желая отомстить ей».) И далее, как это неприлично — описывать собственного отца в состоянии телесного упадка; и как это противоречит той любви, которую он якобы испытывает; и как этот сын демонстрирует лишь неприглядную сторону правды, отыскивая что-то недостойное или смехотворное, — вроде той истории про выжившего из ума старика, пытающегося помочиться в свою электробритву. И некоторые из этих обвинений тоже не будут безосновательны. Хотя в истории с бритвой не так все просто, и я хотел бы оправдать поведение отца, восстановив почти рациональный ход его мысли. Всю свою жизнь он брился станком и помазком, а пена в зависимости от эпохи происходила из миски, бруска, тюбика или банки. Мать всегда жаловалась на непорядок, который он разводил в раковине, — «навозюкал, как щенок», так это называлось в нашем лишенном собаки доме, — поэтому, когда появились электробритвы, она все время пыталась убедить отца купить такую. Он всегда отказывался: то была единственная сфера, где он не позволял собой командовать. Я помню, как во время одного из первых больничных сроков, приехав к отцу, мы с мамой застали его за отчаянной попыткой побриться: ослабевшими руками, тупой бритвой и неправильной пеной он хотел к нашему приходу привести себя в порядок. Видимо, в какой-то момент под конец жизни сработала ее агитация, возможно, потому что ноги больше не держали его и он не мог стоять перед раковиной. Поэтому я прекрасно могу представить себе его неприязнь к электробритве (несложно представить и то, как мама ее покупает). Наверное, электробритва была для него и напоминанием об утраченной физической самостоятельности, и доказательством окончательного поражения в затяжном супружеском споре. Разве этого не достаточно, чтобы на нее написать?

«Наверное, ты моя жена». Да, сохранить характер: это то, на что мы надеемся, за что цепляемся, видя впереди только коллапс. Поэтому — и надо признать, что, отвечая на этот вопрос, я сделал немалый крюк, — сомневаюсь, что когда придет мой срок, я стану искать успокоения в теории, по которой иллюзия прощается с иллюзией, а клубок случайностей распутывает сам себя. Скорее я захочу сохранить то, что упрямо считаю своим характером. Франсис Стигмюллер, побывавший на похоронах Стравинского в Венеции, умер в том же возрасте, что и композитор. Шли последние недели его жизни, когда он спросил у своей жены, писательницы Ширли Хазард, сколько ему лет. Она сказала, что ему восемьдесят восемь. «О боже, — отозвался он, — восемьдесят восемь. Знал ли я об этом?» И как это на него похоже — когда «прошедшее» так отличается от «настоящего».

«Если бы я был сочинителем книг, — писал Монтень (однако неясно, считал он себя выше или ниже этого звания), — я составил бы сборник с описанием различных смертей, снабдив его комментариями. Кто учит людей умирать, тот учит их жить. Дикеарх составил подобную книгу, дав ей соответствующее название, но он руководствовался иною, и притом менее полезной целью».

Дикеарх, философ-перипатетик, написал труд «О гибели людей», который, в полном соответствии с тематикой, не дожил до наших дней. В качестве краткой версии антологии «сочинителя книг» Монтеня можно предложить сборник последних слов знаменитостей. Гегель на смертном одре сказал: «Только один человек в мире действительно понял меня, — после чего добавил: — А в сущности, и он меня не понимал». Эмили Дикинсон сказала: «Позвольте нам войти. Туман сгущается». Грамматист отец Боур: *«Je vas, ou je vais mourir: l'un ou l'autre se dit»* (в примерном переводе: «Я умираю или сейчас умру — и то, и то верно»). Бывает, что последнее слово становится последним жестом: Моцарт изобразил губами бой литавр из своего Реквиема, недописанная партитура которого лежала тут же, на покрывале.

Являются ли подобные моменты доказательством того, что покойник сохранил характер и был собой до конца? Или же есть в них нечто подозрительное по определению: что-то от пресс-релиза, от сообщений «Ассошиэйтед пресс», от подготовленного экспромта? Когда мне было лет шестнадцать-семнадцать, наш учитель английского — не тот, который потом покончил жизнь самоубийством, а тот, с которым мы читали «Короля Лира» и таким образом узнали, что «на все — свой срок»[39],— с явным удовлетворением сообщил классу, что уже придумал свои

последние слова. Он собирался сказать просто: «К черту!»

Этот учитель всегда относился ко мне скептически. «Надеюсь, Барнс, — дернул он меня как-то после неудовлетворительно отвеченного урока, — вы не один из этих прожженных циников, черт их дери». Я, сэр? Циник, сэр? Ну что вы — я верю в агнцев, и в цветение живой изгороди, и в человеческую доброту, сэр. Но даже я посчитал это его прощальное слово весьма стильным, как, впрочем, и Алекс Бриллиант. Мы были: а) поражены остроумием; б) удивлены, что школьный учитель, жалкий, в сущности, неудачник, может обладать таким уровнем самопознания; в) полны решимости прожить свою жизнь так, чтоб она не сводилась к такому вот словесному заключению. Надеюсь, когда Алекс лет десять спустя глотал таблетки, чтобы покончить с собой из-за женщины, он уже забыл об этом.

По странному стечению обстоятельств примерно в то же время я узнал, каков был конец нашего учителя. После инсульта его разбил паралич, он не мог даже говорить. Время от времени его навещал друг-алкоголик, который, как и многие алкоголики, был убежден, что выпивка — она любому поможет; он тайком приносил с собой бутылку виски и заливал ее в глотку старому учителю, на что тот мог лишь пучить глаза. Было ли у него время на последнее слово перед тем, как его сразил инсульт, имел ли он возможность вспомнить о последнем слове, когда лежал недвижим, а внутрь ему текло бухло? Да, таким манером любой может сделаться прожженным циником.

Современная медицина, продлевая процесс умирания, по большей части покончила со знаменитыми последними словами, ведь чтобы произнести их, надо понимать, что время уже пришло. Тому, кто решил непременно уйти на определенной фразе, можно лишь посоветовать произнести ее, после чего осознанно погрузиться в схиму молчания и хранить его, пока все не кончится. Но в знаменитых последних словах всегда было что-то героическое, а поскольку время, в котором мы живем, совсем уже не героическое, утрату этой традиции оплакивать особо не станут. Вместо этого нам следует научиться ценить последние слова пусть не такие величественные, но несущие в себе характерные черты. Франсис Стигмюллер за несколько часов до смерти в неаполитанской больнице сказал (предположительно по-итальянски) медбрату, который поправлял его постель: «У тебя красивые руки». Достойное восхищения замечание; миросозерцание доставляло ему удовольствие, даже когда он покидал этот мир. Последние слова А. Э. Хаусмана были обращены к доктору, который делал ему последний — и, возможно, заведомо последний — укол морфия: «Великолепно,

друг мой». Кому нужна торжественная серьезность?! Ренар в своем «Дневнике» описал смерть Тулуз-Лотрека. Отец художника, известный своей эксцентричностью, пришел навестить сына, но вместо того, чтоб сосредоточиться на больном, тут же принялся ловить кружащих по больничной палате мух. Художник, приподнявшись в кровати, сказал: «Старый ты мудак!» — после чего откинулся и умер.

На протяжении всей истории французское государство допускало существование на своей территории людей только в двух состояниях: живом и мертвом. И никаких «между». Будучи живым, ты имел право передвигаться и платить налоги. Если ты мертвый — тебя необходимо либо похоронить, либо кремировать. Такое разделение может показаться типичным проявлением бюрократизма, а то и просто бессмыслицей. Однако двадцать лет назад законность этого постулата была оспорена в суде.

Дело возникло, когда умирающую от рака женщину средних лет заморозили, после чего муж поместил ее в промышленный холодильник. Французское государство, не желая признавать ее хоть сколько-нибудь живой, потребовало, чтоб он либо похоронил жену, либо кремировал. Муж прошел все судебные инстанции и в итоге получил разрешение хранить жену у себя в подвале. Спустя лет двадцать и его, тоже еще не совсем мертвого, заморозили, чтоб он мог дождаться воссоединения с супругой, на которое так надеялся.

Танатолибералам, ищущим компромисса между рыночным подходом к жизни а-ля «попользовался — и выбросил» и социалистической утопией о вечной жизни для каждого, крионика может показаться вполне себе ответом. Ты вроде умер, а вроде как и нет. Кровь слили, тело заморозили и хранят живым, ну или, по крайней мере, не окончательно мертвым, пока твоя болезнь не станет излечимой или продолжительность жизни не возрастет настолько, что перед тобой откроется перспектива новых долгих лет. Техника по-своему истолковывает религию и предлагает рукотворное воскрешение.

Эта французская история недавно закончилась довольно мрачно и вполне предсказуемо: из-за сбоя в электросети температура тел поднялась до уровня, несовместимого с возвращением к жизни; и сыну этой пары пришлось пережить кошмар, преследующий каждого владельца морозильной камеры. Еще больше, чем эта газетная история, меня поразила иллюстрирующая ее фотография. На ней в подвале французского дома муж — тогда уже много лет как «вдовец» — сидит подле обшарпанной холодильной камеры, внутри которой — его жена.

На морозильнике стоит ваза с цветами и фотография красивой женщины в расцвете лет. И вот рядом с этим вместилищем бессмысленных надежд — измученный, несчастный старик.

Все равно ничего хорошего из этого не вышло бы. И мы должны поблагодарить их за этот пример. Остановить время? Повернуть часы вспять (или открутить их стрелки назад — чего моя мама никогда бы не позволила)? Представьте себе, что вы — полная жизни молодая женщина, вам нет и сорока, когда вы «умираете»; представьте, что, проснувшись, вы понимаете: ваш верный муж, прежде чем его заморозили, прожил почти весь отведенный ему срок, и теперь вы замужем за человеком, постаревшим в ваше отсутствие на двадцать, тридцать, сорок лет. А вы-то стартуете с того же места, где прервались. Представим идеальную ситуацию: вы оба «умираете» примерно в одном и том же возрасте, допустим, за пятьдесят, и вас воскрешают, когда болезни ваши легко излечимы. И что конкретно происходит? Вас возвращают к жизни лишь для того, чтобы вы снова умерли, только на этот раз молодость вам пережить не дано. А надо было помнить и следовать примеру Помпония Аттика.

Вернуть себе молодость, обмануть не только вторую, но и первую смерть — ту, что Монтень считал самой страшной: вот это уже настоящие фантазии. Отправиться в Тир-на-ног, страну вечно юных из кельтских мифов. Или окунуться в фонтан молодости: срезать угол по дороге в рай — эта материалистическая фантазия была весьма популярна в Средние века. Погружаясь в эти воды, кожа розовеет, мешки подтягиваются, а обвисшие пупырчатые части тела снова становятся упругими. И не надо никакой бюрократии с божьим судом и взвешиванием души. Молодильная вода дарит юность, тогда как громоздкая крионика предлагает лишь отложенную старость. Крионофилы, конечно же, не сдадутся: те, кого замораживают сейчас, безусловно будут рассчитывать на лечение стволовыми клетками, чтобы отмотать биологические часы на то время, когда они услышат свой, уже совсем другой *le réveil mortel:* «О существо разумное / Жаждущее жизни вечной».

Мои суждения о Сомерсете Моэме были слишком поспешны. «Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить». Я, будучи молодым, возражал: да, я люблю этого человека и верю, что так будет всегда, но даже если будет иначе, найдется кто-нибудь и для меня, и для нее. Мы оба полюбим снова и, наученные несчастьем, в следующий раз, возможно, будем умнее. Но ведь Моэм не отрицал этого; он просто смотрел дальше. Я вспоминаю поучительную историю (слышанную, кажется, от сэра Томаса

Брауна) про человека, который постепенно похоронил всех своих друзей, каждый раз испытывая все меньше сожалений, и в какой-то момент смог уже совершенно хладнокровно смотреть прямо в могилу и даже представлять ее своей. Мораль, однако, была не в том, что вглядываться в бездну полезно или что философствование может научить нас умирать; то было скорее сожаление об утраченной способности испытывать чувства — сначала к друзьям, потом к самому себе и, наконец, по поводу собственного ухода из жизни.

Вот это действительно настоящая трагедия, единственным избавлением от которой вполне может стать только смерть. Я всегда с сомнением относился к тезису о том, что старость приносит успокоение, подозревая, что многих стариков эмоции терзают так же, как молодых, однако признавать это им не позволяют социальные табу. (Почему в том рассказе я и подарил своему восьмидесятилетнему отцу любовную интрижку.) Но что, если я не прав — вряд ли, конечно, — и требуемое внешнее спокойствие прикрывает не душевную бурю, а, напротив, безразличие? В свои шестьдесят я смотрю на друзей и готов признать, что отношения со многими из них — это уже не дружба, а воспоминание о ней. (В воспоминаниях тоже есть удовольствие, но тем не менее.) Появляются, конечно, и новые друзья, но их все же недостаточно, чтобы противостоять страху некоего эмоционального остывания — вроде того, что происходит с умирающей планетой, — ожидающего нас впереди. Уши растут, ногти на руках расщепляются, а сердце, значит, съеживается. Вот и еще вопрос из серии «что бы вы предпочли» — умереть, мучаясь болью разлуки с людьми, которых вы так долго любили, или уйти, когда ваша эмоциональная жизнь уже завершилась и вы взираете на мир с безразличием и к окружающим, и к себе? «Былых триумфов торжество / Забвения не искупает / И смерти поступь не смягчает». Тургенев, когда ему только исполнилось шестьдесят, писал Флоберу: «Вот я и в хвосте жизни. Как в испанской поговорке: хвост свежевать сложней всего… жизнь углубляется в самое себя — ее занимает лишь оборонительная борьба со смертью; и такая чрезмерная личность перестает быть интересна даже самой себе».

Тяжело вглядываться не только в бездну, но и в саму жизнь. Нам сложно пристально созерцать не то что факт, даже возможность того, что жизнь — случайный выигрыш в космической лотерее, что ее основная цель — самовоспроизводство и только, что утекает она в пустоту, что планета наша однажды продолжит свой путь в остывшей тишине и что род человеческий, каких бы высот он ни достиг во всей

своей безумной и перенасыщенной сложности, исчезнет полностью и никто о нем не вспомнит, потому что некому и нечему будет по нам тосковать. Вот что значит взрослеть. Пугающая перспектива для расы, основным источником объяснений и утешений которой так долго служили ею же выдуманные боги. Вот как католический журналист распекает Ричарда Докинза, отравляющего сердца и умы молодежи: «Такие интеллектуальные монстры, как Богоненавистник Доуки, продолжают нести свою отчаянную проповедь отрицания, бессмысленности, пустоты и обреченности жизни, отсутствия всякого смысла где бы и когда бы то ни было и, если только вам известно такое важное слово, флоксиносинигилипилификации». (Это значит «признанное бесполезным».) За огульностью (и ложностью) этих нападок чувствуется страх. Верь в то, во что верю я: в Бога, и провидение, и обещание жизни вечной, — потому что иначе жуть как страшно. А мы словно дети, боязливо бредущие по ночному австрийскому лесу, только вместо милого герра Виттерса, призывающего обратить свои мысли к Господу, рядом плетется гнусный старый Доукс, учитель естествознания, который пугает нас сказками про медведей и смерть, а еще предлагает любоваться звездами, чтоб отвлечься от дурных мыслей.

«Серьезно относиться к жизни — прекрасно это или глупо?» — вопрошал Флобер. Он говорил, что нам нужна «религия отчаяния», а люди должны «соответствовать своей судьбе, то есть быть такими же бесстрастными». О смерти он имел вполне ясные представления: «Остается ли собственно *личность?* Положительный ответ на такой вопрос кажется мне проявлением нашей самонадеянности и гордыни, отрицанием извечного порядка! Смерть, быть может, раскрывает перед нами не больше тайн, чем сама жизнь». Не доверяя религиям, он был чуток к порывам души и к воинствующему атеизму относился с подозрением. «Каждый догмат в отдельности меня отталкивает, — писал он, — но чувство, их породившее, представляется мне самым естественным и самым поэтичным из всех человеческих чувств. Не люблю тех философов, что видели в религии одно лишь фиглярство и глупость. Я нахожу в ней инстинкт и потребность, а потому одинаково уважаю негра, целующего свой фетиш, и католика, преклоняющего колена пред Сердцем Иисусовым»[40].

Флобер умер в 1880-м, в тот же год, что и мать Золя. Не случайно именно в тот год Золя получил свой *le réveil mortel.* Ему было сорок лет (в этом смысле я по сравнению с ним уже,

конечно, старослужащий). Я всегда представлял, как его, подобно мне, выталкивает из сна прямо в слезы ужаса. Но то было лишь переносом, экстраполяцией. В действительности в тот момент он не спал: он и его жена Александрин оба не могли заснуть от смертельного страха и, стесняясь в этом признаться, так и лежали рядом, и лишь мерцание ночника еще как-то сдерживало кромешную тьму. И только когда Золя заметил, как, лежа на кровати, он отбрасывает тень, ему удалось выйти из этого ступора.

Кроме того, писателя преследовала навязчивая мысль про окно в его меданском доме. Когда умерла его мать, лестница оказалась слишком узкой и изогнутой для ее гроба, и могильщикам пришлось спускать его вниз через окно. И вот всякий раз, проходя мимо этого окна, Золя надолго останавливал на нем взгляд, гадая, кто будет следующим на этом пути — он или жена.

О своих впечатлениях от *le réveil mortel* Золя поведал в понедельник, 6 марта 1882 года, за обедом с Доде, Тургеневым и Эдмоном де Гонкуром, который это все и записал. В тот вечер четверо мужчин — состав их традиционного *Dîner des Cinq*[41] поредел после смерти Флобера — разговаривали о смерти. Доде начал беседу, признавшись, что мысли о смерти преследуют его, отравляя жизнь настолько, что при переезде на новую квартиру он машинально ищет глазами место, куда поставят его гроб. Затем последовала исповедь Золя, и вот настала очередь Тургенева. Вальяжному московиту мысль о смерти была знакома не хуже, чем остальным, но у него на этот случай была своя метода: он просто отметал ее вот *так* — и он сделал легкий взмах рукой. Русские, объяснил он, умеют покрывать все «славянским туманом», который сами же и наводят, чтобы защититься от логически верного, но неприятного развития мысли. Таким образом, попав в слепящий буран, вы специально постараетесь не думать о холоде, иначе замерзнете насмерть. Тот же метод можно успешно применить и к более общим вопросам: вы просто отмахиваетесь от него вот *так*.

Спустя двадцать лет Золя умер. Смерть его не была той *belle mort,* которую он восхвалял, — когда тебя, как насекомое, вдруг размазывает меж гигантских пальцев. Вместо этого он продемонстрировал, что для писателя в словосочетании «сохранить характер» кроется несколько возможностей. Вы можете умереть, сохранив свой характер, а можете — своего литературного персонажа. Некоторым удается и то и другое, как, например, Хемингуэю, который зарядил два патрона в свой любимый дробовик «Босс» (сделанный в Англии, купленный в

«Аберкромби и Фитч»), после чего засунул оба дула в рот.

Золя умер, сохранив литературный характер, эта полная психологизма мелодраматическая сцена достойна его ранних произведений. Они с Александрин вернулись в Париж из дома с пугающим окном. Это был холодный вечер в конце сентября, и они попросили затопить в спальне. Пока они отсутствовали, на крыше доходного дома проводились какие-то работы, и вот здесь рассказ предлагает читателю на выбор несколько интерпретаций. Дымоход, шедший из их спальни, был перекрыт либо нерадивыми мастеровыми, либо — следуя конспирологической теории — кровожадными антидрейфусарами. Супруги Золя легли в кровать, закрыв по своей суеверной привычке все окна. Топливо в камине не дымило, но выделяло углекислый газ. Утром, когда слуги взломали дверь, они обнаружили писателя на полу уже мертвым, а Александрин, которую несколько сантиметров спасли от смертельной концентрации газа, лежала на кровати без сознания.

Тело Золя было еще теплым, так что доктора пытались оживить его при помощи ритмического вытяжения языка — процедуры, которую пять лет тому назад применяли на Доде. И хотя в случае Золя в этом было чуть больше смысла — метод был разработан для спасения жертв отравления канализационными газами, — эффект был тем же. Очнувшись, Александрин рассказала, как посреди ночи они проснулись от дискомфорта, который отнесли на счет несварения. Она хотела позвать слуг, но он безапелляционно прервал ее фразой, которой суждено было стать его последними (современными, негероическими) словами: «Утром нам станет легче».

Золя было шестьдесят два года, когда он умер, ровно столько же будет мне, когда эта книга выйдет в свет. Итак, давайте начнем сначала. УМЕР ЛОНДОНЕЦ: СКОРБЯТ НЕМНОГИЕ. Вчера, в возрасте от шестидесяти двух лет и более, скончался житель Лондона. Всю жизнь он обладал отменным здоровьем и ни разу не провел и ночи в больнице, пока смертельная болезнь не поразила его. Его профессиональная карьера развивалась медленно, но после нескольких лет безденежья к нему пришел успех, даже больший, чем он рассчитывал. Его эмоциональный рост шел медленно, но после нескольких рискованных поворотов ему было отмерено ровно столько счастья, сколько позволяла его натура («У меня была счастливая жизнь с оттенком отчаяния»). Вопреки своим эгоистичным генам, он не смог — или, скорее, не захотел — передать их, полагая, что такой отказ является проявлением свободной воли перед лицом биологического детерминизма. Он писал книги, потом он умер. И хотя один из его друзей-насмешников считал, что жизнь его поделена между

литературой и кухней (и бутылкой вина), у него были и другие интересы: любовь, дружба, музыка, искусство, общество, путешествия, спорт, анекдоты. Ему было хорошо с самим собой, если он знал, когда будет прервано его одиночество. Он любил свою жену и боялся смерти.

Вполне себе получается, правда? Бывают в мире жизни и похуже, да и смерти (впрочем, это уже мои догадки) тоже, так зачем же суетиться по поводу его кончины? А если точнее — чего он так суетится? Таким образом он безусловно совершает один из главнейших английских грехов — привлекает к себе внимание. Неужели ему не ясно, что другие боятся смерти не меньше его?

Ну, он… нет, давайте-ка вернемся к «я» — я знаю множество людей, которые не размышляют об этом так пристально. А не думать о смерти — это самый верный способ ее не бояться, пока она не придет. «Зло в том, что мы знаем, что это неизбежно». Моя подруга Г., которая частенько упрекает меня в излишней смертобоязни, признает: «Я знаю, что все умрут, но никогда не думаю о том, что умру *сама*». Такие наблюдения сводятся к общему месту: «Мы знаем, что должны умереть, но думаем, что бессмертны». Неужели в людских головах умещается такое диаметральное противоречие? Похоже, что да, и Фрейд считал это нормой: «Наше бессознательное не верит в нашу смерть и ведет себя так, будто мы бессмертны». Значит, моя подруга Г. просто повысила свое бессознательное в звании и подчинила ему сознание.

Где-то между этой тактикой прицельного отвода глаз и моим приводящим в ужас пристальным вглядыванием в бездну находится — должна находиться — рациональная, зрелая, научная, либеральная, центристская позиция. Вот и она, озвученная доктором Шервином Нуландом, танатологом и автором книги «Как мы умираем»: «Реалистичные ожидания требуют от нас признать тот факт, что отведенное нам время должно быть ограничено сроком, согласующимся с продолжением человеческого рода… Мы умираем, чтобы мир продолжал жить. Нам было даровано чудо жизни, потому что триллионы и триллионы живых существ подготовили для нас этот путь, после чего умерли — в каком-то смысле — за нас. В свою очередь и мы умираем, чтобы другие могли жить. Трагедия отдельного индивидуума в естественном порядке вещей становится триумфом продолжения жизни».

И все это не только обоснованно, но и мудро и восходит к Монтеню («Освободите место другим, как другие освободили его для вас»); но по мне — довольно неубедительно. Я не вижу здесь логического обоснования, почему продолжение человеческого

рода должно непременно находиться в зависимости от смерти — моей ли, вашей или кого-нибудь еще. Планета, может, уже слегка переполнена, но вселенная-то пуста — МЕСТА В НАЛИЧИИ, как напоминает нам кладбищенская рекламная вывеска. Не умрем мы — не умрет и мир, напротив — он станет еще живее. Что касается триллионов и триллионов живых существ, которые «в каком-то смысле» — фраза, выдающая нетвердость позиции, — умерли за нас: простите, но я не готов поверить даже в то, что мой дед умер «в каком-то смысле» для того, чтоб я мог жить, не говоря уже о «китайском» прадедушке, забытых предках, человекоподобных обезьянах, скользких амфибиях и примитивных водоплавающих. Как не готов я принять и то, что сам умру, дабы другие могли жить. Ни что трагедия отдельного индивида в естественном порядке вещей компенсируется триумфом продолжения жизни. Какой тут триумф? Все это напоминает бравурный, сентиментальный бандаж, призванный смягчить удар. Если какой-нибудь доктор скажет мне, лежащему на больничной койке, что моя смерть не только поможет жить другим, но и станет проявлением триумфа человечества, в следующий раз, когда он будет ставить мне капельницу, я глаз с него не спущу.

Шервин Нуланд, чей сострадательный здравый смысл я не готов воспринять, принадлежит — возможно, сам того не зная — к профессии, чьи представители боятся смерти еще пуще нашего брата. Исследования показывают, что «среди всех профессий медицина чаще всего привлекает людей, наиболее обеспокоенных собственной смертью». Из этого можно сделать один важный положительный вывод: врачи в целом против смерти; другой, менее радужный, состоит в том, что они могут неосознанно переносить собственные страхи на пациентов, слишком настаивать на излечимости и гнушаться смерти, как позора. Мой друг Д. проходил практику в одной из этих лондонских больниц при мединституте, которые по совместительству являются регбийными клубами с традиционно сильными командами. За несколько лет до него там был студент, которого держали, несмотря на регулярные провалы на экзаменах, за его мощную подачу. В итоге и эта его способность стала угасать, и ему было сказано (конечно, мы же должны дать дорогу другим) покинуть и класс, и тренировочное поле. И вот вместо того, чтобы стать доктором, он сделал шаг, который даже в романе воспринимался бы как неправдоподобный, — выбрал карьеру гробокопателя. Прошло еще много лет, и он вернулся в больницу уже в качестве ракового больного. Д. рассказывал мне, как его поместили в палату под самой крышей и никто к нему даже близко не подходил. И дело было не столько в жуткой вони от плоти,

отмиравшей в результате рака глотки; то был еще более едкий запах неудачи.

«Не уходи покорно в мрак ночной», — поучал Дилан Томас своего умирающего отца (и нас); и затем, повторяя эту мысль: «Гневись, гневись, что гаснет свет земной»[42]. В этих популярных строках больше юношеского горя (и поэтического самолюбования), нежели основанной на клинических сведениях мудрости. Нуланд прямо говорит: «Как ни убеждал бы себя человек, что не стоит бояться самого процесса умирания, все равно приближение смертельной болезни вызывает в нем ужас». Едва ли нам придется выбирать между спокойствием и умиротворением. Более того, «в подавляющем большинстве случаев» смерть происходит не так, как нам хотелось бы (за высаживанием капусты): способ, место, окружение — все будет не так, как надо. Более того, противореча Элизабет Кюблер-Росс и ее знаменитой теории, согласно которой процесс умирания последовательно проходит пять стадий: отрицание, гнев, торг, уныние и, наконец, смирение, — Нуланд отмечает, что его клинический опыт, как и наблюдения всех известных ему специалистов, свидетельствует: «Внешние проявления многих пациентов не идут дальше отрицания».

Возможно, все это монтенианство, вглядывание в бездну, попытки уж если не подружиться со смертью, то привыкнуть к ней, как к надоевшему врагу, — чтобы смерть стала скучной, самому наскучить смерти своим вниманием, — и не самый верный подход. Пожалуй, лучше будет, пока живой, просто не обращать на смерть внимания, а когда жизнь подойдет к концу, уйти в глухое отрицание; такой подход может помочь, по абсурдному выражению Юджина О'Келли, «"преуспеть" в смерти». Говоря «лучше», я, конечно, имею в виду скорее «прожить более легкую жизнь», нежели «узнать как можно больше правды об этом мире, прежде чем его покинуть». Что полезнее? Любители вглядываться в бездну весьма рискуют оказаться в положении героинь романов Аниты Брукнер — верных долгу, меланхоличных приверженцев истины, вечно проигрывающих развязным пошлякам, которые не только выжимают из жизни по максимуму низменных удовольствий, но еще и редко расплачиваются за такой самообман.

Я понимаю (наверное), что жизнь зависит от смерти. Что в первую очередь созданию планет предшествует крушение звезд; и далее, чтобы такие сложные организмы, как мы с вами, населили эту планету, чтобы на ней воцарилась осознанная и самовоспроизводящаяся жизнь, понадобилось испробовать и

забраковать громадное количество эволюционных мутаций и ходов. Это мне понятно, и когда я задаюсь вопросом: «Почему смерть происходит со мной?» — то могу лишь поаплодировать насколько резкому, настолько и блестящему ответу теолога Джона Боукера: «Потому что с тобой происходит Вселенная». Однако мое понимание всего этого не эволюционировало в сторону, скажем, принятия, не говоря уже о комфорте. Вдобавок я, помнится, никогда и не претендовал на то, чтобы со мной происходила Вселенная.

Мои не боящиеся смерти друзья с детьми иногда намекают, что если б я сам был родителем, то и отношение к смерти у меня было бы иное. Возможно; и я отлично понимаю, как дети могут вызвать массу «кратковременных, практически оправданных забот» (да и долговременных тоже), рекомендованных моим другом Г. С другой стороны, мысли о смерти посещали меня задолго до того, как дети стали возможной опцией в моей жизни; не помогли они ни Золя, ни Доде, ни моему отцу, ни танатофобу Г., который уже дважды превысил свою демографическую квоту. В некоторых случаях дети могут даже усугублять положение: например, мать острее ощутит свою смертность, когда ребенок покинет родительский дом, — она выполнила свою биологическую функцию, и теперь Вселенная только и ждет, чтоб она почила.

Основной же довод состоит в том, что дети «продолжают тебя» после смерти: ты не исчезнешь полностью, и предвидение это приносит осознанное или подсознательное утешение. Но продолжаем ли мы с братом наших родителей? Этим ли мы занимаемся — и если да, соотносится ли это хоть отдаленно с тем, «что хотели бы они»? Впрочем, мы, безусловно, плохой пример. Поэтому давайте представим, что такой межпоколенческий обмен происходит в удовлетворяющем всех ключе, что вы являетесь частью взаимно расположенных друг к другу поколений, где каждое новое желает увековечить память, добродетели и гены предыдущего. И долго ли продлится такое «продолжение»? Одно поколение, два, три? Что будет, когда родится первое поколение после вашей смерти, у представителей которого нет и быть не может никаких личных о вас воспоминаний, для которых вы просто-напросто фольклор? Станут ли они вашим продолжением и будут ли об этом знать? Как говорил великий ирландский писатель, автор коротких рассказов Фрэнк О’Коннор, фольклор «толком ничего не донесет».

Понравилось ли моей матери, каким ее продолжением явился я, опубликовав «бомбометание» грязью под видом своего первого романа? Сомневаюсь. Следующей моей книгой был написанный

под псевдонимом триллер со значительно более высоким содержанием грязи, поэтому я отсоветовал родителям его читать. Однако мать было не остановить, и она честно сообщила мне, что в некоторых местах у нее «прямо глаза на лоб полезли». Когда я напомнил ей о своем предостережении, она ответила: «Ну нельзя же, чтобы книжка просто пылилась на полке».

Сомневаюсь, что она рассматривала своих сыновей как переносчиков фамильной памяти. Она сама предпочитала ретроспективный взгляд. Больше всего мы, как и прочие дети, нравились ей в возрасте между тремя и десятью. Достаточно подросшие, чтобы не «увозюкиваться, как щенки», но еще далекие от грубых подростковых осложнений, не говоря уже о равенстве, а потом превосходстве взрослого состояния. Мы с братом, конечно же, никак не могли — если не думать о ранней трагической гибели — предотвратить банальный грех взросления.

Недавно я слышал по радио, как специалист в области сознания объясняла, что в мозгу нет центра, где бы находилась личность, — ни физического, ни вычислительного; и что вместо души и духа следует говорить о «сложном процессе распределения нейронов». Далее она объяснила, что наше нравственное чувство появилось оттого, что мы принадлежим к виду, развившему взаимный альтруизм; что концепция свободной воли, то есть «принятие осознанных решений маленьким внутренним “я”» должна быть отвергнута; что мы всего лишь машины для копирования и дальнейшей передачи фрагментов культуры; и что последствия, к которым приведет осознание этих фактов, могут быть «просто безумными». Для начала это означает, что, как она выразилась, «эти слова, слетающие с моих уст прямо сейчас, исходят не от меня, не от маленького “я” вот здесь, они исходят от всей Вселенной, которая делает свое дело».

Камю считал, что жизнь бессмысленна — хотя слово «абсурдна» подошло бы лучше, более полно характеризуя наше одиночество как существ «без конкретных поводов для существования». Тем не менее он считал, что мы обязаны, находясь здесь, придумать для себя правила. Позднее он говорил, что «большей частью того, что мне известно о нравственности и долге, я обязан спорту» — в особенности футболу и тому времени, когда он был вратарем в команде Алжирского университета. Жизнь как игра в футбол, где правила произвольны, но необходимы, поскольку без них невозможна будет игра и мы никогда не испытаем тех моментов радости и красоты, что дарит нам футбол — и жизнь.

Впервые обнаружив это сравнение, я аплодировал, как

болельщик на трибунах. Я, как и Камю, был голкипером, пусть и менее выдающимся. Последний свой матч я провел за команду «Нью стейтсман» против лейбористов из города Слоу. Погода была отвратительная, штрафная — сплошная грязевая ванна, а у меня не было подходящей обуви. Я пропустил пять мячей и, сгорая от стыда, не смог заставить себя пройти в раздевалку — так и поехал, насквозь промокший и удрученный, домой. А все, что я узнал в тот вечер о социальном и нравственном поведении в этой безбожной Вселенной, исходило от двух мальчишек, что, прохаживаясь за моими воротами, посвятили несколько минут наблюдению за моими размашистыми потугами не пропустить лейбористов из Слоу. «Это, наверно, запасной вратарь», — сказал, как отрезал, один из них. Мало того что мы дилетанты в собственной жизни, нас еще то и дело заставляют чувствовать себя запасными.

В наши дни метафора Камю устарела (и не только потому, что спорт стал сферой все возрастающей нечестности и бесчестья). Шины свободной воли подспустили, и то удовольствие, которое мы испытываем от прекрасной игры жизни, — не более чем пример культурного копирования. Нет больше представления, что вокруг нас безбожная и абсурдная Вселенная, так давайте же расчертим поле и надуем мяч. Теперь между «нами» и Вселенной не существует разделения, и думать, будто мы реагируем на ее проявления как отдельная сущность, ошибочно. Если дело и впрямь обстоит именно так, то из всего этого я могу извлечь единственное утешение: не следовало так расстраиваться из-за пяти голов, забитых мне лейбористами из Слоу. Это просто Вселенная делала свое дело.

Среди прочих вопросов эксперта в области сознания спросили, как она представляет собственную смерть. Вот что она ответила: «Я надеюсь встретить ее со спокойствием и самообладанием, как очередной, понимаете, шаг. “Все едино — вот я с вами в радиостудии — какое чудесное местечко. А вот я на смертном одре — вот оно как…” Я полагаю, что смирение — как раз наилучший результат подобного образа мысли. Живи полной жизнью здесь и сейчас, старайся изо всех сил, но если спросить — зачем, я не смогу ответить. Тут мы затрагиваем вопрос сверхморали, но — так, примерно, это работает. И я рассчитываю, что то же самое оно будет испытывать и на смертном одре».

Итак, налицо сугубо философское или же на удивление беспечное предположение, что Смирение — пятую и последнюю стадию умирания по Кюбер-Росс — можно будет вызвать, когда заблагорассудится. Значит, опускаем Отрицание, Гнев, Торг и Уныние и идем прямиком к Смирению? Меня также немного

разочаровала фраза: «А вот я на смертном одре — вот оно как…» — в качестве последних слов будущего (мне по-прежнему больше нравится вариант моего брата, например: «Передайте Бену мой экземпляр Беккерова Аристотеля»). И я не до конца уверен, что можно доверять человеку, называющему радиостудию «чудесным местечком».

«…Так, примерно, это работает. И я рассчитываю, что то же самое оно будет испытывать и на смертном одре». Обратите внимание на отсутствие личного местоимения. «Я» мутировало до «это» и «оно» — поворот одновременно и настораживающий и поучительный. В процессе переосмысления человеческого характера должен переосмысляться и человеческий язык. Мир газетных досье — стандартный набор эпитетов, иллюстрированных неким жареным анекдотцем, — с одной стороны спектра; и мир философа и ученого мозговеда — нет в подлодке капитана, а вокруг море свободной ассоциативности — с другой. Где-то посередине находится повседневный мир скептичного здравого смысла или мир общего пользования, где вы найдете и романиста, профессионального обозревателя жизненного дилетантства.

В романах (мои не исключение) люди представляются существами, обладающими в целом постижимыми, пусть иногда и скользкими характерами и мотивациями, вполне различимыми для нас, если не для самих героев. Это есть утонченная, более правдивая версия газетного подхода. Но что, если на самом деле все совсем не так? Тогда, наверное, я включу Автоматическую Защиту 1: коль скоро люди представляют себя существами, наделенными свободной волей, сформировавшимся характером и вполне твердыми убеждениями, такими их и следует запечатлевать романисту. Однако уже через несколько лет это может показаться наивным самооправданием обманувшегося гуманиста, неспособного разобраться в логических выводах современной научной мысли. И все же я пока не готов воспринимать себя — или вас, или героя своего романа — как процесс распределения нейронов, не говоря уж о замене «я», или «он», или «она» на «это» или «оно»; однако должен признать, литература сегодня отстает от того, на что способна действительность.

Флобер говорил: «Всему нужно учиться — учиться говорить так же, как учиться умирать». Но кто научит нас умирать? В этой сфере по определению не может быть старых профи, способных рассказать — или показать — нам, что к чему. На прошлой неделе я ходил к своему терапевту. Она пользует меня уже лет

двадцать, хотя встречаемся мы чаще в театре или на концерте, чем в ее кабинете. В этот раз мы обсуждаем мои легкие; в прошлый — Шестую симфонию Прокофьева. Она спрашивает, чем я занят; я говорю, что пишу о смерти, она отвечает — я тоже. Когда мне на электронную почту приходит ее труд на интересующую нас тему, сперва это вызывает во мне тревогу: в нем полно литературных ссылок. Эй, это *моя* территория, полуосознанно ворчу я с нехорошим предчувствием зазевавшегося соперника. Потом я вспоминаю, что в этом нет ничего удивительного: «Сталкиваясь со смертью, мы обращаемся к литературе». И к счастью, авторы, на которых она ссылается (Беккет, Т. С. Элиот, Милош, Зебальд, Хини, Джон Бергер), редко пересекаются с моими.

В одном месте она заводит речь о файюмских портретах, тех коптских рисунках, что поражают современный взгляд чрезвычайно реалистичным изображением индивидуальных черт. Такими эти портреты, без сомнения, и подразумевались; однако их писали не ради того, чтобы украсить стены в этой жизни. Как и кикладские статуэтки, они служили совершенно прикладной погребальной цели: их клали рядом с мумифицированным телом, чтобы духи мертвых на том свете могли распознать вновь прибывшего. Только вот тот свет, к сожалению, оказался все этим же, только старше на несколько столетий, а царящие здесь духи, тщательно изучающие портреты, оказались нами — этакая недовечность.

Удивительные, должно быть, отношения складывались между готовящейся к смерти моделью и художником, создающим его или ее единственное изображение. Какими могли быть эти отношения — деловыми и практичными или же обостренными слезливым страхом (страхом не только приближающейся смерти, но и того, что портрет будет недостаточно точным и модель не узнают на том свете)? Моему терапевту это навевает параллель с отношениями, которые складываются между современными врачами и их пациентами. «Не это ли, — спрашивает она, — то, что требуется доктору и [умирающему] больному. И если да, то в какой момент правильно было бы начать этот разговор?» И тут я понял, что, возможно, к нашему обоюдному удивлению, мы с ней его уже начали. Она — послав мне свои размышления о смерти, на которые я отвечу этой книгой. Если она таки окажется моим предсмертным врачом, к тому времени мы уже будем вести долгий разговор по теме и знать все сферы, где у нас есть разногласия.

Она, как и я, неверующая; как и Шервина Нуланда, ее пугает чрезвычайная медикаментозность умирания и то, как техника вытеснила мудрость и внимание к человеку настолько, что смерть теперь рассматривается как постыдный провал и больного, и доктора. Она призывает по-новому взглянуть на боль, которая, не являясь сугубо отрицательным моментом, может послужить к пользе пациента. Она хочет дать место «нерелигиозному исповеданию», время — подведению счетов, выражению прощения и — да — раскаянию.

Я восхищаюсь ее работой, но (чтоб уже начать наш финальный разговор) не могу согласиться в одном ключевом пункте. Она, подобно Шервину Нуланду, воспринимает жизнь как повествование. Тогда смерть, являясь не частью небытия, но составляющей жизни, есть развязка этого повествования, а время непосредственно перед смертью — наша последняя возможность найти смысл этой истории, которая вот-вот закончится. Возможно, именно потому, что свое профессиональное время я посвящаю размышлениям о том, что является повествованием, а что нет, такой ход мысли для меня неприемлем. Лессинг описывал историю как расставленные по порядку случайности, и человеческая жизнь, на мой взгляд, это то же самое в миниатюре: период осознанности, в течение которого происходят определенные вещи, одни из которых предсказуемы, другие — нет; где определенные схемы повторяют сами себя, где взаимодействуют случай и то, что мы все еще можем назвать свободной волей; где дети обычно вырастают и хоронят своих родителей и сами, в свою очередь, становятся родителями; где,

если повезет, мы находим свою любовь, а с ней находим способ жить вместе, а если нет, то принимаем любой другой образ жизни; где мы делаем свою работу, испытываем удовольствие, поклоняемся своим богам (или не поклоняемся) и наблюдаем, как история продвигается на коготок-другой вперед. В моем понимании повествования из этого не складывается. Или, если точнее: может, это, конечно, и повествование, но мне оно таковым не кажется.

Мама, рассерженная не явившимся или натворившим дел бестолковым мастером или каким-нибудь безруким наладчиком, говаривала, что могла бы написать книгу о своих злоключениях с рабочими. И действительно, могла бы; и какой же скучной была бы эта книга. Там были бы анекдоты, сценки, портреты характеров, сатира, даже легкомысленные шуточки; но повествование из этого не сложилось бы. То же самое с нашими жизнями: эпизод за эпизодом — трубы поменял, стиральную машину починил, — а не внятная история. Или так (поскольку своего терапевта я чаще встречаю в концертных залах): в наших жизнях отсутствует четко заявленная тема, за которой следовало бы развитие, вариации, реприза, кода и яркий финал. Случается расслышать духоподъемную арию, но прозаичного речитатива куда больше, а сквозная композиция почти не прослеживается. «Жизнь ни длинна, ни коротка — в ней просто есть длинноты».

И когда на пороге смерти, оглядываясь на прожитое, «мы понимаем наше повествование» и ставим на нем штамп окончательного смысла, то, подозреваю, мы не просто фантазируем: мы перерабатываем странные, непостижимые, противоречивые данные в некую правдоподобную историю — но правдоподобную в основном только для нас самих. Я ничего не имею против этой атавистической тяги все уложить в повествование — не в последнюю очередь потому, что и сам зарабатываю этим на жизнь, — но все же не могу не усомниться. Я бы остерегся рассматривать умирающего как достоверного рассказчика, поскольку то, что годится для нас, не всегда подходит для истины, а при смерти нам важно ощущение, что жизнь наша прошла не зря и в соответствии с каким-то постижимым замыслом.

Доктора, священники и писатели сговорились представлять человеческую жизнь как историю, идущую к значимой развязке. Мы послушно делим нашу жизнь на периоды, как популярные историки любят делить век на десятилетия и привешивать к каждому свой ярлык. Когда я был маленьким, казалось, что я никогда не стану взрослым и не достигну того состояния, в котором недостижимая компетентность слегка омрачена

незавидными заботами (пенсии, зубные протезы, мозоли); а все же повзрослел, хотя изнутри это состояние было совсем не таким, как казалось снаружи. Впрочем, и достижением это не оказалось. А больше всего это походило на сговор: я притворюсь, что ты взрослый, если ты притворишься, что я тоже большой. Потом, в качестве признанных (или, по крайней мере, неразоблаченных) взрослых, мы движемся к более полной зрелости, своим повествованием доказывая насущность, и наконец провозглашаем или скромно признаем: «На все — свой срок». Но всегда ли подходит нам эта фруктовая метафора? Закончить дни кислым паданцем или сморщенным под солнцем сухофруктом мы можем с той же вероятностью, что и гордо разбухнув до полной зрелости.

Человек пишет книгу о смерти. За время, прошедшее с тех пор, когда он придумал первое предложение — «Давайте-ка разберемся с этой смертью», — до момента, когда он действительно напечатал первое, и совершенно другое, предложение, во всем мире умерло около 750 000 000 людей. Пока он пишет эту книгу, умирает еще примерно 75 ООО ООО. С того момента, когда он приносит книжку издателям, до ее выхода в свет умирают следующие 45 ООО ООО. Когда глядишь на эти цифры, довод Эдмона де Гонкура — о том, что Божественная бухгалтерия завалена работой и не в состоянии справиться с задачей, если Он предназначил каждому из нас некое посмертное существование, — кажется почти убедительным.

В одном из моих романов герой представлял, что кроме грубого «или/или», окончательного «что бы вы предпочли», сугубо бинарного выбора между «1. Бог есть» и «2. Бога нет» должны быть и другие варианты. Там было несколько соблазнительных ересей, например: 3. Раньше был Бог, а теперь Его нет; 4. Бог есть, но Он нас покинул; 8. Раньше Бог был и потом снова будет, но сейчас Его нет — Он просто ушел в Божественный отпуск (что многое могло бы объяснить); и так далее. К тому моменту, когда у моего героя (и у меня) иссякло воображение, он дошел до номера 15 (Бога нет, но есть жизнь вечная).

Однако нерассмотренным остался такой вариант — Бог есть главный насмешник. Как ученые в лабораториях ставят эксперименты на крысах с лабиринтами и кусочками сыра за правильными дверьми, так и Бог мог устроить себе эксперимент, где вместо крыс — мы. Наша задача — найти дверь, за которой скрывается жизнь вечная. Возле одного из возможных выходов мы слышим доносящуюся издалека неземную музыку, возле другой

чувствуем дуновение фимиама, вокруг третьей — сиянье золотого света. Мы налегаем на каждую из дверей, но ни одна не подается. Суетясь все больше — поскольку нам известно, что коварный ящик, в котором мы пребываем, называется «смертность», — мы пытаемся убежать, не понимая при этом, что невозможность побега — основное условие эксперимента. Ложных дверей много, а вот настоящей — ни одной, потому что жизни вечной не существует. Игра, которую затеял Бог-насмешник, состоит в следующем: наградить жаждой жизни вечной недостойных ее созданий и посмотреть, что будет. Понаблюдать, как эти люди, обремененные сознанием и интеллектом, носятся по кругу, как обезумевшие крысы. Как одна группа учит всех вокруг, что их дверь (которую они не в состоянии открыть) и есть единственно верная, — а потом, глядишь, и начнет убивать тех, кто поставил на другую дверь. Ну не весело ли?

Бог экспериментатор, насмешник, игрок. Почему нет? Если Бог создал человека (или человек создал Бога) по Своему (или своему) облику и подобию, тогда *homo ludens*[43] предполагает *Deus ludens*. Еще одна игра, в которую Он любит с нами играть, называется «Есть ли Бог»? Он подбрасывает нам различные свидетельства и аргументы, дает подсказки, подсылает на оба фронта провокаторов (один Вольтер чего стоит!) и, откинувшись в кресле с блаженной улыбкой на лице, наблюдает, как мы решим эту задачу. Не стоит полагать, что поспешная готовность поверить: «Да, Господи, мы всегда знали, что Ты был там с самого начала, еще до того, как нам сказали; Ты наше все!» — как-то поможет наладить отношения с этим товарищем. Если Бог действительно хороший парень, я думаю, он одобрил бы Жюля Ренара. Некоторые верующие путали его типично французский антиклерикализм с атеизмом. На что он отвечал:

> Вы говорите, что я атеист, потому что не все мы ищем Бога одинаково. Точнее, вы верите, что уже нашли Его. Мои поздравления. А я вот до сих пор Его ищу. И продолжу свои поиски еще лет десять–двадцать, если Он дарует мне достаточно жизни.
>
> Я боюсь не найти Его, но искать все равно буду. Он, может, будет даже благодарен мне за старания.
>
> И уж наверное, сжалится над вашей самодовольной уверенностью и ленивой, недалекой верой.

Игры «есть ли Бог» и «лабиринт смерти», конечно же, отлично совмещаются. Вместе они составляют трехмерный пазл из тех, что привлекают умы, уставшие от бесхитростной элементарности шахмат. Горизонтальная игра «Бог» пересекается с вертикальной

«Смертью», создавая самую большую в мире головоломку. И мы с воплями карабкаемся вверх по лестницам, которые никуда не ведут, и бегаем по лабиринту, состоящему из одних тупиков. Знакомо ли вам это ощущение? И можно почти поверить, что Бог — такой вот Бог — читал эту запись в дневнике Ренара: «И продолжу свои поиски еще лет десять — двадцать, если Он дарует мне достаточно жизни». Какая самонадеянность! В общем, Бог даровал ему шесть с половиной лет: не слишком скупо, но и не то чтобы щедро. Можно сказать, справедливо. Справедливо в Его понимании, конечно.

Если как человек я боюсь смерти, а как писатель — профессионально занимаюсь поиском противоположного взгляда на этот феномен, значит, мне нужно научиться находить доводы в пользу смерти. Один из способов — это выставить альтернативу — вечную жизнь в неприглядном свете. И способом этим уже, конечно, пользовались. Это тоже весьма характерная для смерти проблема: испробовано уже почти все. У Свифта были струльдбруги, которые рождались с красной меткой на лбу, у Шоу в «Назад к Мафусаилу» были Древние, которые появлялись на свет из яиц, а к четырем годам уже достигали зрелости. В обоих случаях дар вечности оказывается обузой, а непрекращающаяся жизнь истощается до пустоты; жизнью этой обладающие — точнее обремененные — жаждут утешения смерти, в котором им жестоко отказано. Такой взгляд мне кажется искаженным и пропагандистским, слишком очевидно его предназначение утешать смертных. Мой терапевт указывает мне на более утонченный вариант — поэму Збигнева Херберта «Господин Когито и долгожительство». Господин Когито «желал воспеть прекрасный времени поток»; он рад своим морщинам и отказывается от эликсира долголетия, «приветствовал и памяти провалы, ведь память слишком волновала» — в общем, «с детства дрожь его брала при мысли о бессмертии». Что именно вызывает зависть к богам, спрашивает Херберт и отвечает с кривой усмешкой: «Сквозит на небесах, дела там в запустенье неутолимой похоти, неописуемая скука».

Довольно привлекательная позиция, даже если большинству из нас не составит труда представить административную реформу горы Олимп, да и божественными сквозняками и удовлетворением страстей нас не испугаешь. Тем не менее нападки на вечность — это, по определению, нападки на жизнь или, по крайней мере, воспевание ее быстротечности, которой только и можно утешиться. Жизнь полна боли, страданий и страхов, тогда как смерть освобождает нас от всего этого. Теченьем времени, говорит Херберт, вечность проявляет свое

милосердие. Представьте, что все это происходит вечно: ну кто бы не взмолился о кончине? Жюль Ренар соглашается: «Представьте себе жизнь без смерти. Каждый день хотелось бы убить себя от отчаяния».

Если оставить в стороне проблему бесконечной вечности (которую, я думаю, можно было бы со временем решить), то старомодное, Богом дарованное бессмертие — помимо очевидного и наиболее эффектного момента *неумирания* — привлекательно главным образом из-за нашего подспудного желания и потребности в справедливом суде. Вот где она, нутряная притягательность религии, — то, что привлекало в ней Витгенштейна. Всю жизнь мы видим себя и окружающих лишь отчасти. Они, в свою очередь, отчасти наблюдают нас. Влюбившись, мы рассчитываем — эгоистично и альтруистично одновременно, — что нас наконец разглядят по-настоящему и оценят по справедливости. Любовь, конечно, не гарантирует положительной оценки: разглядев вас, предмет любви с таким же успехом может поморщиться, чем отправит вас до поры до времени в преисподнюю (проблема и парадокс заключаются в том, что влюбленный должен обладать достаточным чувством справедливости, чтобы выбрать предмет любви с таким ответным чувством справедливости, которое позволило бы оценить влюбленного по достоинству). В былые времена мы могли утешаться мыслью о том, что земная любовь, какой бы краткой и несовершенной она ни была, это всего лишь предвкушение чуда, истинного чувства — любви Божественной. Теперь это все, что у нас есть, и нам нужно как-то свыкаться с падением собственного статуса. При этом нам по-прежнему хочется, чтобы нас разглядели как следует — непредвзято и доброжелательно. Вот это сошло бы за хороший конец, не правда ли?

Так, может, нам оставить только Страшный суд и забыть про райские кущи, в которых еще может повстречаться тот укоризненный Господь, которого воображал себе Ренар: «Вас сюда не развлекаться позвали!» Может, нам и не нужен полный комплект. Потому что — вариант Бога номер 16б — представьте себе на секунду сколько-нибудь разумный ответ Бога, изучившего наше досье. «Знаешь, — сказал бы Он, — Я прочел документы и выслушал выдающегося небесного адвоката, выступавшего в твою защиту. Ты, конечно, старался, как мог (и Я, кстати, наделил тебя свободной волей, что бы там тебе ни говорили эти провокаторы). Ты был послушным ребенком и хорошим родителем, ты жертвовал на благотворительность и перевел слепого пса через дорогу. Ты жил так, как полагается всякому человеку, учитывая материал, из которого вы сотворены. Ты хочешь, чтоб тебя

рассмотрели и одобрили? Вот, я ставлю печать “РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН” на твою жизнь, досье и на лоб. Но, знаешь, давай начистоту: ты и впрямь считаешь, что за свое земное существование заслужил жизнь вечную? Не слишком ли большой куш за такой ничтожный, в сущности, вклад на срок от пятидесяти до ста лет? Боюсь, Сомерсет Моэм был прав, говоря о вашей породе, что для вечности вы не годитесь».

С этим сложно будет не согласиться. Если доводы про скуку и боль вечной жизни кажутся недостаточно вескими, то Аргумент о Ничтожности остается вполне убедительным. Даже если Господь у нас Милостивый — чтобы не сказать Умильный, — есть ли у нас объективные основания утверждать, что наше увековечивание будет иметь какой-то смысл? Нам могли бы польстить отдельные исключения (Шекспир, Моцарт, Аристотель — там, за бархатным ограждением, остальные в подвал), но какой в этом смысл? Все-таки в жизни есть место законной уравниловке, а времени и сил вдаваться в подробности — нет.

Прах моих родителей был развеян по ветру, бушевавшему на атлантическом побережье Франции; их родителей распылили прямо в крематории — если только урны с прахом где-нибудь не затерялись. Я ни разу в жизни не был на могиле ни одного из членов моей семьи и вряд ли побываю, если только брат не обяжет меня (он хочет быть похоронен в своем саду, чтоб слышно было пасущихся лам). Зато я посещал могилы многих некровных родственников: Флобера, Жоржа Брассенса, Форда Мэдокса Форда, Стравинского, Камю, Жорж Санд, Тулуз-Лотрека, Ивлина Во, Джейн Остин, Брака… Некоторые было совсем не просто найти, и ни к одной из могил не стояла очередь желающих возложить цветы. Камю вообще невозможно было бы обнаружить, если б не расположенный рядом более ухоженный участок его жены. На Форда ушло полтора часа блужданий по огромному довильскому кладбищу на вершине скалы. Когда я наконец нашел низкую, простую плиту, различить его имя и даты жизни было почти невозможно. Я присел на корточки и принялся отчищать высеченные в камне, покрытые лишайником буквы ключами от арендованной машины; я скоблил и смахивал, пока имя писателя вновь не стало чистым. Чистым, но неясным: может, то была вина французского каменщика, поставившего пробелы не там, где надо, а может — результат моих стараний, но тройное его имя выглядело причудливо. Начиналось правильно, с FORD, но потом следовало MAD OXFORD[44]. Возможно, на мое восприятие повлияла оставленная Лоуэллом характеристика английского романиста: «Старик, безумно любил писать».

Я хотел бы стать (впрочем, формально я им уже являюсь) стариком, безумно любящим писать; да и от посещений я бы не отказался. Мне нравится идея — хотя мой брат посчитал бы такое мечтание логически необоснованным, поскольку это будущее пожелание мертвеца, или же пожелание будущего мертвеца, — что кто-то, прочтя мою книгу, захочет найти мою могилу. Это по большей части литературное тщеславие, но под ним таится грубый, животный иррационализм. Насколько сложно полностью вытряхнуть из себя глубоко засевшую память о Боге, мечту о суде (исключительно справедливом, то есть сугубо снисходительном), обнадеживающую и призрачную надежду, что во всем этом есть какой-то высший, мать его, промысел, настолько сложно постоянно помнить о том, что смерть — это окончательно и бесповоротно. Разум по-прежнему ищет выход из тупика смертности и по-прежнему готов порой соблазниться научной фантастикой. И если Бог нам больше не помощник, а крионика — это грустный старик, который сидит возле потекшего холодильника и верит, что у трагедии может быть счастливый конец, значит, искать нужно в другом месте. В моем первом романе (местами даже слишком автобиографичном) рассказчик размышляет над возможностями клонирования, естественно, в ключе разного рода непредвиденных ситуаций и отступлений от нормы. «Представьте себе, что изобретут способ воссоздавать людей после смерти. И вот откапывают твой гроб, и оказывается, что ты разложился чуть больше, чем нужно… Или, если тебя кремировали, они не могут найти все крупинки праха… Или Государственный Комитет по Воссозданию решит, что ты недостаточно важен, чтобы тебя воссоздавать…» И тому подобное — вплоть до такого сценария, когда вас уже одобрили и утвердили к воссозданию и вот-вот вернут к жизни, как вдруг безрукая медсестра роняет жизненно важную пробирку, и ваши начавшие уже прозревать глаза темнеют навеки.

«Пожелание будущего мертвеца, — с кривой усмешкой выдает мой брат. — Таким образом, все наши желания — это желания будущих мертвецов». И все же, коль на то пошло, да, жду вас на своей могиле. Придите и соскребите лишайник с моего имени ключами от арендованной машины; а потом предложите мою кандидатуру для светского воскрешения из куска ДНК, но не делайте этого — надеюсь, вы не станете обижаться на такое требование, — пока техника не будет отработана до совершенства. Вот тогда и посмотрим, будет ли мое сознание таким же, как в первый раз, вспомню ли я что-нибудь из прошлой жизни (узнаю ли в этом предложении свою руку) и стану ли, усевшись за первую попавшуюся печатную машинку, старательно

воспроизводить все свои книги по новой — в каковом случае, плюс ко всему, возникнет занятный казус с авторскими правами.

И все же сквозит в этом какая-то тоска. Да, из вечной мерзлоты уже выкопали целую вырезку шерстяного мамонта и собираются в лабораторных условиях вырастить всю клыкастую тушу. Но вопиющие литераторы, надо полагать, будут в самом хвосте этой очереди (возможно, в будущем писатели попытаются вставлять воскрешение пунктом в авторский договор, как сегодня требуют печатать свои книги на бескислотной бумаге). Не лучше ли согласиться с прямолинейностью французского государства: либо ты живой, либо мертвый, и никаких «но». Не лучше ли сказать решительное «прощай», чем двусмысленное «до свидания», когда шансов один на миллион, и повторить вслед за Доде: «Прощайте, жена, дети, семья, дорогие моему сердцу…» И потом: «Прощай, я, милый сердцу я, теперь уже тающий, едва различимый». Так мудрее, не правда ли?

Мудрость, в частности, состоит и в том, чтобы не притворяться, отбросить все искусственное. Россини написал Маленькую торжественную мессу после тридцативосьмилетнего перерыва. Свои поздние работы он называл «старческими грешками», а мессу — последним грехом. В самом конце рукописи он оставил посвящение на французском: «Боже милосердный, вот она и закончена, эта бедная маленькая месса. Благословенная у меня получилась музыка или проклятая? Ты ведь знаешь, я рожден для оперы-буфф! Немного уменья, чуть-чуть души — всё тут. Будь же прославлен и ниспошли мне рай. Дж. Россини, Пасси, 1863».

Слова эти как будто написаны ребенком — столько в них надежды; и в том, что большой художник в преклонном возрасте проявляет такую безыскусность, есть что-то бесконечно трогательное. Бахвальство и бравада — это для молодых, да, говорит он, пускание пыли в глаза входит в программу самореализации; но теперь, когда мы уже старые, позволим себе говорить просто и без прикрас. Возможно, для человека религиозного это значит снова стать ребенком и таким образом попасть на небеса; для художника это означает стать достаточно мудрым и спокойным, чтобы не таить свою сущность. Тебе и правда нужны все эти причудливые вариации в партитуре, все эти мазки на холсте, все эти многословные определения? И это не только смирение перед лицом вечности; просто чтобы научиться видеть и говорить простые вещи, нужно прожить жизнь.

«Достаточно мудрым». Иногда мои сверстники говорят, изображая удивление: «Забавно, конечно, но я совершенно не чувствую себя старше». Я-то, конечно, чувствую; а если возникают

сомнения, то к моим услугам яркая и убедительная арифметика: допустим, я прохожу мимо двенадцатилетнего подростка, так вальяжно и преждевременно покуривающего на школьном крыльце, и понимаю, что в мои шестьдесят я сейчас, в 2006 году, по возрасту ближе к самому старому из живущих ветеранов Первой мировой, чем к этому пареньку. Чувствую ли я себя более мудрым? Да, немного; и уж точно менее дурным (возможно, даже достаточно мудрым, чтобы сожалеть о потере некоторого безрассудства). Достаточно ли я мудр, чтоб опроститься? Все еще не вполне, о Боже.

Мудрость — добродетель, которой награждаются те, кто бесстрастно изучает движения сердца и ума, кто, перерабатывая опыт, обретает понимание жизни; верно ведь? Что ж, нашему мудрому танатологу Шервину Нуланду есть что сказать по этому поводу. Вам сначала какую новость — хорошую или плохую? Здоровая тактика — всегда выбирать хорошую: есть шанс умереть, так и не услышав плохую. Итак, хорошая новость в том, что с возрастом мы действительно иногда становимся мудрее. А вот и плохая (и более длинная) новость. Все мы отлично знаем, что человеческий мозг изнашивается. С какой бешеной скоростью ни обновлялись бы их составляющие, клетки мозга (как и мышцы сердца) имеют ограниченный срок годности. Каждые десять лет жизни после пятидесяти мозг теряет два процента собственного веса; кроме того, он становится желтовато-кремового оттенка — «даже старение имеет свой цвет». Двигательная зона лобной коры теряет от двадцати до пятидесяти процентов нейронов, зрительная — пятьдесят, осязательная — примерно столько же. Но *это* еще не плохая новость. Плохая таится в сравнительно хорошей, сообщающей нам, что высшие интеллектуальные функции мозга в значительно меньшей степени подвержены высокой клеточной смертности. На самом деле, когда мы достигаем зрелого возраста, «определенных нейронов коры головного мозга» как будто становится больше, и есть даже свидетельства того, что ветвящиеся отростки — дендриты — продолжают расти на нейронах у пожилых людей, если те не страдают болезнью Альцгеймера (те, у кого уже есть альцгеймер, забудьте об этом). Таким образом: «Нейрофизиологи, возможно, открыли источник той мудрости, которую, как нам нравится думать, мы способны накапливать с возрастом». Оцените это «как нам нравится думать, мы способны накапливать» и посыпьте голову пеплом. Один мой друг, который любит иногда поделиться со мной своими проблемами, прозвал меня «ходячей консультацией» — ярлык, который, при всей иронии, доставляет мне необъяснимое удовольствие. Оказывается, у меня просто

разрослись-закустились ветвящиеся отростки — а я тут и ни при чем.

Мудрость, философия, смирение: как они, сложившись в столбик, встанут против смертельного ужаса? В качестве примера приведу вам Гёте. Когда один из мудрейших людей своего времени перевалил за восемьдесят, у него были все те же не тронутые возрастом умственные способности, превосходное здоровье и всемирная слава. Он никогда не скрывал своего скепсиса относительно идеи жизни после смерти. Заботы о бессмертии он считал занятием для праздных умов, а тех, кто в него верил, — людьми слишком самонадеянными. Его веселая и весьма оригинальная позиция была такова: если, закончив жизнь, он обнаружит, что за ней есть еще одна, то, конечно, обрадуется; но меньше всего хотелось бы встретить там тех зануд, что всю земную жизнь разглагольствовали о своей вере в бессмертие. Слушать, как они кудахчут «Мы были правы! Мы были правы!», в той жизни было бы еще невыносимее, чем в этой.

Возможно ли представить себе позицию более здравую и мудрую? Гёте продолжал работать, будучи глубоким стариком, и закончил вторую часть «Фауста» летом 1831 года. Спустя девять месяцев он заболел и слег. В один из последних дней его мучили страшные боли, но, даже утратив способность говорить, он вычерчивал буквы на ворсе лежащего на коленях коврика (по-прежнему внимательно следя за соблюдением правил пунктуации — замечательный пример того, как оставаться собой до конца). Верные его друзья утверждали, что умер он благородно, даже по-христиански. Правда же, какой она раскрылась в дневниках его доктора, была такова: Гёте «охватили жуткий страх и возбуждение». Причина такого ужаса была очевидна доктору: Гёте, мудрец Гёте, человек, который все видел в перспективе, не избежал того трепета, который обещает нам Шервин Нуланд.

У Тургенева был такой жест, легкое мановение руки, с помощью которого неприятный и не имеющий ответа вопрос исчезал в славянском тумане. В наши дни фармацевтика сделала общедоступными и жест и туман. Когда у матери случился первый удар, врачи, следуя заведенной практике — и не предупредив родственников, — накачали ее антидепрессантами. И хоть она и была сердита и в глубокой растерянности, а временами «совсем съехавшей», в депрессию она, наверное, не впала. Отец, проделавший этот путь до нее, часто имел вид человека, находящегося в глубокой депрессии, и сидел, обхватив голову руками. Я воспринимал это как естественную и логически объяснимую реакцию, принимая во внимание: а) обстоятельства,

б) его темперамент, в) тот факт, что он был женат на моей матери. Возможно, в будущем медики разработают методику, позволяющую управлять той частью мозга, которая обдумывает собственную смерть. Как с помощью морфиновой капельницы мы сможем одним щелчком контролировать собственное настроение и чувства относительно приближающейся смерти. Отрицание: *щелк*. Гнев: *щелк-щелк*. Торг — о, так уже лучше. И тогда мы, наверное, сможем защелкать себя не только до Принятия («Вот я и на смертном одре — вот оно как»), но и до полного Одобрения; и все это покажется нам обоснованным, естественным, даже желанным. Закон сохранения энергии станет нам утешением — ничто в этой вселенной не исчезнет бесследно. И мы станем благодарить за выпавший нам шанс на жизнь, когда столько триллионов потенциальных людей и вовсе не явились на свет. Мы согласимся, что «всему — свой срок», и станем думать о себе, как о фрукте, который и сам рад упасть с ветки, как об урожае, спокойно ожидающем сбора. Мы будем с гордостью освобождать место другим, как другие когда-то освободили его для нас. И средневековый образ птички, влетающей в ярко освещенную залу с одной стороны и вылетающей с другой, станет нам утешением и опорой. И что, в конце концов, может быть для нас полезнее, чем умирающие животные? Добро пожаловать в Район Самоуспокоения.

И вы, и я, вероятнее всего, умрем в больнице: и это будет современная смерть, почти без всяких обрядов. В Шитри-ле-Мин крестьяне сжигали солому из матраса умершего, но саму ткань оставляли. Когда умер Стравинский, Вера, его вдова, завесила все зеркала в помещении; кроме того, она старалась не прикасаться к его трупу, поскольку верила, что дух живет в нем еще сорок дней. Во многих культурах двери и окна открываются настежь, чтобы душа могла улететь на волю; и по той же причине не следует стоять или наклоняться над покойным. Больница покончила со всеми этими обычаями. Теперь вместо обряда у нас бюрократическая процедура.

На двери отдела регистрации рождений и смертей в Уитни значилось «ПОСТУЧАЛИСЬ — ЖДИТЕ». Пока мы с мамой ждали, мимо нас по коридору в направлении регистрации браков проследовала игривая парочка. Регистраторше было под сорок, на стене у нее висели две тряпичные куклы, а на столе лежал толстый том Мейв Бинчи[45] в мягкой обложке. Учуяв в ней читательницу, мама сообщила, что ее сын — тоже писатель (я пережил маленькую смерть): «Джулиан Барнс, слышали о таком?» Но регистраторша не слышала; и общей темой для литературной беседы послужила телевизионная экранизация романа «Пора

танцевать» Мелвина Брэгга[46]. Затем начались вопросы и безмолвное заполнение анкет. Потом, уже в самом конце, регистратор заслужила одобрение моей матери, даже не предполагая об этом. Мама потянулась, чтобы подписать свидетельство о смерти своего мужа, когда чиновница воскликнула: «Ну не чудо ли, в каком идеальном состоянии у вас ногти!» И это было правдой. Ее ногти — это то, из-за чего она предпочла бы стать глухой, нежели ослепнуть.

Спустя пять лет я получал свидетельство о смерти матери уже у другой женщины, которая, работая, как метроном, была совершенно лишена навыков — или дара — общения. Вся информация была заведена, подписи проставлены, дубликаты сделаны, и я уже поднимался, чтобы уйти, как вдруг мертвенным голосом она произнесла четыре бездушных и бессмысленных слова: «На этом регистрация закончена». Сказано это было тем же механическим тоном, каким гуманоидные боссы Футбольной ассоциации, вынимая из бархатного мешочка последний шар слоновой кости, объявляют: «На этом жеребьевка одной четвертой финала кубка ФА закончена».

На этом заканчиваются и мои семейные предания. Для себя хотелось бы чего-то большего. Я вовсе не против, если вы постоите над моим смертным одром, — доброжелательное лицо будет кстати, хотя едва ли это возможно в два ночи в не укомплектованной персоналом больнице. Я не жду, что после моей смерти откроют настежь все окна и двери, не в последнюю очередь потому, что в случае кражи страховая компания откажется возмещать ущерб.

А вот надгробию я был бы рад. В последний год жизни, зная, что приговорен, Жюль Ренар стал регулярно посещать кладбища. Однажды он отправился навестить братьев Гонкур к их могиле на Монмартре. Младший брат был похоронен в 1870 году; старший, Эдмон, в 1896-м, и Золя произнес тогда надгробную речь. В своем «Дневнике» Ренар отметил: их писательская гордость была такова, что они не стали даже упоминать свою профессию. «Два имени, под каждым даты жизни, они думали, этого будет достаточно. *Hé! Hé!* — В такой чудной французской транскрипции Ренар изображает саркастический смешок. — На это нельзя полагаться». Но чем является такая простота — проявлением тщеславия, уверенностью, что в грядущем все будут знать, кем они были, или, напротив, желанием избежать бахвальства? А может, она продиктована здравым пониманием того, что ни один ушедший в историю писатель не застрахован от забвения? Интересно, что написано на могиле Ренара.

«И вы, и я, вероятнее всего, умрем в больнице». Предложение, прямо скажем, глупое, как бы высока ни была статистическая вероятность. Причины, как и место смерти, к счастью, от нас скрыты. Готовьтесь к одному, и, скорее всего, вам выпадет другое. 21 февраля 1908 года Ренар написал: «Завтра мне исполняется сорок четыре. Возраст не слишком солидный. Задумываться надо, начиная с сорока пяти. Сорок четыре — это бархатный сезон». В сам день рождения он пребывал в чуть более мрачном настроении: «Сорок четыре — это тот возраст, когда уже перестаешь надеяться прожить еще столько же».

Признание того, что ты едва ли доживешь до восьмидесяти восьми, кажется скорее разумным прогнозом, нежели декларативным пренебрежением. Однако в течение следующего года здоровье Ренара пошатнулось столь резко, что он уже не мог пройти из одного конца Тюильри в другой, не остановившись, чтобы присесть и поболтать со старушкой, продающей дикие лилии. «Пора уже записывать впечатления старости», — решил он и с сожалением написал другу: «Мне сорок пять — будь я деревом, я был бы еще полон сил». Однажды он молил Бога не дать ему умереть слишком быстро, поскольку он был бы не прочь понаблюдать за процессом. Сколько еще времени ему могло понадобиться на наблюдения? Он прожил сорок шесть лет и три месяца.

Когда его мать ни с того ни с сего навзничь упала в колодец, создав «легкое завихрение, знакомое тем, кто топил животных», Ренар заметил: «Смерть — не художник». Все ее достоинства в лучшем случае ремесленнические: усердие, умение доводить дело до конца и чувство противоречия, временами достигающее уровня иронии; но ей недостает возвышенности или неоднозначности, и повторяется она чаще, чем симфония Брукнера. Правда, она обладает полной свободой выбора места действия и порядочными силами, чтобы загнать в один котел людские обычаи и суеверия — хотя сами они, конечно, скорее наши, нежели ее творения. Ренар отметил одну особенность, которая, конечно же, была неизвестна моей бедной фольклором семье: «Тот, чья смерть уже близко, пахнет рыбой». Теперь мне есть на что ориентироваться.

Впрочем, какое смерти дело, если мы, следуя за Ренаром, высокомерно исключим ее из гильдии художников? Где это видано, чтоб она искала одобрения Искусства? Со своим коллегой — временем она просто делает свое дело, угрюмым комиссаром безотказно выбирая квоту на все сто процентов. Большинство художников с тревогой поглядывают на смерть. Для кого-то это повод поторапливаться; другие с оптимизмом верят, что будущие поколения задним числом оправдают их существование (хотя «с

чего бы это завтра люди станут менее глупы, чем сегодня?»); для третьих смерть — это прыжок по карьерной лестнице. Шостакович, отмечая, что страх смерти — это, возможно, самое глубокое наше чувство, продолжал: «Ирония заключается в том, что под влиянием этого страха люди создают поэзию, прозу и музыку; таким образом они пытаются укрепить свою связь с живыми и усилить свое на них влияние».

Создаем ли мы искусство, чтобы победить или, по крайней мере, иметь возможность отрицать смерть?

Чтобы превозмочь ее, поставить ее на место? Можешь забрать мою плоть, можешь забрать эту мякоть из моего черепа, где таится все понимание и воображение, которыми я обладаю, но ты не сможешь забрать то, что я создал с их помощью. Это ли наш подтекст и наша мотивация? Скорей всего — да, хотя *sub specie aeternitatis*[47] (или даже тысячелетия-другого) это лишено всякого смысла. Гордые строчки Готье, которые так воодушевляли меня в свое время — все проходит, остается только искусство; короли сходят в могилу, а написанные при них стихи живут дольше, чем бронзовые изваяния, — сейчас кажутся подростковым утешением. Меняются вкусы; то, что было правдой, становится общим местом; целые направления искусства уходят в небытие. Даже примеры величайшего триумфа искусства над смертью смехотворно непродолжительны. Писатель может рассчитывать на еще одно поколение читателей — два-три, если повезет, — и ему кажется, что он презрел смерть; тогда как это не более чем царапина на стене камеры смертников. Мы делаем это, чтобы сказать: я тоже был здесь.

Мы можем допустить, что Смерть, как и Бог, способна время от времени проявлять специфическое чувство юмора, тем не менее путать их совершенно не нужно. Самое важное различие остается прежним: Бог, может, и умер, зато смерть еще как жива.

Шутки смерти: *locus classicus*[48] — тысячелетней давности история, впервые прочитанная мной у Сомерсета Моэма. В Багдаде один купец посылает своего слугу за продуктами. На базаре того толкает в бок какая-то женщина, слуга оборачивается и узнает в ней Смерть. Побледнев и весь дрожа, он бежит домой и молит хозяина одолжить ему лошадь: ему нужно немедленно скакать в Самарру и спрятаться там, где Смерть никогда его не найдет. Купец соглашается, слуга уезжает. Тогда хозяин сам идет на рынок, находит Смерть и давай распекать ее, зачем это она напугала его слугу. Да, отвечает Смерть, я даже не думала его пугать — я сама удивилась. Я была просто ошарашена, увидев его сегодня утром в Багдаде, ведь вечером у меня с ним назначена

встреча в Самарре.

А вот более современная история. Павел Апостолов — музыковед, композитор, сочинявший музыку для духовых оркестров, всю жизнь был гонителем Шостаковича. Во время Великой Отечественной войны он в чине полковника командовал дивизионом, а после стал одной из важнейших фигур музыкального отдела Центрального Комитета. Шостакович говорил о нем: «Он въехал на белом коне и покончил с музыкой». В 1948 году возглавляемый Апостоловым комитет вынудил композитора отречься от своих музыкальных грехов и чуть не довел его до самоубийства.

Спустя двадцать лет в малом зале Московской консерватории давали закрытую премьеру навеянной мыслями о смерти Четырнадцатой симфонии Шостаковича. В сущности, это была частная проверка, устраиваемая советскими музыкальными экспертами, чтобы обезопасить более широкую публику от возможно пагубного влияния новой работы. Перед концертом к собравшимся обратился Шостакович. Скрипач Марк Лубоцкий так вспоминает его слова: «Смерть ужасна, за ней нет ничего. Я не верю в загробную жизнь». Затем он попросил публику сидеть как можно тише, так как выступление записывалось.

Лубоцкий сидел рядом с администраторшей Дома композиторов, за ней сидел лысый старик. Во время напряженнейшего пианиссимо пятой части симфонии мужчина вскочил и, громко хлопнув сиденьем, выбежал из зала. Администраторша шепнула: «Вот подонок! Он хотел уничтожить Шостаковича в сорок восьмом, не вышло. Так он не сдается и теперь нарочно выскочил и испортил запись». Это, конечно же, был Апостолов. Однако присутствующие не знали, что вредитель сам был поврежден — с ним случился сердечный приступ, имевший впоследствии летальный исход. «Зловещая симфония смерти», как назвал ее Лубоцкий, на самом деле сурово его обыграла.

В притче про Самарру смерть предстает такой, какой она виделась нам раньше: ищущий жертву охотник, который целится и ждет, чтобы нанести удар; фигура в черном балахоне с косой и песочными часами. Московская история показывает смерть такой, какой она обычно и является: это то, что мы носим в себе все время, в негодном фрагменте генетического материала, в дефектном органе, в механизмах с ограниченным сроком годности, из которых мы состоим. Лежа на смертном одре, мы можем вернуться к персонифицированному образу смерти и думать, что боремся с болезнью, как будто это какой-то захватчик; но бороться-то на самом деле нужно с собой, с

частицами нас же, которые вознамерились погубить нас целиком. Ближе к концу — если жизнь наша была долгой — между выходящими из строя и ослабевающими частями тела начинается соревнование за первое место в нашем свидетельстве о смерти. Как говорил Флобер: «Едва приходим в этот мир, мы сразу начинаем разваливаться».

Для Жюля Ренара этой частью стало сердце. Когда ему поставили диагноз: эмфизема и артериосклероз, начался его последний год *au lit et au lait* (на постели и на молоке — два с половиной литра в день). Он сказал: «Теперь, когда я болен, я понял, что желаю изречь что-то необыкновенно глубокое и исторически важное, чтобы друзья потом еще долго меня цитировали, но не могу — слишком перевозбуждаюсь». Он подначивал свою сестру, возлагая на нее обязанность установить его бюст на маленькой площади в Шитри-ле-Мин. Он утверждал, что писатели обладают более достоверным чувством реальности, чем врачи. Он чувствовал, что его сердце ведет себя, как погребенный в забое шахтер, который постукивает время от времени, подавая сигнал, что все еще жив. Он чувствовал, как части его мозга сдувает, будто семена с одуванчика. Он говорил: «Не беспокойтесь! Те из нас, кто больше всего боится смерти, всегда стараются умереть как можно более стильно». Он говорил: «Рая не существует, но мы тем не менее должны стремиться быть его достойны». Конец настал в Париже, 22 мая 1910 года; через четыре дня его похоронили в Шитри-ле-Мин без церковных обрядов, как и его отца и брата. Согласно его письменной просьбе, речи над его могилой не произносились.

Слишком много французских смертей? Хорошо, вот вам старая добрая британская смерть нашего национального знатока смертельного ужаса — Филипа Ларкина. В первые десятилетия жизни Ларкину иногда удавалось убедить себя, что угасание, когда оно наконец приходит, может оказаться милостивым избавлением. Но после пятидесяти, по словам его биографа, «страх забвения омрачил все вокруг», и затем: «После шестидесяти страхи мучили его все чаще». Это к вопросу об уверенности моего друга Г. в том, что после шестидесяти становится легче. В год своей смерти Ларкин писал другу-поэту: «Я не думаю о смерти *все* время, хотя и не вижу к этому никаких препятствий; мы же не удивляемся, если человек в камере смертников все время думает о казни. Почему они не кричат?» — удивлялся он, возвращаясь к своей поэме «Старые дураки».

Ларкин умер в больнице в Халле. Друг, навещавший его за день до этого, сказал: «Если б Филипа не накачали лекарствами, он бы разбушевался. Уж так ему было страшно». В 1.24, обычный

для смерти час, он произнес свои последние слова держащей его за руку медсестре: «Ухожу в неизбежное». Едва ли Ларкин был франкофилом (хотя в нем было больше космополитичности, чем он готов был признать); однако при желании это можно принять за уточняющую аллюзию на последние слова, приписываемые Рабле: «Ухожу искать Великое Может Быть».

Смерть Ларкина способна лишь навести тоску. Созерцание бездны вместо успокоения привело к усиленным страхам; и хотя смерти он боялся, умер он не слишком стильно. А сам Ренар? При известной сдержанности французских биографов, конкретные подробности до нас не дошли. Тем не менее один его друг, сын Доде, Леон, написал, что во время финальной болезни он демонстрировал «потрясающее мужество». Доде делает следующее заключение: «Хорошие писатели, как и хорошие солдаты, умеют умирать, тогда как политики и доктора боятся смерти. Любой сможет найти подтверждение этой мысли, просто оглянувшись вокруг. Впрочем, бывают, конечно, и исключения».

Есть еще такой довод, озвученный Ренаром, когда он был молод и здоров: «Смерть прекрасна; она освобождает нас от страха смерти». Ну разве не утешение? Нет, это софизм. Или, скорее, еще одно подтверждение того, что понадобится нечто большее, чем логика и рациональная аргументация, чтобы победить смерть и ее страхи.

Когда человек умирает, его волосы и ногти какое-то время продолжают расти — жуть. Это все знают. Я всегда верил, или полуверил, или полупредполагал, что в этом «что-то есть»: не то чтоб, лежа в своих гробах, мы превращались в страшилищ с вампирскими когтищами, а так, буквально миллиметр-другой волос и ногтей. Впрочем, то, что «знают все», обычно является частичным или полным заблуждением. Как утверждает дружественный мне танатолог Шервин Нуланд, двух мнений тут быть не может. Умерев, мы перестаем дышать; нет воздуха — нет крови, нет крови — не может быть и роста. После того как останавливается сердце, может еще всколыхнуться мозговая активность, но это все. Возможно, именно этот миф проистекает из распространенного страха быть похороненным заживо. А может, он основан на честном, но ошибочном наблюдении. Тело как будто съеживается — оно и вправду съеживается — после смерти, и тогда кожа на пальцах скукоживается, создавая иллюзию, будто ногти продолжают расти; в свою очередь и лицо кажется меньше, отчего волосы, соответственно, длиннее.

Про заблуждения: как мой брат был не прав. После смерти матери он отвез прах наших родителей на атлантическое

побережье Франции, где они часто проводили отпуск. Они с женой рассеяли его в дюнах в присутствии Ж., ближайшего французского друга родителей. Они прочли: «Не страшись впредь солнца в зной» из «Цимбелина» («Светлый отрок ли в кудрях, / Трубочист ли, завтра — прах») и стихотворение Жака Превера «Les Escargots qui vont à l'enterrement»[49]; мой брат объявил, что это событие его «странным образом тронуло». Позднее за ужином разговор зашел о родителях и их ежегодных визитах в эту часть Франции. «Помню, как меня поразило, — говорил потом брат, — когда Ж. рассказывал, как отец мог развлекать их до утра всякими историями и оживленными беседами. Я не помню, чтоб он вообще разговаривал с тех пор, как они переехали в тот жуткий загородный домик, и думал, что он просто разучился быть веселым. Очевидно, я глубоко ошибался». Наилучшее объяснение, которое я могу предложить, в том, что поскольку по-французски отец говорил лучше матери, это позволяло ему на те несколько недель обретать языковой и социальный приоритет; или же мама, находясь за границей, намеренно принимала образ более традиционной внимающей жены (как бы невероятно это ни звучало).

Еще про заблуждения: как не прав оказался я. У меня было грудное вскармливание, у брата — искусственное: этим я объяснял различие наших характеров. Но вот во время одного из моих последних посещений между мной и мамой возникло нечто похожее на близость, что было для нас совершенно нехарактерно. В газетах напечатали исследование, что у детей, вскормленных грудью, интеллектуальные способности развиваются лучше, чем у искусственников. «Да, я тоже читала, — сказала мама, — и смеялась. С моими *двумя* вроде все в порядке, подумала я». Потом, под перекрестным допросом, она подтвердила, что меня грудью кормили не больше, чем моего брата. Я не стал спрашивать почему: будь то стремление уравнять нас на старте или брезгливость и нежелание затевать эту пачкотню («Навозюкал, как щенок!»). Хотя условия все равно были не совсем равны, поскольку мама говорила, что молочная смесь у нас была разная. Она даже вспомнила названия на бутылочках, которые я тут же забыл. Теория темпераментов, основанная на различных марках молочной смеси для детей? Даже я готов признать, что это, пожалуй, слишком тенденциозно. И теперь мой брат, приносящий чай больной матери в постель, не кажется мне менее отзывчивым и заботливым, чем я, закутывающийся в ее одеяло, потакающий прихотям (и главным образом лени).

А вот заблуждение позапутанней, хотя и так же удаленное во времени. П., французский *assistant*, который рассказывал сказки о

мистере Бизи-Визи, так и не вернулся в Англию; но тот год, который он провел с нами, был увековечен двумя небольшого размера пейзажами без рам, которые он преподнес родителям. Оба темные, в голландском стиле: на одном изображался полуразвалившийся мост через речку, с перил которого слетала опавшая листва; на втором — ветряная мельница на фоне драматического неба с тремя женщинами в белых чепчиках, устроивших пикник на заднем плане. По жирным мазкам, которыми были написаны река, небо и луг, видно было определенное мастерство и артистизм. Все мое детство и юность эти картины висели в гостиной, потом перекочевали в «жуткое бунгало», но места своего над обеденным столом не уступили. В течение более пятидесяти лет я постоянно смотрел на них и так ни разу и не задался вопросом и не спросил родителей, где именно наш П. поставил свой мольберт. Во Франции — на его родной Корсике, или, может, в Голландии, или в Англии?

Разбирая вещи после маминой смерти, в ящике стола я нашел две открытки с точно такими же видами. Сперва я предположил, что они были напечатаны специально, как реклама работ нашего П.: у него всегда был полный берет теоретически прибыльных схем. Перевернув открытки, я обнаружил, что это напечатанные на продажу репродукции типично бретонских пейзажей: «Vieux Moulin à Cléden» и «Le Pont fleuri»[50]. То, что всю жизнь я принимал за подлинное мастерство, оказалось мастерским копированием. Но был и еще один поворот. В правом нижнем углу каждой карточки была подпись «Yvon», как будто оставленная художником. Однако «Yvon» оказалось названием открыточной фирмы. То есть сами картины были написаны исключительно для того, чтобы сделать из них открытки, — после чего П. превратил их обратно в «оригинальные» картины, которыми они никогда не были. Все это позабавило бы какого-нибудь французского теоретика. Я поспешил рассказать брату о пятидесятипятилетнем заблуждении, ожидая, что его изумление будет не меньше моего. Но его это не тронуло совершенно, и по той простой причине, что он отчетливо помнил, как П. писал эти картины и как он «еще подумал, насколько умнее срисовывать, чем придумывать что-то из головы».

Такая работа над фактическими ошибками дается весьма легко и даже оставляет ощущение, как будто мозг вспрыснули чем-то освежающим. Столкнуться с заблуждением относительно восприятий и суждений, которые ты привык считать своими достижениями, было бы сложнее. Возьмем хотя бы смерть. Большую часть своей сознательной жизни я испытывал живой ужас, а также чувствовал себя вполне способным — вопреки

утверждению Фрейда — представить свое вечное отсутствие. Но что, если я в корне ошибаюсь? Ведь Фрейд считал, что с уверенностью в нашем бессмертии упорно не расстается наше подсознание — тезис неопровержимый по своей природе. И тогда, возможно, то, что я полагаю созерцанием бездны, — это лишь иллюзия поиска правды, поскольку в глубине души я не верю — просто не способен поверить — в бездну; и иллюзия эта может остаться со мной до самого конца, если Кёстлер прав, что наше сознание раздваивается, когда мы in extremis[51].

Вот еще почва для заблуждений: что, если ужас, который мы испытываем авансом — и который представляется нам полнейшим, — по сравнению с реальностью окажется ничем? Что, если наши полые образы не более чем бледное подобие того, что нам предстоит испытать — подобно Гёте — в последние часы? И что, если приближение смерти вызывает настолько сильные ощущения, что никаких слов не хватит для того, чтобы его достоверно описать? Чувство того, что ты всю жизнь заблуждался: ведь говорил же Флобер, что именно противоречия позволяют нам оставаться в здравом уме.

А ведь кроме смерти есть еще Бог. Будь Он любителем розыгрышей, Он, без сомнения, испытывал бы особое игривое удовольствие, развенчивая представления философов, которые убедили себя и других в том, что Его не существует. А. Дж. Айер убеждает Сомерсета Моэма, что после смерти нет ничего, тогда как оба они оказываются актерами в небольшом юмористическом представлении под названием «Ярость воскрешенного атеиста». Довольно изящное «что бы вы предпочли» для отрицающих Бога философов: предпочтете вы оказаться правым в том, что после смерти нет ничего, или чтобы ваша профессиональная репутация была разрушена потрясающим сюрпризом?

«Атеизм аристократичен», — заявлял Робеспьер. Главным воплощением этого тезиса в Британии двадцатого века был Бертран Рассел, аристократ до мозга костей. В старости, с его непослушной седой шевелюрой, Рассел выглядел и воспринимался как мудрец на полпути к божеству: научный консилиум в одном лице. Неверие его было непоколебимо, и ему часто задавали провокационный вопрос: как бы он отреагировал, если бы он, всю жизнь пропагандировавший атеизм, оказался не прав? Если бы жемчужные врата оказались не метафорой и не фантазией, а он встретился бы с божеством, которое всегда отрицал? «Что ж, — отвечал Рассел, — тогда б я подошел к Нему и сказал: “Ты не дал нам достаточных доказательств”».

Психологи утверждают, что мы склонны преувеличивать

устойчивость наших убеждений. Возможно, таким образом мы утверждаем нашу шаткую индивидуальность; зато, переосмыслив эти убеждения, мы воспринимаем это как великое достижение и точно так же гордимся снизошедшей на нас мудростью, когда начинают ветвиться те несколько дополнительных дендритов. Но параллельно с постоянным, пусть и не отслеживаемым потоком нашей личности или нашего сознания случается, что и мир, который мы привыкли воспринимать таким устойчивым, вдруг начинает крениться, когда космические сдвиги уже невозможно списать на «недопонимание». Сначала это первый, персональный *le réveil mortel;* потом — не обязательно одновременно — момент, когда мы осознаем, что все остальные тоже умрут, что сама жизнь рода человеческого закончится, солнце выпарит океаны, планета погибнет. Все это мы принимаем на борт, стараясь по ходу сохранять равновесие.

Но бывают и еще более головокружительные идеи. Мы, как вид, склонны к историческому солипсизму. Прошлое — это то, что привело к нашему возникновению; будущее — это то, что мы создаем сегодня. Мы с торжественной улыбкой говорим о лучших временах и с жалостью к себе — о худших; что любые времена принадлежат нам, сомнению не подлежит. Мы склонны путать наш научный и технический рост с моральным и общественным прогрессом. И мы слишком легко забываем, что эволюция не только привела наш вид к нынешнему похвальному состоянию, но и, следуя собственной логике, может так же легко оставить нас на обочине.

И все же насколько глубоко в прошлое и насколько далеко в будущее способны мы заглянуть из нашей повседневной жизни? Я думаю, что с определенной ясностью и широтой я вижу до середины девятнадцатого века (конечно же, в рамках своей, западной культуры). Дальше уже идут отдельные гении, воплощения морали и искусства, ключевые идеи, направления мысли, интеллектуальные движения и отдельные исторические события, но, рассыпанные по поверхности, они редко складываются в континуум; предел моему зрению заднего вида наступает где-то на кикладских фигурках третьего-второго тысячелетия до н. э. Моя временная дальнозоркость не простирается далее тех же ста–ста пятидесяти лет; и взгляд этот очень опасливый, размытый и ожидающий от будущих поколений мало чего хорошего.

Чехов великолепно понимал и обращал в драматическую форму этот наш линейный взгляд в двух направлениях. Он специализировался на потерпевших неудачу идеалистах, когда-то мечтавших о лучшей жизни; действительность умерила их пыл, и

теперь будущее вызывает у них трепет. Ближе к финалу чеховской пьесы такой персонаж высказывает робкую надежду, что в жизни будущих поколений будет меньше страданий и что, быть может, они вспомнят своих несчастных предков добрым словом. На что из полного зала потомков иногда доносятся проницательные смешки и глубокомысленные вздохи: это тихие звуки прощения, заостренные иронией, происходящей от знания, что произошло в течение тогда еще только зарождающегося века; что дальше был сталинизм, массовые убийства, ГУЛАГ, кровавая индустриализация, что леса и озера, к которым с такой тоской взывали доктор Астров со товарищи, были порублены и отравлены, а музыкой поставили руководить таких, как Павел Апостолов.

Однако, как сквозь трубу разглядывая простачков прошлого, мы не склонны задумываться о том, как наши потомки посмотрят на нас и как они оценят нашу поглощенность собой — не в смысле ее влияния на нас, а в плане того, что она принесла им. Заслужим ли мы их понимание, нежность, прощение? Что скажет *наше* потомство? Если мы вообще задумываемся над этим вопросом, то в контексте одного-двух поколений, столетия максимум. И те, кто будет нас судить, надо полагать, не будут от нас сильно отличаться, поскольку и впредь планета двинется по пути усовершенствования человеческого животного: улучшения моральных и общественных качеств, борьбы с бедностью и болезнями, снижения агрессии, решения проблемы изменений климата, увеличения продолжительности жизни и так далее.

Хотя с точки зрения эволюции все это не более чем сугубо краткосрочные мечты политиков. Не так давно ученых, представляющих разные области знания, попросили описать одну идею, которая, по их мнению, заслуживает более широкого понимания большим количеством людей. Все остальные я забыл, настолько сместило мою точку сборки высказывание Мартина Риса, королевского астронома и профессора космологии и астрофизики в Кембридже:

> Я хотел бы расширить представление людей о том невероятно долгом отрезке времени, что лежит перед нашей планетой и самой жизнью. Большинство образованных людей знают, что мы являемся результатом дарвинистского отбора, проходившего в течение четырех миллиардов лет, при этом многие склонны полагать, что мы, так или иначе, являемся наивысшей точкой, кульминацией этого процесса. Однако солнце не дошло еще и до половины своего

> жизненного цикла. И наблюдать его угасание через шесть миллиардов лет будут совсем не люди. Какими бы ни были эти существа, от нас они будут отличаться не меньше, чем мы от бактерий или амеб.

Ну конечно! ЗАБЛУЖДЕНИЯ — СПЛОШНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ — ПОСТОЯННО. И какое же дилетантство — не принять во внимание такую логичную, такую явную очевидность. «Мы» не вымрем через шесть миллиардов лет. Вымирать будет нечто ушедшее далеко вперед или, по крайней мере, нечто совершенно от нас отличное. Мы можем просто исчезнуть в очередной великой планетарной катастрофе. Пермское вымирание унесло девяносто девять процентов всех животных на земле, мел-кайнозойское — две трети всех видов, включая динозавров, что дало возможность мамонтам стать доминирующими земными позвоночными. Возможно, третье вымирание унесет, в свою очередь, нас и оставит мир… кому? Жукам? Генетик Дж. Б. С. Халдейн любил шутить, что если Бог есть, Он наверняка «питает неуемную нежность к жукам», ведь Он создал их 350 000 видов.

Но даже без нового вымирания эволюция будет развиваться не по тому пути, на который мы так сентиментально и эгоцентрично рассчитываем. Механизм естественного отбора зависит от выживания, а выживает не тот, кто сильнее или обладает более высокими интеллектуальными способностями, а тот, кто лучше всех приспосабливается. Забудьте про лучших и самых умных, не думайте, что эволюция — это такая социально приемлемая, обезличенная и всеобъемлющая версия евгеники. Эволюция поведет нас куда ей хочется — точнее, «нас» она не поведет, поскольку мы скоро окажемся слишком плохо подготовленными для тех мест, куда она направляется; она отбросит нас как грубый, недостаточно приспосабливаемый прототип и слепо продолжит свой путь к новым формам жизни, туда, где мы — вместе с Бахом, Шекспиром и Эйнштейном — покажемся далекими, как бактерии или амебы. Вот вам и а *fortiori*[52] для Готье и побеждающего смерть искусства; не более чем жалкое бормотание «я тоже был здесь». Только «тоже» не будет, поскольку не будет ничего, к чему мы сможем апеллировать, ничего, что в ответ признает в нас своих предков. Возможно, будущие формы жизни сохранят и адаптируют интеллектуальные способности и будут рассматривать нас как примитивные организмы со странными повадками, представляющими некоторый историко-биологический интерес. А может, это будут существа с низким интеллектом, но отличной

физической адаптивностью. Представьте, как они пожирают все на поверхности земли, а свидетельства краткого пребывания на этой планете *homo sapiens* покоятся, погребенные в палеонтологическом слое.

В определенной точке этого пути Бог, Которого так не хватает, покажется утверждением не менее иллюзорным, чем выдумки моей мамы про то, как я вытащил ее на теннисный корт. Не то чтобы Проект Амеба исключал саму возможность существования Бога. Он вполне совместим с Богом-экспериментатором, ведь такой Бог, если б Он существовал, вряд ли был бы заинтересован в бесконечном изучении одной и той же группы подопытных. Ставить опыты над людьми в течение еще шести миллиардов лет было бы невероятно скучно: от такой тоски Бог мог бы задуматься о Самоубийстве. И затем, если планета не отойдет жукам и продолжит успешно развиваться в сторону более мозговитых и сложных существ, в игру вступит Гипотеза номер 726, а именно: пусть сейчас мы не обладаем бессмертной душой, в будущем она у нас появится. Бог просто ждет, когда Довод о Бесполезности перестанет работать.

Остается два вопроса. Может ли понимание, что нашей планете еще предстоит эволюционный путь в шесть миллиардов лет и с этой точки зрения мы не более чем амебы, облегчить понимание того, что мы не обладаем свободной волей? И если да (и даже если нет), станет ли от этого легче умирать?

Думая об отце, я часто вспоминаю, как ногти у него на руках закруглялись на подушечки пальцев. Неделями после его кремации я представлял себе в топке не его лицо или кости, но эти знакомые ногти. Кроме того, я думаю о всевозможных ударах, которые претерпело его тело перед смертью. Инсульт повредил голову и язык; длинный шрам на животе, который он однажды предложил продемонстрировать, но мне не хватило духу взглянуть; пятна синяков от капельниц на руках. Только при особом везении тела неспособны рассказать историю смерти. Умереть без признаков смерти — вот маленькая месть. Когда мать Жюля Ренара вытащили из колодца, на ней не было ни царапинки. Впрочем, Смерти, этому главному счетоводу, все равно. Как все равно, останетесь вы собой до конца или нет.

Мы живем, умираем, нас помнят и забывают. Не сразу — по кусочкам. Мы помним наших родителей большую часть их взрослой жизни; бабушек и дедушек — их последнюю треть; дальше может идти еще какой-нибудь прадедушка с колючей бородой и прогорклым запахом. Возможно, от него пахло рыбой. А дальше? Фотографии и несколько случайных документов. В

будущем моему узкому ящичку найдут достойную технологичную замену: целые поколения предков останутся на пленках и дисках, все они будут двигаться, говорить, улыбаться, доказывая, что они тоже тут были. Еще подростком однажды во время ужина я спрятал под столом магнитофон; запись должна была доказать: вопреки маминому декрету, что любой прием пищи должен быть «светским мероприятием», никто никогда не говорит ничего хоть сколько-нибудь интересного, поэтому меня можно освободить от необходимости поддерживать беседу и разрешить читать книгу, если мне так хочется. Эти личные цели я раскрывать не стал, полагая, что их не придется объяснять, когда позвякивание вилок, ножей, банальности и нелогичные реплики будут воспроизведены. К моему ужасу, маме пленка понравилась — очаровательно, мол, похоже на пьесу Пинтера (сомнительный, на мой взгляд, комплимент нам, как ни крути). И все осталось как прежде; запись я не сохранил, так что голосов моих родителей в этом мире больше нет и слышны они только в моей голове.

Я вижу (и слышу) свою мать в больнице, как она в зеленом платье сидит, скособочившись, на инвалидном кресле возле кровати. В тот день она была сердита на меня: не из-за тенниса, а потому, что меня попросили обсудить ее лечение с врачом. Ее возмущало любое проявление собственной недееспособности, так же, впрочем, как и необоснованный оптимизм психотерапевтов. Ее просили назвать стрелки на часах, она отказалась; ей говорили открыть или закрыть глаза, она не реагировала. Врачи не могли решить: то ли это нежелание, то ли — неспособность. Я склонялся к нежеланию — то, что в юридической терминологии называется «отказываться отвечать на вопросы суда», — потому что в моем обществе она была способна говорить целыми предложениями. Это было болезненно — но и сами предложения были наполнены болью. Например: «Ты не понимаешь, каково это быть настолько скованной для женщины, которая всю свою жизнь держала все под контролем».

В тот день, проведя с ней несколько неловких минут, я пошел искать доктора. Прогноз его был крайне неутешительным. По дороге в палату я сказал себе, что мое лицо не должно выдать его профессионального мнения о том, что следующего удара она, скорее всего, не переживет. Но мама опередила меня. Повернув за угол, я через переполненную палату, то есть метров за двадцать, а то и больше, увидел, что она настороженно ждет моего прихода; и пока я приближался к ней, оттачивая полуправду, которую собирался ей выложить, она вытянула единственную работающую руку и указала большим пальцем вниз. То был самый эпатирующий и самый восхитительный жест, который я когда-

либо видел в ее исполнении; и вот тогда сердце мое разрывалось.

Она считала, что врачи должны ампутировать ее «бесполезную» руку; какое-то время она думала, что она во Франции, и удивлялась, как это я ее нашел; ей казалось, что испанская медсестра родом из ее деревни в Оксфордшире и все остальные сестры приехали из разных частей Англии, где она когда-либо проживала в течение своих восьмидесяти лет. Она считала, что не скончаться в один заход — это «глупо». Когда она спросила, очень разборчиво произнеся каждый слог: «Разбираешь ли ты то, что я говорю?», я ответил: «Да, ма, я понимаю все, что ты говоришь, но ты иногда кое-что путаешь». *«Ха,* — парировала она, взглянув на меня, как на какого-нибудь улыбчивого физиотерапевта, — это еще мягко сказано. Я совсем уже *спятила».*

Эта смесь безумного вымысла и безумной же проницательности постоянно сбивала с толку. В целом ей, казалось, все равно, посещают ее или нет, она взяла привычку говорить: «Теперь тебе пора», притом что все последние десятилетия вела себя с точностью до наоборот. Однажды я взглянул на ее ногти, которые так восхитили регистраторшу смертей и рождений из Уитни за пять лет до того. Видно было, как давно она утратила способность за ними следить: с любовью отточенные и покрытые несколькими слоями лака ногти продолжали расти, и над кутикулами образовалось миллиметра три-четыре белого. Ногти, за которыми она готова была ухаживать, даже погрузившись в глухоту. Я взглянул на то, что выше кутикул, — пальцы ее отнявшейся руки распухли до размера морковки, текстурой напоминая ее же.

На обратном пути в Лондон, когда в зеркале заднего вида играло закатное солнце, а по радио — симфония Хафнера, я подумал: если это происходит с человеком, который всю жизнь работал головой и может позволить себе приличный уход, мне такого не надо. Потом задумался, не обманываю ли я себя: что, если, когда такое наступит, оно мне будет надо на любых условиях; а если нет, достанет ли мне смелости или хитрости избежать этого; а может, это просто происходит и, случившись, обрекает тебя, дрожа от ярости и ужаса, смотреть все до конца. Как далеко ни убежал бы ты от судьбы своих родителей в жизни, в смерти они, скорее всего, призовут тебя обратно, — а именно, в том, как ты умрешь. Писательница Мэри Уэсли признавалась: «В моей семье есть такая склонность — должно быть, генетическая — умирать скоропостижно. Сейчас ты здесь, а вот тебя и нету. Здорово. Я очень надеюсь, что унаследовала этот ген. Мне совсем не хочется тянуть, становиться прикованной к постели занудой.

Короткий острый шок — вот чего я хочу для своих родных и близких: и им проще, и мне приятнее».

Такое желание можно услышать довольно часто, но мой терапевт его осуждает. Выхватив этот пассаж, она называет его «очередным проявлением современного отрицания смерти» и позицией, «не признающей ценностей и возможностей, которые предоставляет нам финальная стадия». Едва ли мои родители видели в своей финальной стадии какие-то «возможности», будь то поделиться воспоминаниями, попрощаться, раскаяться или простить; а все касающееся планирования похорон — а именно, чтоб это была простая, без всякой помпы и толпы скорбящих, кремация, — было высказано заранее. Добились бы мои родители «успешной смерти», если бы ударились в сентиментальность, эмоции, признания? Обнаружили бы, что это как раз то, чего они всегда хотели? Сомневаюсь. И хотя мне жаль, что папа так никогда и не сказал, что любит меня, я почти уверен, что он меня любил, а его меланхолическое молчание по этому и многим другим ключевым вопросам, по крайней мере, доказывает, что он до самой смерти оставался самим собой.

Когда моя мама в первый раз попала в больницу, на соседней койке лежала женщина в коматозном состоянии. Она лежала на спине и практически не двигалась. Однажды, когда мать уже немного чудила, к женщине пришел ее муж. Это был маленький, аккуратный уважаемый мужчина рабочей профессии, ближе, наверное, к семидесяти. «Здравствуй, Дульси, это Альберт, — объявил он на всю палату с чистейшим оксфордширским акцентом, который необходимо записать, пока он не исчез окончательно. — Здравствуй, моя дорогая, здравствуй, любимая, я пришел — может, ты проснешься? — (Его поцелуй отозвался эхом.) — Это Альберт, дорогая, может, проснешься? — И потом: — Я сейчас тебя поверну, чтоб вставить слуховой аппарат, — (Подошла сестра.) — Я хочу вставить ей слуховой аппарат. Не хочет она просыпаться сегодня. Ой, выпадает. Так, я тебя еще чуть-чуть поверну. Здравствуй, дорогая, здравствуй, Дульси, здравствуй, моя красавица, ты не проснешься? — И так через паузу в течение четверти часа с перерывом на: — Ты что-то сказала? Ты что-то сказала, я же знаю. Что ты сказала? — И снова: — Здравствуй, дорогая, это Альберт, может, проснешься?» И опять поцелуи. Сцена эта пронзала мне сердце (и мозг), и вынести ее можно было, лишь воспринимая как черную комедию. Мы с мамой, естественно, делали вид, что ничего не происходит, а если и происходит, то мы ничего не слышим; хотя от нее, подозреваю, не ускользнул тот факт, что моего отца тоже звали Альберт.

Ногти на маминой отнявшейся руке продолжали расти с той же скоростью, что и на той, которой она показала большим пальцем вниз; потом она умерла, и, вопреки расхожему мнению, все десять пластинок расти перестали. Как и у папы, чьи ногти закруглялись на подушечки пальцев. У брата и ногти и зубы всегда были крепче моих — деталь, которую я объяснял тем, что, поскольку он ниже меня ростом, концентрация кальция в нем выше. Вполне возможно, что с научной точки зрения это чушь (и причина кроется в различных марках молочной смеси). Так или иначе, долгие годы я машинально стачиваю свои ногти о передние зубы, когда читаю, пишу, нервничаю, правлю это самое предложение. Может, уже пора прекратить этим заниматься, чтобы посмотреть, станут ли они закругляться на подушечки пальцев, когда отец призовет меня.

На кладбище Монмартра много зелени и кошек, и даже в жаркий парижский день здесь веет свежестью и прохладой; это небольшое, огороженное со всех сторон и весьма обнадеживающее место. В отличие от обширного некрополя Пер-Лашез это кладбище создает иллюзию — доступную лишь еще нескольким погостам, — что только те, кто здесь похоронен, и почили на земле; более того, что когда-то они жили совсем недалеко, возможно, прямо в домах, возвышающихся за оградой кладбища; и того более, что смерть, в конце концов, не такая уж и плохая штука. За пять месяцев до смерти Жюль Ренар писал: «Когда заглянешь как следует смерти в лицо, понять ее совсем не сложно».

Здесь лежат и мои мертвецы; и поскольку они по большей части писатели, то могилы их расположены в нижнем и, соответственно, более дешевом секторе. Стендаля похоронили здесь лет тридцать спустя после того, как он, «спускаясь со ступенек Санта-Кроче… испытал яростное сердцебиение», после того, как в нем «жизненные силы… иссякли» и он «шел в постоянном страхе упасть». Мы ведь хотим не только оставаться собой до конца, но и умереть в соответствии со своими ожиданиями? Стендалю выпало такое счастье. Пережив первый удар, он написал: «Полагаю, нет ничего смехотворного в том, чтобы упасть замертво на улице, коль скоро делается это ненамеренно». 22 марта 1842 года, отужинав в министерстве иностранных дел, несмехотворный конец, которого он искал, настиг его на мостовой рю Нёв-де-Капуцин. На его могиле написали «Арриго Бейль, миланец» — упрек французам, его не читавшим, и дань городу, где даже запах конского навоза трогал его чуть не до слез. И как человек, неплохо подготовившийся к

смерти (он написал двадцать одно завещание), Стендаль сочинил и собственную эпитафию: *Scrisse. Amo. Visse.* Писал. Любил. Жил.

В нескольких шагах лежат братья Гонкур. «Два имени, под каждым даты жизни, они думали, этого будет достаточно. *Hé! Hé!*» Но могила их поразила меня совсем не этим. Во-первых, это семейное захоронение: двое детей погребены рядом со своими родителями. Здесь они прежде всего сыновья, а потом уже писатели; а семейное захоронение, возможно, как и семейная трапеза, — это «светское мероприятие», на чем так настаивала моя мать. Мероприятие, на котором действуют определенные правила, например: не хвастаться. Поэтому о славе братьев свидетельствуют лишь их медные барельефы в верхней части надгробия, где Эдмон и Жюль смотрят друг на друга после смерти, как и при жизни, в которой они были неразлучны.

В 2004 году у Гонкуров появился сосед. Старую могилу, срок аренды которой уже вышел, сменили новой с блестящим, черного мрамора надгробием, на котором возвышается скульптурный портрет — бюст ее обитателя. Новосела зовут Маргарет Келли-Лейбовиц, профессиональный псевдоним — мисс Блюбелл; это англичанка, которая обучила не одно поколение девиц в перьях, атлетического сложения и метр восемьдесят ростом крутить и вскидывать ножки перед похотливыми моноклями. На случай, если вы усомнитесь в ее значении, все четыре награды, которых она удостоилась — включая орден Почетного легиона, — высечены в черном мраморе, пусть и рукой дилетанта, зато в натуральную величину. Крайне разборчивые, глубоко консервативные, ненавидящие богему эстеты — рядом с парвеню, руководившей танцевальной труппой кабаре Лидо (и, очевидно, не считавшей, что ее имени будет достаточно)? Это, наверно, снижает планку здешних мест: *Hé! Hé!* Возможно, но не стоит так уж с ходу признавать иронию смерти (или посмеиваться вслед за Ренаром). Гонкуры в своем «Дневнике» обсуждают секс с откровенностью, способной шокировать даже в наши дни. Так что же может быть более уместно, чем посмертный менаж-а-труа с мисс Блюбелл, пусть и с вековой задержкой?

Когда хоронили Эдмона, на котором оборвался род Гонкуров, Золя произнес надгробную речь. Шесть лет спустя он, в свою очередь, упокоился здесь же, в могиле настолько пышной, насколько скромной была гонкуровская. Бедный мальчик из Экса, заставивший фамилию своего отца, итальянского эмигранта, звенеть по всей Европе, был похоронен под богатым, в стиле ар-нуво, завитком красновато-коричневого мрамора. Венчает его бюст писателя, который изображен таким свирепым, будто охраняет не только свой гроб и писательское наследие, но и все

кладбище. Однако слава Золя была слишком велика, чтобы оставить его в покое даже посмертно. Всего через шесть лет французское правительство выкопало его тело, чтобы перезахоронить в Пантеоне. И здесь нам уже сложно будет отказать смерти в иронии. Представьте себе Александрин, которая выжила в ту ночь, когда по вине забитой трубы камина они надышались угаром. Вдовство ее длилось двадцать три года. Шесть из них она приходила к мужу на зеленый, прелестный Монмартр; а следующие семнадцать ей пришлось таскаться в холодный гулкий Пантеон. Потом и Александрин умерла. Но пантеоны созданы для знаменитостей, а не для их вдов, поэтому ее похоронили — о чем она наверняка знала заранее — в освободившейся могиле. А потом, в свою очередь, к мадам Александрин присоединились ее дети, а потом и внуки; всех их затолкали в склеп, покинутый патриархом, который и был причиной его, склепа, великолепия.

Мы живем, мы умираем, нас помнят — стоило бы сказать «только не запомните меня правильно», — нас забывают. Для писателей процесс забвения не имеет четких границ. «Что писателю лучше — забвение до смерти или смерть до забвения?» «Забытый писатель» — понятие относительное, оно может означать: вышедший из моды, исчерпавший себя, шитый белыми нитками, отвергнутый, воспринимаемый потомками как слишком поверхностный — или, если уж на то пошло, слишком высокопарный, слишком *серьезный.* Вот забытый *по-настоящему* — это куда интереснее. Сперва вас перестают печатать, и вы перемещаетесь в закрома букинистов и специализированных сайтов. Потом, если повезет, наступает короткое возрождение, одна-две вещи переиздаются; затем очередной спад интереса, период, когда редкие аспиранты в поисках темы для диссертации устало листают ваши страницы и гадают, зачем было столько писать. В итоге издательства про вас забывают, академический интерес исчерпывается, общество изменяется, человечество делает небольшой шаг по пути эволюции, движущейся к своей лишенной ясного смысла цели, с вершины которой мы будем видеться как бактерии и амебы. Это неизбежно. И в какой-то момент — по логике это должно произойти — у писателя появляется последний читатель. Я не взываю к жалости; этот аспект жизни и смерти писателя нужно воспринимать как данность. В какой-то момент между сегодняшним днем и смертью планеты через шесть миллиардов лет у каждого писателя появится его или ее последний читатель. Аудитория Стендаля, писавшего для «немногих счастливых», что его понимали, выродится до других, мутировавших, возможно, менее

счастливых немногих, и в итоге до последнего счастливого — или заскучавшего — читателя. И для каждого из нас когда-нибудь оборвется последняя ниточка тех странных, невидимых и тем не менее глубоких и интимных отношений, которые связывают автора и читателя. В какой-то момент и мне достанется мой последний читатель. А потом этот читатель умрет. И хотя в великой читательской республике все равны, некоторые все же равнее других.

Мой последний читатель: есть соблазн пуститься с ним или с ней в сентиментальные нежности (если местоимения «он» и «она» по-прежнему будут употребимы в мире, где видами правит эволюция). На самом деле я как раз собирался выйти на авторский поклон с благодарностью последней паре глаз — если и глаза тоже не эволюционировали, — пробежавших эту книгу, эту страницу, эту строчку. Как вдруг здравый смысл остановил меня: твой последний читатель — это по определению тот, кто никому не посоветует твою книгу. Ах ты сволочь! Не угодил, значит? Тебе, значит, больше по вкусу эта банальщина, что пользуется такой популярностью в ваш поверхностный век (и/или тяжеловесный бред, из-за которого я кажусь тебе банальным)? Я уже собрался было оплакивать твой уход, но, слава богу, быстро передумал. Так значит, ты и впрямь никому не станешь рекомендовать мою книгу? Неужели дух твой настолько низок, а мысли настолько праздны, что ты уже не способен на здравое критическое суждение? Тогда ты меня не заслуживаешь. Съебись в туман и сдохни. Да-да, *ты.*

Я сам уже много лет как съебался в туман и сдох, хотя не могу пока сказать отчего или, как Стендаль, предсказать. У меня было предположение, что родители последним контрольным звонком предопределили мой конец; но нельзя всегда полагаться на родителей, тем более когда они уже умерли. Мэри Уэсли, к неудовольствию моего терапевта, рассчитывала на прославленный семейный талант к скоропостижной кончине — дохнуть на лету, как муха при исполнении Пятнадцатого квартета Шостаковича. Однако, когда время пришло, она обнаружила, что родственники пренебрегли ее желанием и не передали ей это наследственное умение или везенье. Вместо этого она умирала, и куда дольше, чем хотелось бы, от рака — впрочем, с достойным восхищения стоицизмом. Один из очевидцев сообщал, что «она никогда не жаловалась на неудобную кровать, слишком твердую пищу, иссохшее тело и боли, и только иногда от нее можно было услышать: “Сука”». Судя по этому комментарию, она оставалась собой до конца и, по крайней мере, могла еще чертыхаться, в отличие от моего разбитого параличом, безъязыкого учителя по

английскому, которому так и не удалось произнести обещанного «К черту!» в качестве последнего слова.

В наши дни, чтобы посетить базилику — или, как указано на билете, «монументальный комплекс» — Санта-Кроче, нужно заплатить пять евро. Вы входите не с западного фасада, как это делал Стендаль, а с северного, и перед вами мгновенно встает выбор направления и цели: налево те, кто хочет помолиться, направо — туристы, атеисты, эстеты, зеваки. В просторном и высоком нефе для молящихся по-прежнему расположены могильные плиты знаменитостей, так растрогавшие Стендаля. Позднее к ним присоединился сравнительно новый сосед: Россини, который в 1863 году просил Бога пустить его в рай. Композитор умер пять лет спустя в Париже и был похоронен на Пер-Лашез; но, как и в случае с Золя, гордое своим подданным государство выкопало его труп для Пантеона. А пустил ли Бог Россини в рай, возможно, зависит от того, прочел ли Он «Дневник» Гонкуров. «Старческие грешки»? Вот запись в «Дневнике» от 20 января 1876 года: «Вчера вечером в курительной комнате у принцессы Матильды разговор зашел о Россини. Мы говорили про его приапизм, про его вкус к извращенным практикам в том, что касается любви; а потом и о странных, невинных удовольствиях, к которым старый композитор тяготел в последние годы. Юные девушки раздевались перед ним по пояс, а он сладострастно шарил руками по их торсам, иногда давая им пососать кончик мизинца».

Стендаль написал первую биографию Россини в 1824 году. Через два года он опубликовал «Рим, Неаполь, Флоренция», где описал, как Анри, или Арриго, Бейль приехал во Флоренцию в 1811 году. Январским утром спустившись с Апеннин, он «увидел издали» великий купол Брунеллески, возвышающийся над городом; он вышел из дилижанса, чтобы войти в город пешком, как пилигрим; он стоял перед картинами в великом возбуждении, пока не упал в обморок. И мы могли бы поверить каждому его слову, если бы Стендаль не забыл сделать одну вещь: уничтожить дневник, который вел во время этого путешествия.

Стравинский, будучи уже стариком, писал: «Я задаюсь вопросом, правдивы ли воспоминания, зная, что они не могут быть правдивы, и так же зная, что люди живут воспоминаниями, а не правдой». Стендаль жил воспоминаниями в 1826 году, тогда как Бейль писал правду в 1811-м. Из дневника мы узнаем, что он действительно пересек Апеннины на дилижансе и спустился в город, но память пошла одной дорогой, а правда — другой. В 1811 году он не мог видеть купол Брунеллески издали по той

простой причине, что было темно. Он приехал во Флоренцию в пять утра, «изнемогающий от усталости, мокрый; по дороге меня растрясло, я с трудом удерживался на козлах почтовой кареты и вынужден был спать скособочившись». Неудивительно, что первым делом он отправился в гостиницу «Auberge d'Angleterre» и в кровать. Он приказал разбудить себя через два часа, но не для того, чтобы осматривать достопримечательности: он отправился на почтовую станцию, чтобы забронировать место в следующем дилижансе до Рима. Но в тот день все места были заняты, и на следующий тоже — только поэтому он и остался во Флоренции на три дня, обогатив историю эстетического воздействия искусства на человека. Еще одно несоответствие: в книге визит приходится на январь; в дневнике он датирован сентябрем.

И все же он пошел в Санта-Кроче: в этом память и правда сходятся. Но что он там видел? Работы Джотто, надо полагать. За ними все туда и ходят: смотреть фрески Джотто, которые, как напоминает нам *Firenze Spettacolo*, находятся в часовне Никколини. Но ни Бейль, ни Стендаль ни разу не упоминают Джотто и, коль уж на то пошло, вообще ни один из тех шедевров, к которым призывают нас современные путеводители: распятие Донателло, его же «Благовещенье», фрески Таддео Гадди, капеллу Пацци. Из чего мы можем сделать вывод, что за пару веков вкусы заметно изменились. Бейль упоминает часовню Никколини. Только вот Джотто в ней нет. Стоя перед алтарем, он мог бы — и должен был бы — направиться вправо, к часовням Барди и Перуцци. Вместо этого он пошел влево, к часовне Никколини, расположенной в дальнем северо-восточном углу трансепта. Висящие здесь четыре картины с изображением сивилл, приведшие Стендаля «в экстаз», принадлежат кисти Вольтеррано. У вас может возникнуть законный вопрос; возник он и у меня. (Ответ я уже нашел: родился в Вольтерре в 1611 году, умер во Флоренции в 1690-м, ученик Пьетро да Кортоны, пользовался покровительством Медичи, занимался отделкой дворца Питти.)

В воспоминаниях 1826 года часовню отпер монах, и Стендаль, сев на приступок молельной скамьи, откинул голову на ее кафедру, чтобы рассмотреть потолочные фрески. В правде 1811 года нет ни монаха, ни молельной скамьи; более того, и в 1811 году, и в 1826-м, и до, и после того сивиллы всегда были расположены высоко на стенах капеллы, но не на потолке. И действительно, в дневнике 1811 года, после восхваления творений Вольтеррано, читаем: «Потолок у той капеллы очень эффектный, но у меня не настолько хорошее зрение, чтобы судить о росписи потолков. Просто он показался мне очень эффектным».

Сегодня часовня Никколини не заперта, но место, знаменитое

тем, что искусство здесь начало заменять собой религию, по иронии судьбы оказалось в той самой отгороженной для молящихся части. Вместо монаха теперь служитель в форменном костюме; вместо складного стула понадобится бинокль. Я объяснил свою мирскую цель служителю; и, наверное, в Италии слова «я писатель» имеют чуть больший вес, чем в Британии. Во всяком случае, он вошел в мое положение, посоветовал мне запихнуть путеводитель в карман и не вытаскивать его, пока я буду «молиться», после чего расцепил шнур ограждения.

Пересекая зарезервированный уголок церкви, я старался выглядеть по возможности серьезным, несмотря на мой отпускной наряд. Однако во вторник в 2.30 пополудни ни в одном из этих священных закутков не было ни одного верующего, не то что монаха или священника. Четыре картины Вольтеррано, по-прежнему висящие так высоко, что приходится запрокидывать голову, недавно почистили, отчего они предстают еще более очевидным — насколько мастерским, настолько и стандартным — проявлением барокко. Но именно такими мне бы и хотелось их увидеть: чем банальнее картины, тем лучше история. И тем, конечно же, суровее скрытое предостережение нам с нашими современными вкусами. Дай только время, будто предостерегают сивиллы. Время, может, и не поменяет местами Вольтеррано и Джотто, но тебя-то уж точно выставит глупцом, модником и дилетантом. С тех пор как Бог снял с себя полномочия судьи, такими делами занимается время.

Кроме работ Вольтеррано было в Санта-Кроче еще одно полотно, взволновавшее Стендаля сверх всякой меры. Картина, на которой Христос сходит в чистилище (недавно отмененное Ватиканом), заставила его «трепетать два часа». Бейлю, работавшему тогда над историей итальянской живописи, сказали, что это Гуэрчино, которого он «искренне боготворил»; спустя два часа другой источник уже (безошибочно) приписывал картину Бронзино, «чье имя было мне неизвестно. Открытие это вызвало во мне глубокое раздражение». Однако касательно произведенного картиной эффекта никаких разночтений не наблюдается. «Я был растроган почти до слез, — написал он в своем дневнике. — Они и сейчас наворачиваются на глаза, пока я пишу эти строки. Ничего более прекрасного я не видел… Никогда еще не получал я такого удовольствия от живописи».

Столько удовольствия, что и в обморок можно упасть? И если не от Джотто (о котором речь и не шла, но которого ему впоследствии навязало извечное стремление выдать желаемое за действительное), то хотя бы от Вольтеррано и Бронзино совокупно? И тут перед нами встает итоговая проблема. Синдром

Стендаля, выставленный на всеобщее обозрение и запатентованный — пусть и не обретший названия — в 1826 году, в 1811-м не обнаруживается. Знаменитый эпизод на паперти Санта-Кроче — с иссяканием жизненных сил и бешеным сердцебиением — тогда, видимо, показался настолько незначительным, что даже не был зафиксирован в дневнике. Самое близкое к возникшему позднее описанию мы находим после строчек: «Никогда еще не получал я такого удовольствия от живописи». Далее Бейль пишет: «Я смертельно устал, ноги мои распухли, новые ботинки нещадно жали — такие ощущения и Господом Богом во всей Его славе не дали бы восхититься как следует, но перед картиной с чистилищем я забыл и о них. *Mon Dieu,* как же она прекрасна!»

Таким образом, все достоверные свидетельства синдрома Стендаля, по сути, тают у нас на глазах. Но дело не в том, что Стендаль преувеличивал, сочинял небылицы и мастерски имитировал воспоминания (а Бейль глаголил истину). История стала куда более интересной. Только теперь это история о повествовании и памяти. Повествование: правда истории, изложенной писателем, содержится в итоговой, а не в первоначальной версии. Память: нам следует верить, что Бейль писал одинаково искренне и через два часа после событий, и через пятнадцать лет. Обратите внимание, что если перед картиной Бронзино Бейль «был тронут почти до слез», то через два часа, когда он писал о сивиллах, слезы уже «стояли у него в глазах». Время не только привносит в повествование вариации, оно еще и повышает эмоциональный накал. И пусть дотошное изучение снижает тон истории про Санта-Кроче, даже в своей оригинальной, неоткорректированной версии она повествует нам об эстетическом наслаждении, превзошедшем религиозный восторг. Усталость и тесные ботинки отвлекли бы Бейля от славы Господней, если бы он пришел туда молиться; но сила искусства преодолела и жмущий носок, и натирающий задник.

В репертуаре моего дедушки, Берта Сколтока, было только две шутки. Первая относилась к их с бабушкой свадьбе, пришедшейся на 4 августа 1914 года, и таким образом повторялась (без особых изменений) в течение полувека: «В тот день, когда мы поженились, началась война… — тяжелая пауза, — и она не прекращается *до сих пор*!!!» Вторая история рассказывалась как можно дольше и была про парня, который пришел в кафе и попросил сосиску в тесте. Он откусил кусочек и пожаловался, что в тесте нет сосиски. «Вы еще до нее не докусали», — объяснял хозяин кафе. Парень куснул уже полным

ртом — та же история. «Так вы, значит, прокусали мимо нее», — следовал ответ, и дедушка повторял его еще несколько раз.

С тем, что у дедушки не было чувства юмора, мой брат согласен, но возражает, когда я добавляю, что он был еще и «скучный и слегка пугающий». Конечно, ведь дедушка любил своего первого внука и даже научил его затачивать стамеску. Правда, он не бил меня за то, что я повытаскивал его лук, но в доме всегда ощущалось его директорское присутствие, и я могу легко представить себе его недовольство. Например: они с бабушкой каждый год приезжали к нам на Рождество. Однажды в начале шестидесятых дедушка в поисках чтива подошел к книжной полке в моей спальне и, ничего не спрашивая, взял оттуда томик «Лолиты». Я до сих пор помню эту книгу в мягкой обложке, издательства «Корги», и вижу, как огрубевшие от работы в саду и в столярной мастерской руки моего деда методично заламывают корешок. Так же поступал и Алекс Бриллиант — хотя Алекс заламывал корешок так, будто это означало его интеллектуальное взаимодействие с содержанием книги; тогда как дед будто хотел продемонстрировать свое неуважение и к роману, и к его автору. На каждой странице, от «огонь моих чресел» и до «в том возрасте, когда мальчишки / Играют пушечкой своей», я ждал, когда он с отвращением отбросит книгу. Но к моему удивлению, этого он так и не сделал. Уж если начал, надо закончить: английское пуританство заставило его упрямо продираться сквозь эту русскую сказку об американском разврате. С беспокойством наблюдая за ним, я чувствовал себя так, будто сам написал этот роман, и теперь стоял, как разоблаченный охотник за нимфетками. Что он там мог себе подумать? В итоге он вручил мне книжку с корешком, испещренным белыми рубцами, и произнес: «Может, это и *хорошая литература*, но мне она показалась ПОХАБНОЙ».

Тогда я ухмыльнулся про себя, как сделал бы каждый собирающийся поступать в Оксфорд эстет. Но я недооценивал своего деда. Ведь он совершенно точно определил суть моего тогдашнего увлечения «Лолитой», как полным жизненной силы сочетанием литературы и непристойности. (Такая была нехватка сведений о сексе — не говоря уже об опыте, — что ситуация лучше всего описывалась перефразированным высказыванием Ренара: «Перед лицом секса мы особенно часто обращаемся к книгам».) Еще я оказался не прав по отношению к деду, указав ранее, что он ничего не оставил мне по завещанию. Это не так. Брат поправил меня: «Когда дедушка умер, мне он оставил стол “под чиппендейл” (который мне никогда не нравился), а тебе завещал свои золотые карманные часы (о которых я всегда

мечтал)».

Старая газетная вырезка в моем архивном ящичке подтверждает, что стол был подарен деду в честь выхода на пенсию в 1949 году, когда шестидесятилетний Берт Сколток покинул среднюю школу Мэдели-модерн, проработав тридцать шесть лет старшим учителем в различных частях Шропшира. Также он получил кресло — весьма возможно то самое, паркер-нолловское, вечное перо, зажигалку и набор золотых запонок для манжет. Девочки из научного кружка испекли ему двухэтажный торт, а Эрик Фрост «от лица мальчиков столярного кружка» преподнес «ореховую ступку и пестик». Этот предмет я помню, поскольку в бунгало, где жили бабушка с дедушкой, он всегда присутствовал, но никогда не использовался. Когда ступка в итоге перешла ко мне, я понял почему: это была до смешного бесполезная вещь — от одного удара пестика ореховая скорлупа шрапнелью разлеталась по комнате, а орех сминался в пыль. Я всегда думал, что дед сам ее сделал, поскольку почти каждый деревянный предмет в его доме и саду был спилен, ошкурен, выдолблен и скреплен штифтами собственноручно им. Он относился к дереву с большим уважением и дошел в этом до логического конца. Известие о том, что сработанные из первоклассного дуба и вяза гробы через день-другой обращаются в прах, потрясло его настолько, что свой гроб он распорядился сделать из еловых досок.

Что касается золотых карманных часов, то они лежат в верхнем ящике моего стола уже не одно десятилетие. К ним прилагается цепочка, чтобы носить их в кармане жилета, и кожаный ремешок, если вы предпочитаете, чтобы часы свисали из петлицы лацкана в передний карман пиджака. Я открываю заднюю крышку: «В дар мистеру Б. Сколтоку от коллектива дирекции, учителей, учащихся и друзей в честь окончания его 18-летней службы старшим учителем в Англиканской школе Бейстон-Хилла, 30 июня 1931 года». Я и понятия не имел, что мой брат мечтал о них, поэтому сказал ему, что теперь, по прошествии сорока с лишним лет, его греховным страданиям пришел конец — отныне часы принадлежат ему. «Если ты о карманных часах, — ответил он, — полагаю, деду хотелось бы, чтоб они остались у тебя». Деду *хотелось бы*? Да он просто дразнит меня своими гипотетическими желаниями мертвецов. После чего он добавляет: «А если точнее, я сам хочу, чтоб они у тебя остались». Конечно, мы можем только то, чего хотим *сами.*

Я обратился к брату по вопросу «дедушка и угрызения совести». У него нашлось два объяснения, «первое, пожалуй, слишком тривиальное»: невыносимый стыд от того, что он

выпорол внука, который повыдергал ему весь лук. Второе, более весомое предположение я приведу целиком: «Когда он рассказывал мне истории [о Первой мировой войне], они всегда заканчивались на том, что корабль отплывал во Францию, а потом возобновлялись уже в госпитале в Англии. Он никогда ни слова не рассказал про войну. Полагаю, он был на передовой. Он не был отмечен ни одной боевой наградой, в этом я уверен, ранений у него тоже не было (даже легких). Почему его признали негодным к строевой? Военный невроз? В любом случае, это нечто весьма далекое от геройства. Может, он подвел своих боевых товарищей? Когда-то я решил, что постараюсь выяснить, что с ним на самом деле произошло на войне, — наверняка сохранились войсковые архивы и т. д., и т. п., но у меня, конечно, просто руки не дошли».

В моем архивном ящичке хранятся: дедушкино свидетельство о рождении, его свидетельство о браке и фотоальбом — та самая книжка в красном матерчатом переплете с надписью «Сцены большие и малые». Вот дед верхом на мотоцикле в 1912 году, а сзади пристроилась бабушка; вот на следующий год он уже шаловливо преклонил ей голову на грудь и прихватил за коленку. Вот он в день свадьбы обнимает невесту за плечи, поверх белого жилета болтается курительная трубка, а Европа готовится разорвать себя на части; вот он в свой медовый месяц (снимок сделан в ателье, поэтому выцвел он меньше других); а вот с «Бэбс» — как звалась моя мать, прежде чем стала Кэтлин Мейбл, — рожденной через десять месяцев после свадьбы. Есть фотографии деда на побывке, на первой у него две лычки — Престатин, август 1916-го, на следующей — уже три. К этому времени сержант Сколток находится в госпитале Грата-Куиз недалеко от Борнмута. На этой фотографии он и прочие пациенты смотрятся чрезвычайно бодро — нарядные мужчины позируют в ожидании концерта. А вот мой дед в роли негра, сперва с неким Декером (медсестричка-травести), а потом с Фулвудом (Пьеро). А вот снова то самое фото — портрет женщины, на котором до сих пор сохранилась карандашная дата «сент. 1915», но имя (или место) стерто; а лицо так исцарапано да истыкано, что остались только губы и песочного цвета волосы. Такое стремление изгладить память о ней делает из нее фигуру даже более интригующую, чем «Сестра Глин» или даже «Сержант П. Хайд, погиб в бою в дек. 1915». Такого рода изглаживание кажется мне даже более удачным символом смерти, чем вездесущий череп. До костной сути добираешься, только погнив какое-то время; а когда это происходит, один череп не многим отличается от другого. В качестве долгосрочного символа подойдет и череп, но для самого

умирания попробуйте такую вот фотографию, изорванную, исцарапанную: когда глаз лишают света, а со щек сдирают жизни цвет, это производит впечатление одновременно и очень личное, и совершенно деструктивное.

Формальному исследованию армейской службы моего деда препятствовало то, что я не знал ни номера его части, ни даты призыва. Первый попавшийся мне Сколток оказался коробейником, признанным негодным к военной службе с простым диагнозом: «Идиот» (только идиота со справкой нам в семье и не хватало). Но потом обнаружился рядовой Берт Сколток, 17-й батальон Ланкаширского фузилерского полка, записавшийся добровольцем 20 ноября 1915 года и два месяца спустя отбывший во Францию в составе 104-й пехотной бригады, 35-й дивизии.

Мы с братом удивились, что дед пошел на войну так поздно. Я всегда представлял себе, как, только что обрюхатив бабушку, он уже обряжается в хаки. Но это, наверное, пример наложения воспоминаний из жизни наших родителей: отец поступил на военную службу и был отослан в Индию в 1942 году, оставив мать, как потом оказалось, беременной моим братом. Почему дед сразу не пошел добровольцем? Потому что у него должна была родиться дочь? Судя по надписи на часах, в то время он был старшим учителем в англиканской школе; может, на таких, как он, распространялась бронь? Или такой категории вообще еще не существовало, поскольку всеобщий призыв был объявлен только в январе 1916-го? Может, он видел, что все к этому идет, и решил завербоваться добровольцем? Если бабушка на тот момент уже была социалисткой, он, возможно, почувствовал необходимость продемонстрировать свой патриотизм, невзирая на политически неблагонадежную жену. Получил ли он белое перо от одной из тех элегантных уличных рекрутерш? Или добровольцем пошел его близкий друг? А может, он чувствовал себя в западне, как это бывает с недавно женившимися мужчинами? Или все это бредовые домыслы? Возможно, увязывать дедушкино утверждение про угрызения совести с Первой мировой войной не совсем верно, поскольку, говоря об этом, он не упомянул ничего конкретного. Однажды я спросил у мамы, почему дед никогда не рассказывал о войне. Она ответила: «Наверное, эта тема казалась ему не очень интересной».

Личное дело деда (как и многих других) сгорело при немецких бомбежках в 1940-м. В бригадном дневнике значится, что к концу января 1916 года они достигли Западного фронта; шли проливные дожди. 11 февраля фельдмаршал Китченер дал смотр их подразделению. В июле их наконец послали в бой

(потери с 19-го по 27-е: офицеры — 8 раненых, рядовой и сержантский состав — 34 убитых, 172 раненых). Следующий месяц бригада провела в Во, Монтань, а линия фронта проходила по Монтобану; таким образом, дед должен был побывать и в «Дублинской траншее», где бригаду из-за неточной наводки обстреляла собственная артиллерия, а потом и в «Шимпанзейской», на южной оконечности Энгл-Вуда. В сентябре и октябре они снова были на линии фронта (4 сент, — 31 окт.; потери в рядовом и сержантском составе: 1 убит, 14 ранено — 3 несчастных случая, 3 на посту, 4 от винтовочной гранаты, 2 при артобсфеле, 1 от авиационной торпеды, 1 от пули). Командиром бригады числится некий «бригадный капитан Б. Л. Монтгомери (позднее Аламейнский)».

Монтгомери Аламейнский! Помню, как мы смотрели по ящику — «маленький жуткий Монти выделывается по черно-белому», как выражался мой брат, — его рассказы про то, как он выиграл Вторую мировую. Помню, как мы с братом передразнивали его картавость. «И тогда я нанес Воммелю удал сплава» — таков был итог Североафриканской кампании в нашем изложении. Дедушка никогда не рассказывал нам, что служил под командованием Монти, — не говорил даже собственной дочери, которая, конечно же, не уставала бы напоминать нам об этом факте семейной истории при всяком удобном случае.

Запись в бригадном дневнике от 17 ноября 1916 года сообщает: «Командующий армией в одном пехотном батальоне обнаружил очень близорукого бойца, а в другом — глухого. На передовой они могут представлять опасность». (Вот это «что бы вы предпочли» на целый роман: что бы вы предпочли — быть слепым или глухим на полях Первой мировой?) Есть еще одно замечание от командования: «Судя по количеству заседаний военно-полевого суда, проведенных в дивизии начиная с 1 декабря 1916 года, дисциплина в дивизии не налажена надлежащим образом». За этот период в 17-м батальоне Ланкаширского фузилерского полка дезертировал 1, обнаружены спящими на посту 6, «случайных» ранений (предположительно самострелов) 2.

Свидетельств того, что в этой статистике поучаствовал и мой дед, нет — и быть не может. Он был обыкновенный солдат, который пошел добровольцем, был переправлен во Францию в середине войны и дослужился от рядового до сержанта. Комиссован он был с диагнозом (как я всегда и предполагал) «траншейная стопа» — «болезненное состояние, вызванное длительным пребыванием в воде или грязи, характеризуется отеками, волдырями и некоторым омертвением тканей». Точная

дата его возвращения в Англию неизвестна, но 13 ноября 1917 года он был уволен вместе с двадцатью своими однополчанами как «физически непригодный к дальнейшей строевой службе». Ему было двадцать восемь лет, и странным образом — полагаю, по ошибке — при увольнении его записали рядовым. И вопреки тому, что помнит мой брат, награды у деда были, пусть и самого невысокого достоинства: Британская военная медаль, выдававшаяся просто за присутствие на театре военных действий, и Медаль победы, которую получил весь личный состав, задействованный в боевых операциях. На реверсе последней надпись: «Великая Война за Цивилизацию 1914–1919».

На этом сведения и воспоминания исчерпываются. Эти обрывки — все, что удалось узнать, далее — неизвестность. Но поскольку мною двигала вовсе не благодарность прародителям, я не разочарован. Службу своего деда, как и его секреты, и его молчание, я привожу в качестве примера. Во-первых, как пример заблуждения: обнаружилось, что «Берт Сколток, названный так при крещении, носивший это имя всю жизнь и под этим именем кремированный», на самом деле начал жизнь — в апреле 1889 года, о чем в загсе Дрифилда, графство Йорк, имеется соответствующая запись, — как Берти; и ко времени переписи населения 1901 года по-прежнему звался Берти. И во-вторых, как пример того, сколько сведений можно отыскать и где им настает предел. Поскольку там, где наступил этот предел, и начинает свою работу писатель. Нам (под нами я понимаю себя) нужно совсем чуть-чуть, много не надо; много — это даже лишнее. У нас все начинается с умолчания, с тайны, с пробела, с несоответствия. Если б я выяснил, что дед был одним из тех шестерых, обнаруженных спящими на посту, что, пока он дремал, враг подкрался и жестоко расправился с его однополчанами и что это и было причиной угрызений, мучивших его до самой смерти (и если бы все это выяснилось из нотариально заверенного рукописного свидетельства — обратите внимание на нетвердую подпись, это угрызения совести, — обнаруженного в давно не открывавшемся личном банковском сейфе), тогда я был бы, наверное, удовлетворен как внук, но как писатель скорее бы расстроился. Это испортило бы мне всю историю, ну или потенциальную историю. Я знаю писателя, который любит, подолгу засиживаясь на парковых скамейках, подслушивать чужие разговоры. Но как только в разговоре начинает проявляться больше того, что требуется для его профессиональных целей, он встает и идет дальше. Нет, пробелы, тайны — это наше, это мы (он и я) разгадаем сами.

Поэтому в «Сценах больших и малых» мой взгляд привлекает

не двоюродный дедушка Перси в Блэкпуле, не сестра Глин и даже не сержант П. Хайд, погибший в бою в дек. 1915, а губы и волосы и белая блузка «сент. 1915» и рядом стертые слова. За что была изуродована эта фотография, а края жестоко изорваны, как будто ногтями? И почему тогда ее не вынули из альбома или хотя бы не заслонили другой фотографией? Приведем несколько возможных объяснений: 1. Это была бабушкина фотография, которая нравилась дедушке, но впоследствии сильно разонравилась бабушке. Тогда непонятно, почему карточку изуродовали с такой жестокостью, процарапали насквозь. Если только (1б) это не произошло, когда бабушка уже выжила из ума и просто не узнала себя на фотографии. Кто эта женщина, кто эта незваная гостья, эта соблазнительница? Ну и расцарапала самой себе лицо. Но если так, почему на этой фотографии, а не какой-нибудь другой? И зачем тогда стирать то, что было написано рядом с датой? 2. Если это не бабушка, то она ли это сделала? И если она, то примерно когда? Вскоре после того, как фотография была помещена в альбом в рамках акта супружеского неповиновения? Значительно позже, но пока был жив дедушка? Или запоздалая месть настигла фотографию уже после его смерти? 3. Может, чисто гипотетически, это «очень милая девушка по имени Мейбл», в честь которой назвали мою мать? Что бабушка однажды сказала моей маме? Что в мире не было бы плохих мужчин, если бы не плохие женщины. 4. Дедушка сам истыкал и расцарапал фотографию. Это кажется маловероятным по следующим причинам: а) это был его альбом; б) у него был большой опыт ручного труда, он знал кожевенное и переплетное дело и, конечно же, сделал бы все по уму; и в) нанесение тяжких увечий фотографиям это, я подозреваю, по большей части женское преступление. 5. В любом случае, давайте рассмотрим даты. Берт (каковым он стал к 1914 году) и Нелл поженились в день, когда началась война; их дочь была зачата в течение месяца и родилась в июне 1915 года. Загадочная фотография датируется сентябрем 1915-го. В ноябре 1915-го дедушка ушел добровольцем на фронт, хотя до призыва было еще два месяца. Может, отсюда и угрызения? Мама моя, конечно же, была единственным ребенком в семье.

Берти, который сменил имя на Берт; поздний доброволец; сержант, уволенный в запас рядовым; фотография без лица; возможная причина для угрызений совести. Мы работаем в зазорах неизвестного, на территории противоречий и умалчиваний, стараясь убедить вас в том, что вроде бы известно, разрешить — или выставить в нужном свете — противоречия и сделать молчание красноречивым.

Дед пишет: «Пятница. Работал в саду. Сажал картошку». Бабушка опровергает: «Чушь. Весь день шел дождь. В саду мокро — работать невозможно». Он качал головой, читая в «Дейли экспресс»: «Красная угроза распространяется по миру»; она цокала языком, когда «Дейли уоркер» сообщал, что «американские империалисты и разжигатели войны организовывают диверсии против стран народной демократии». Все мы — и ее внук (я), и читатель (вы), и даже мой последний читатель (да-да, ты, подонок) — знаем, что правда где-то посредине. Но писателя (это снова я) более сущности самой правды интересуют характер людей, в эту правду верующих, то, каким образом поддерживают они свои убеждения, а вдобавок фактура, заполняющая пространство между конкурирующими видениями мира.

При сочинении художественной прозы полная свобода сочетается с железным контролем, игра воображения уравновешивается точными наблюдениями, и вымысел нужен, чтобы донести правду, а правда, чтобы лукавить. Процесс этот одновременно центростремительный и центробежный. Автор спешит рассказать все истории сразу во всех их крайностях, противоречиях и неразрешимостях — и в то же время хочет поведать единственную истинную историю, ту, что сплавляет, дистиллирует и разрешает все прочие истории. Писатель одновременно и прожженный циник, и лирический поэт, он черпает из Витгенштейна с его суровым постулатом — говори только о том, о чем действительно знаешь, и из Стендаля с его игривым бесстыдством.

Мальчишка плюхается на прохудившийся пуф, и сквозь порванные швы летят обрывки любовных писем его родителей. Но никогда ему не удастся сложить воедино картину их вызывающей трепет и полной тайн или тривиальной и ничем не примечательной любви («Все говорят, что это так банально. Но я-то никакой банальности не чувствую»). Спустя полвека мальчишка, который скоро уже станет стариком и который всю свою взрослую жизнь занимался историями, их значением и выдумыванием, решил, что это вполне удачная метафора жизни: энергичное действие, обрывки сведений, неспособность или нежелание сложить воедино историю, из которой нам дано знать только отдельные части. И остаются только клочки голубой бумаги, открытки со сведенными марками — а значит, и штампами, и звук швейцарского ботала, что так нелепо дзинькает по дороге в мусорный контейнер.

Я не помню себя тем маленьким мальчиком, которому брат

завязывал глаза и толкал в стену. И без психотерапевтического вмешательства, к которому я отношусь с подозрением, мне не удастся разгадать причину, по которой я этого не помню, — будь то намеренное подавление (травма! страх! боязнь брата! любовь к брату! и то и другое!) или ординарность самого события. Моя старшая племянница К. впервые рассказала мне эту историю, когда мы с ней ухаживали за моей умирающей матерью. Она сказала, что им с сестрой преподносили ее как смешную побасенку, когда они были маленькими. Насколько она помнит, в заключение говорилось, что «вести себя так не очень-то хорошо», а значит, «возможно, он [ее папа, мой брат] приводил эту историю в качестве своего рода поучительной». Если так, то какая из этого мораль? Относись к младшей сестре лучше, чем я к брату? Знай, что жизнь — это примерно когда тебя толкают в стену с завязанными глазами?

Я обратился к брату за его версией. «Историю с трехколесным велосипедом, — вспомнил он, — и вариации на ее тему я рассказывал К. и К., чтобы их рассмешить — в чем, боюсь, и преуспел. (Не помню, чтоб я вообще рассказывал им что-либо с моралью…)». Вот каково это, когда папа у тебя — философ. «В моих воспоминаниях в игру эту мы играли на заднем дворе, когда жили в Актоне. На лужайке выставлялась полоса препятствий из чурбанов, жестянок, кирпичей. Задача состояла в том, чтобы пройти ее на трехколесном велосипеде без серьезных увечий. Один из нас рулил, другой толкал. (Я думаю, что у трехколесника просто потерялась цепь; но не исключаю, что необходимость толкать позволяла получать от игры и садистские удовольствия.) Тому, кто рулил, завязывали глаза. Я почти уверен, что мы менялись ролями; но подозреваю, что я толкал тебя сильнее, чем ты меня. Не помню ни одного серьезного инцидента (или чтоб кого-то толкнули в стену, это было бы совсем не просто, с учетом планировки сада). Не помню, чтоб ты чего-то боялся. Мне кажется, мы воспринимали все это как такое веселое озорство».

Первоначальная интерпретация этой игры, приведенная моей племянницей, — брат завязывает мне глаза и толкает в стену, — может быть аберрацией детской памяти, свидетельствующей о том, чего К. могла бы испугаться сама; а может, это поздняя аббревиация или переосмысление истории в свете собственных отношений К. с отцом. Сам я так ничего и не вспомнил, что особенно удивительно, учитывая тщательность подготовки. Интересно, откуда в нашем малюсеньком пригородном садике мы с братом взяли все эти чурбаны, жестянки и кирпичи? И как нам удалось выстроить полосу препятствий, чтобы при этом нас не заметили родители и не запретили эту игру? Но племянница

отбрасывает мои сомнения: «Я уверена, что ваши родители никогда не рассказывали мне эту историю; на самом деле, по-моему, они о ней и не знали».

Я обращаюсь к ее младшей сестре. Она тоже помнит полосу препятствий, завязанные глаза и то, что эта игра случалась нередко. «Тебя на головокружительной скорости толкали по полосе препятствий, и в конце ты таранил садовую ограду. Все это преподносилось как Большое Веселье для вас обоих, усиливавшееся тем, что эта игра, конечно, не понравилась бы вашей маме; причем не понравилась бы, по-моему, не оттого, что ты мог ушибиться, а оттого, что вы не по назначению использовали садовые инструменты и запачкали вывешенное сушиться белье. Я не знаю, зачем нам рассказывали эту историю (и почему я ее запомнила). На самом деле это была единственная история про вас, да, пожалуй, вообще про вашу семью, кроме той, когда ваша бабушка натошнила целый рад баночек из-под йогурта. Полагаю, эта история должна была продемонстрировать нам, что дети могут делать все, что им вздумается, в особенности если это глупо и раздражает взрослых… Рассказывалась история в шутливом тоне, и мы, конечно же, должны были смеяться и хлопать в ладоши от того, как все это умилительно. Вряд ли мы когда-либо сомневались в ее подлинности».

Видите (снова) почему (отчасти) я стал писателем? Три противоречащих друг другу рассказа об одном и том же событии, один из которых принадлежит участнику, два других основаны на пересказе тридцатилетней давности (содержащем подробности, которые сам участник событий мог с тех пор уже и забыть); внезапное включение нового материала — «не по назначению использовали садовые инструменты», «запачкали белье»; прослеживающийся в версиях обеих племянниц (и отрицаемый братом) акцент на ритуальный финал игры — когда меня толкают в стену; отсутствие каких-либо воспоминаний об этом событии у второго участника, при том что он усердно перекатывал чурки и таскал кирпичи; отсутствие в версиях племянниц матч-реванша, когда велосипед толкал бы уже я; а самое главное — различия в нравственной оценке между намерениями брата, который рассказывал эту историю исключительно смеха ради, и тем, как ее восприняли его дочери — по-разному, но обе иначе. Вот вам пример ненадежности устной истории как таковой. А меня это натолкнуло на еще одно определение того, чем я занимаюсь: писатель — это тот, кто сам ничего не помнит, но по-своему манипулирует разными версиями забытых им событий.

В данном случае писателю нужно представить следующие сведения: кто придумал игру; как трехколесник лишился цепи;

как тот, кто толкал, объяснял тому, у кого были завязаны глаза, куда рулить; знала ли об этом мама; какие садовые инструменты использовались; как было испачкано белье; какие можно было испытывать при этом садистские и/или досексуальные удовольствия; и почему это была главная, практически единственная история, которую философ рассказывал о своем детстве. Кроме того, если б это был роман, охватывающий несколько поколений, необходимо решить, рассказывали эту историю услышавшие ее сестры своим детям или нет (и если рассказывали, то с какой целью, назидательной или развлекательной), — или история канула в небытие, или же изменилась в пересказах и сознании следующих поколений.

Для молодых людей (и особенно для молодых писателей) память и воображение — это две совершенно разные категории. В первом романе почти всегда можно различить непосредственно авторский опыт (обычно это незабываемый конфуз сексуального характера), некие воспоминания, переработанные с помощью воображения (возможно, это та глава, где главный герой извлекает некий жизненный урок, тогда как на самом деле никакого урока будущий писатель не извлек), и моменты, когда, к удивлению автора, воображение подхватывается неким потоком и отправляется в тот восхитительный парящий полет, который есть основа любой художественной литературы.

Такие разные степени правдивости очевидны молодому писателю, а их сочетание — вопрос его личных опасений. А вот автору более зрелому память и воображение представляются фактурами куда менее разделимыми. И не потому, что воображаемый мир куда глубже проникает в жизнь писателя, чем он или она готовы признать (ошибка, часто допускаемая теми, кто анатомирует художественные произведения), а совсем наоборот: сама память начинает казаться чем-то воображаемым. Мой брат чаще не доверяет воспоминаниям. Я доверяю, но скорее как производным воображения, содержащим больше воображаемой, нежели натуралистичной правды. Форд Мэдокс Форд мог быть и невероятным лжецом, и настоящим правдорубом в одно и то же время и в одном и том же предложении.

Шитри-ле-Мин расположен милях в двадцати от Везеле. Выцветший синий указатель предлагает свернуть с главной дороги направо, к *Maison de Jules Renard*[53], в котором мальчик вырос в условиях безмолвной войны между родителями, а годы спустя уже мужчиной взломал дверь в спальню, где его отец покончил с жизнью. Второй жестяной указатель и еще один поворот направо ведет к *Monument de Jules Renard*[54], возведение

которого он шутливо возложил на свою сестру за несколько месяцев до кончины: «Мы тут подумали утром, кто займется установкой моего бюста на маленькой площади в Шитри. И сразу решили, что в этом можем положиться на тебя…» «Маленькая площадь» — усаженный платанами треугольник перед церковью — неизбежно стала зваться площадью Жюля Ренара. Бронзовый бюст писателя поддерживает каменная колонна, в основании которой сидит задумчивый Рыжик, выглядит он печально и старше своих лет. Каменное древо вьется по другой стороне колонны и в районе его плеч раздается пышной листвой: так природа окружает и защищает писателя и в жизни, и в смерти. Это красивая работа, и, когда в 1913 году памятник открывал Андре Ренар — аптекарь, бывший депутат-социалист и дальний родственник, — колонна с бюстом, наверное, казалась единственным монументом, который когда-либо понадобится этой неприметной деревушке. Он идеально подходит площади по размеру и так оттеняет находящийся всего в нескольких метрах памятник павшим в Первой мировой войне, что тот словно оправдывается, зачем его здесь поставили, а выбитые на нем имена отчего-то кажутся менее значимыми и чтимыми в Шитри, нежели имя его страдавшего артериосклерозом хроникера.

В этой затерянной деревушке нет ни магазина, ни кафе, ни замызганной заправки; привести сюда посторонних может только Жюль Ренар. Где-то неподалеку должен быть колодец, с тех пор, без сомнения, давно заброшенный, который примерно столетие тому назад выбрала для себя мадам Ренар. На здании напротив церкви развевается триколор, обозначая собой мэрию, где Франсуа Ренар, а потом и его сын исполняли свои гражданские обязанности и где Жюля поцеловала в губы невеста, которую он незадолго до этого впервые увидел прямо на свадьбе («Это стоило мне 20 франков»). Выложенная бетонными плитами дорожка, пролегающая между *mairie* и *eglise,* ведет из деревни к кладбищу, по-прежнему лежащему в чистом поле.

Стоит июльская каникулярная жара, и плоское, слегка под откос, кладбище открыто и пыльно, будто плац. На воротах висит список имен с номерами участков. Не сообразив, что это участки, срок аренды которых подходит к концу, я сперва иду на могилу не того Ренара, расположенную не на том участке. Единственная (живая) душа на кладбище — это женщина с лейкой, которая медленно продвигается меж могил, за которыми она ухаживает. Я спрашиваю, как мне найти писателя. «Он там, левее, рядом с колонкой», — отвечает она.

Самый знаменитый обитатель деревни действительно оказывается задвинут в самый угол кладбища. Я вспоминаю, что

отец Ренара был первым, похороненным здесь без религиозного обряда. Может, поэтому семейная могила кажется расположенной в самом дальнем конце, рядом с колонкой (если колонка тогда уже была). Это квадратный участок, примостившийся к кирпичной стене и огороженный низкой железной решеткой, выкрашенной зеленой краской; узкая калитка выделяется от частого перекрашивания, и отворить ее удается, лишь приложив определенное усилие. Прямо за ней расположены две каменные кадки. Невысокая плита в дальнем углу участка увенчана большой каменной книгой, на раскрытых страницах которой написаны имена лежащих под ней людей.

И все они здесь, во всяком случае — все шестеро. Отец, который не разговаривал со своей женой тридцать из сорока лет замужества, который рассмеялся предположению, что может застрелиться из пистолета, и вместо этого использовал дробовик. Брат, который своим смертельным врагом считал центральное отопление в собственной конторе, который лежал на кушетке с парижским телефонным справочником под головой и от чьей кончины Жюль разозлился «на смерть и ее дебильные выходки». Мать, которая наконец умолкла, когда ее словоохотливую жизнь прервала «непостижимая» смерть. Писатель, который всех их использовал. Жена, которая, овдовев, сожгла треть его «Дневника». Дочь, которая так и не вышла замуж и была похоронена здесь под своим домашним именем *Baie.* Тогда в последний раз отверзли глубокую яму, на краю которой Жюль в день погребения своего брата наблюдал корчи жирного червя.

Смотря на склеп, в который их запихнули всех скопом — только сестра писателя Амели и его сын Фантек избегли этой участи, — и вспоминая историю их раздоров, ненависти и молчания, я думаю, что Гонкуры могли бы вполне обоснованно ответить своему младшему коллеге его же издевательским *«Hé! Hé!»:* и за компанию, в которой он оказался, и за позорное клише раскрытой книги, венчающей надгробье, и за вышедшие из моды кадки. Там же, где покоится Ренар, выбита надпись. Начинается она вполне предсказуемо: *«Homme de lettres»,* после чего можно было бы ожидать повторения отцовского *«Maire de Chitry».* Но вместо этого вторым титулом, которого удостоился писатель, указано членство в *«Académie Goncourt»*[55]. Похоже на вспышку мести за ту дневниковую запись: «…они решили, что этого достаточно».

Я снова смотрю на каменные кадки. Одна почти пуста, в другой — чахлая ель, пожелтевшие иголки которой как будто издеваются над самой идеей неувядающей памяти. Эту могилу посещают не чаще, чем склеп Гонкуров, однако близость к

колонке должна привлекать сюда некоторый объем транзитного трафика. В каменной книге есть еще место для нескольких записей, поэтому я возвращаюсь к женщине с лейкой и спрашиваю, не осталось ли больше Ренаров в деревне или по соседству. Она таких не знает. Я замечаю, что в склепе никого не хоронили после 1945 года. «Ах, я тогда была в Париже», — слегка невпопад отвечает она.

Не важно, что стоит у тебя на могиле. В иерархии мертвецов значение имеет только количество посетителей. Что может быть грустнее могилы, на которую никто не приходит? На первую годовщину смерти Мориса в церкви Шитри по нему служили мессу, на которую пришли только три местные старухи; Жюль с женой отнесли на его могилу покрытый глазурью керамический венок. Он оставил запись в своем «Дневнике»: «Мы дарим мертвецам металлические цветы, те, что не увядают». И далее: «Лучше не навещать могилу вовсе, чем походить какое-то время, а потом перестать». И здесь мы с территории «Чего бы они хотели» перемещаемся в пространство «Как бы они отреагировали, если б знали?». Что станет с моим братом и его садовой могилой, когда пасущиеся ламы и его вдова умрут, а дом будет продан? Кому нужен разлагающийся специалист по Аристотелю, медленно превращающийся в перегной?

Не навещать покойников жестоко, но есть вещи и похуже. Вы можете лежать на оплаченном заранее *concession perpetuelle*[56], но если никто не приходит вас навещать, то некому будет и нанять адвоката, чтобы защитить вас, когда городские власти решат, что «навечно» — это не навсегда или не обязательно означает именно «навечно». (Так место гонкуровского соседа заняла «мисс Блюбелл».) И тогда даже здесь вас попросят уступить дорогу другим, окончательно отказаться от какого-либо места на этой земле и перестать возглашать: «Я тоже здесь был».

Вот вам еще одна логическая неизбежность. Как у каждого писателя будет последний читатель, так у каждого мертвеца — последний посетитель. Машинист экскаватора, который будет выкапывать ваши останки, когда кладбище продадут под загородную застройку, не в счет. Я имею в виду дальнего потомка; а в моем случае благодарного зануду (или, скорее, очаровательного интеллектуала) аспиранта — по-прежнему любящего книги, хотя чтение уже давно сменили более продвинутые способы передачи сюжета, мыслей, эмоций, — который развил в себе странную и редкую (или, скорее, совершенно восхитительную) привязанность к давно позабытым писателям Печатной Эры. Но последний посетитель могилы — это совсем не то что последний читатель, которого я послал куда

подальше. Посещение могилы — это не игра на вылет; и вы не станете обмениваться координатами могил, как обмениваетесь марками. Поэтому я заранее поблагодарю своего аспиранта за тот путь, который он проделал, и не стану спрашивать, что он или она на самом деле думает о моих книгах, или книге, или об угодившем в антологию абзаце, или об этом предложении. Возможно, как Ренар, когда-то решивший навестить Гонкуров на Монмартре, мой последний посетитель соберется прогуляться по кладбищу, получив от врачей сигнал о скорой смерти; в таком случае мои соболезнования.

Если бы мне самому поставили такой диагноз, едва ли я бросился бы навещать усопших. Я уже набродился по кладбищам, впереди у меня еще целая вечность (или во всяком случае — до тех пор, пока «навечно» не утратит своего смысла) в компании мертвецов. Я предпочту провести время в компании живых и слушать музыку, а не читать. Кроме того, в последние дни я должен уяснить для себя целый ряд вещей. Например, пахну ли я рыбой. Овладевает ли мной ужас. Раздваивается ли сознание — и способен ли я отследить этот процесс. Будет ли мой терапевт сопровождать меня в этом последнем путешествии; и буду ли я расположен к прощаниям, воспоминаниям и похоронным приготовлениям. Подступят ли угрызения совести и удастся ли их рассеять. Соблазнюсь… обманусь ли я идеей, что человеческая жизнь — это все-таки повествование, приносящее удовольствие, какое получаешь от приличного романа. Состоит ли мужество в том, чтобы не пугать окружающих, или это что-то значительно большее и, возможно, недостижимое. Разобрался ли я с этой смертью — или даже слишком подробно. И понадобится ли, с учетом свежих сведений, послесловие к этой книге — такое, где «после» акцентируется сильнее обычного.

Такой вот взгляд отсюда, из точки, которая, возможно, — если мне повезет и если я могу хоть сколько-нибудь судить по своим родителям — отмечает три четверти моего жизненного пути; впрочем, мы знаем, какая смерть непоседа и что любая железнодорожная станция, любой тротуар, жаркая контора или пешеходный переход могут стать той самой Самаррой. Наверное, преждевременно писать: прощай я. Не стоит торопиться выцарапывать надпись на камерной стене: я тоже здесь был. Но самое время написать слово, которого, как я сейчас понял, не найдешь ни в одной моей книге. Во всяком случае — здесь, на последней странице:

КОНЕЦ

Или так смотрится слишком зычно? Лучше, наверное, с прописной, но строчными:

Конец

Нет, так смотрится как-то… не совсем окончательно. Последнее «что бы вы предпочли», но ответить на него несложно.

Просьба к типографии: маленькими прописными буквами.

КОНЕЦ

Да, вот так мне больше нравится. А вам?

Дж. Б. Лондон, 2005–2007

notes

Примечания

1

Общенациональный женский клуб по интересам: домоводство, драмкружки, спорт, социальные программы. *(Здесь и далее прим. перев.)*

2

25 декабря 1932 г.

3

Пес Максим *(фр.)*.

4

Brilliant *(англ.)* — блестящий.

Что и требовалось доказать *(лат.)*.

6

Перевод В. Топорова.

Коварный Альбион *(фр.)*.

8

Старые вояки *(фр.)*.

«Бедняга Юбер» *(фр.)*.

10

Удостоверения личности *(фр.)*.

11

Festschrift *(нем.)* — сборник материалов, изданный к юбилею ученого.

12

Целомудрие *(фр.)*.

13

Здесь и далее «Опыты» Мишеля де Монтеня цитируются в переводе А. Бобовича и Н. Рыковой.

14

Оратория Г. Генделя (1685–1759), впервые исполнена в 1742 г.

15

Сударь *(фр.)*.

16

«Люблю и ненавижу» *(лат.)*. Из стихотворения Катулла (87–54 до н. э.)

17

Неожиданная развязка *(фр.)*.

18

Немецкое приветствие (буквально: «Слава богу»).

19

Здесь и далее перевод стихотворения Бориса Лейви.

В отсутствии (обвиняемого) *(лат.)*.

21

Точное слово, точный термин *(фр.)*.

22

Псевдоним *(фр.)*.

23

«Божественное счастье» *(фр.)*.

Всюду цитируется в переводе Н. Рыковой.

25

Ср.: «Светлый отрок ли в кудрях, / Трубочист ли, завтра — прах» *(Шекспир У.* Цимбелин. Акт IV, сц. 2. Перевод А. Курошевой).

26

Перевод М. Лорие.

27

Здесь и выше перевод М. Лорие.

Dog *(англ.)* — собака, God *(англ.)* — Бог.

29

Страх смерти *(лат.)*.

30

Прекрасная смерть *(фр.)*.

31

Язык *(фр.)*.

32

Mot *(фр.)* — слово.

33

Беспричинный поступок *(фр.)*.

34

Ghostwriter *(англ.)* — «литературный негр» *(досл.* писатель-призрак).

35

Форма ревматоидного артрита у детей.

36

Index Librorum Prohibitorum — список книг, запрещенных Римско-католической церковью.

37

Дворянская усадьба *(фр.)*.

38

Богатый дом *(фр.)*.

39

«Должен каждый / Терпеть, являясь в мир и удаляясь: / На все — свой срок» *(Шекспир У.* Король Лир. Акт V, сц. 2. Перевод Б. Пастернака).

40

Перевод Нины Кулиш.

41

Ужин на пятерых *(фр.)*.

42

Перевод Григория Кружкова.

43

Человек играющий *(лат.)*.

Безумный Оксфорд *(англ.)*.

45

Maeve Binchy (р. 1940) — популярная ирландская писательница, не избалованная вниманием критики.

46

Melvyn Bragg (p. 1939) — британский медиа-деятель и писатель. «A Time to Dance» — его роман 1990 г., экранизированный на телевидении в 1992 г.

С точки зрения вечности *(лат.)*.

Классический пример *(лат.)*.

49

«Про двух улиток, которые отправились на похороны» *(фр.)*.

«Старая мельница в Кледене», «Мост цветов» *(фр.)*.

51

При смерти *(лат.)*.

52

От *лат.* «a fortiori causa» — «из более сильного основания».

53

Дом Жюля Ренара *(фр.)*.

Памятник Жюлю Ренару *(фр.)*.

55

Гонкуровская академия *(фр.)* — учредитель самой престижной во Франции литературной премии.

Выкупленное навечно место на кладбище *(фр.)*.